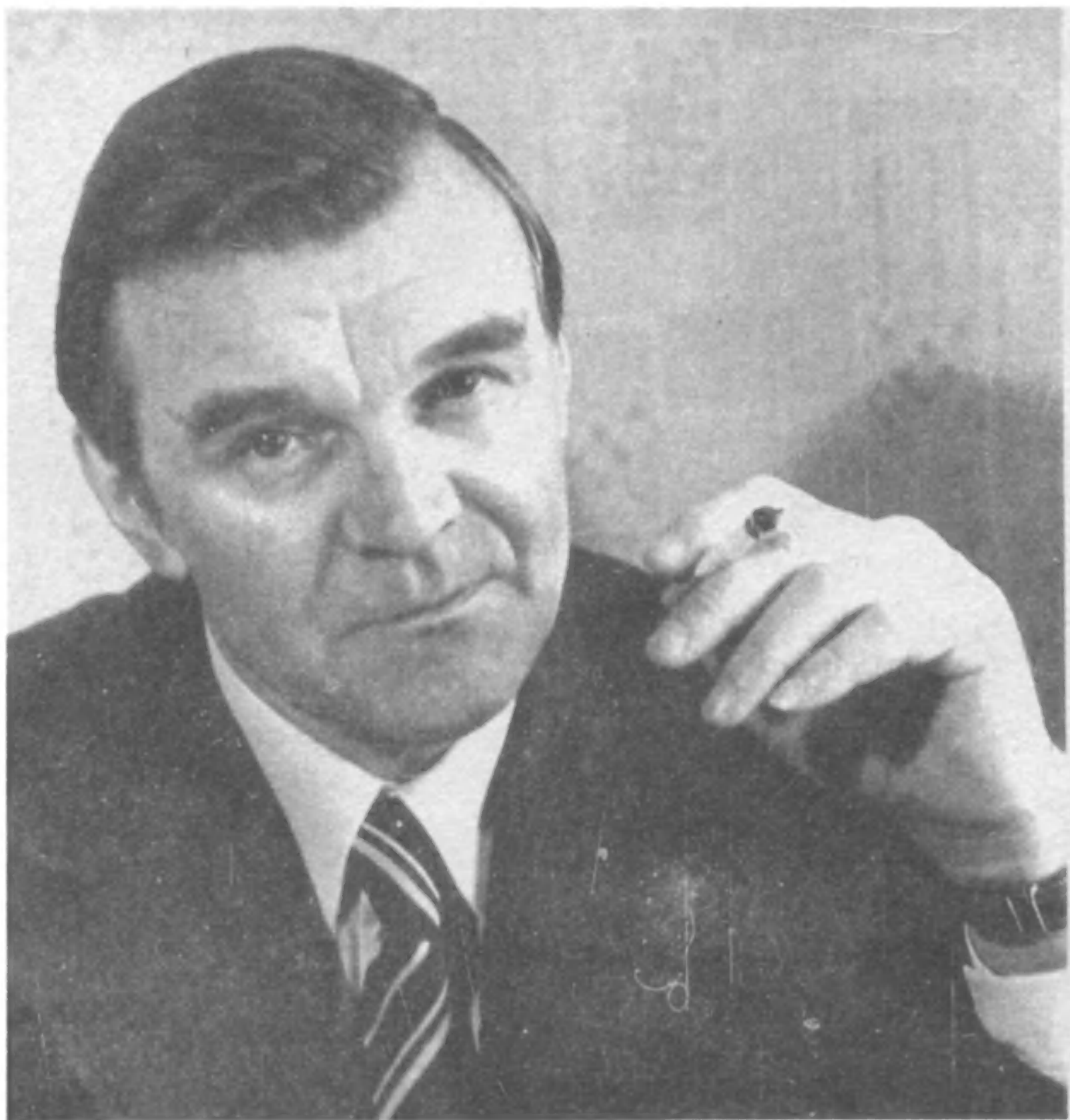


НАШ СОВРЕМЕНИК

Журнал писателей России



№3 1994



ДОРОГОЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи со знаменательным Вашим юбилеем — 70-летием со дня рождения — от своих искренних и верных друзей по редколлегии журнала “Наш современник”, от всех Ваших давних читателей и почитателей.

Родина, земля русская дала Вам светлый, большой писательский талант, чуткую к человеческой боли и радости душу, открытую для добра и дружества. Вам суждено было стать правофланговым удивительного явления в мировой культуре — рожденной в пламени Великой Отечественной войны “литературы лейтенантов”. Вы по праву обрели всенародное признание и любовь как один из самых проникновенных и честных летописцев величайшего потрясения в жизни не только России, но — всего человечества, неизменно благодарного ей за победу над фашизмом.

Вы, Юрий Васильевич, личность удивительно цельная. Таким Вас (все поколение Ваше!) выковала война. Более полувека минуло уже после незабываемых и страшных сражений в горячих снегах под Сталинградом, когда потрясенная Россия устами Вашего генерала Бессонова шептала своим героям, вручая награды за небывалый подвиг: “Все, что могу... все, что могу...” Более полувека — а Юрий Бондарев, солдат Отечества, ни разу, ни единым словом, ни единым дыханием не предал, не солгал, не изменил своим идеалам, своим боевым товарищам, своей юношеской мечте.

Спасибо Вам, дорогой Юрий Васильевич, что Вы с нами, что по-прежнему светится глубоким светом мудрости и доброты самородное Ваше слово, а сердце Ваше по-прежнему преисполнено веры в русский народ, ввергнутый в смуту и раздоры, но не утративший великого дара любви, терпения — и непокорства.

Живите долго, счастливо — и да сопутствует Вам творческая удача!

**Редакционная коллегия
“Нашего современника”.**

15 марта 1994 года

НАШ СОВРЕМЕНИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:
Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции

№3 1994

Главный редактор
С. Ю. КУНЯЕВ

Редакционная
коллегия:

В. И. БЕЛОВ,
Ю. В. БОНДАРЕВ,
В. Г. БОНДАРЕНКО,
С. В. ВИКУЛОВ,
Г. М. ГУСЕВ

(первый заместитель
главного редактора),

С. Н. ЕСИН,
А. И. КАЗИНЦЕВ

(заместитель
главного редактора),

Г. Г. КАСМЫНИН

(заведующий
отделом поэзии),

В. В. КОЖИНОВ,

В. И. КОЧЕТКОВ,

Ю. П. КУЗНЕЦОВ,

А. В. МИХАЙЛОВ,

С. А. НЕБОЛЬСИН,

В. Г. РАСПУТИН,

А. Ю. СЕГЕНЬ

(заведующий
отделом прозы),

В. А. СОЛОУХИН,

В. В. СОРОКИН,

И. И. СТРЕЛКОВА,

Л. Л. ХУНДАНОВ,

И. Р. ШАФАРЕВИЧ

ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПИСАТЕЛЕЙ

© «Наш современник», 1994

МОСКВА

Содержание

ПРОЗА		
Николай БЛОХИН	Упористые островки в покладистом море. Рассказы	7
Борис ЕКИМОВ	Цветение садов. Рассказы	22
Геннадий СТУПИН	Горячая земля	29
Владимир ЛИЧУТИН	Раскол. Роман (продолжение)	42
Маргарита СОСНИЦКАЯ	Рассказы из Италии	79
ПОЭЗИЯ		
Евгений КУРДАКОВ	У стены расстрелянного дома	3
Борис СИРОТИН	...И нечаянно вышел на гору	19
Марина ГАХ	Был долгий день	39
ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА		
Сергей КАРА-МУРЗА	Тайная идеология перестройки (окончание)	96
Андрей СТАРЦЕВ	Тучи над Калининградом, тучи над Прибалтикой	132
Вадим КОЖИНОВ	Загадочные страницы истории XX века. Статья первая. "Черносотенцы" и Революция (продолжение)	150
Сергей ПУТИЛОВ	"Дымовая завеса" над тайной кагала	167
КРИТИКА		
Ирина СТРЕЛКОВА	Страсти по классике	172
Арсений ГУЛЫГА	Путь духовного обновления	181
ПОИСКИ ИСТИНЫ		
Никита МОИСЕЕВ	Сумерки России	111
Дуглас РИД	Спор о Сионе (продолжение)	184

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей.
Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная верстка М. Г. Акколасвой.
Операторы М. Б. Терентьева, Ю. Г. Сотова.
Корректоры С. А. Артамонова, М. В. Масленникова.

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 22.10.91 № 1222.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30.
Телефоны: 200-24-24 (главная редакция); 200-23-88 (отдел прозы); 200-24-90 (отдел поэзии);
921-48-71 (отдел очерка и публицистики; отдел критики); 921-43-59 (секретариат);
200-23-05 (факс).

Сдано в набор 03.02.94. Подписано в печать 09.03.94. Формат 70х100 1/16. Бумага газетная.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,5. Уч.-изд. л. 20,49.
Тираж 46668 экз. Заказ 336.

ИПО писателей, 103750, Цветной бульвар, 30.
Ордена "Знак Почета" типография "Красная звезда";
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

ПОЭЗИЯ

ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ



У СТЕНЫ РАССТРЕЛЯННОГО ДОМА

* * *

Без надежд на случайность и чью-либо милость,
В терпеливой тоске по планиде земной
Жизнь прошла чередом и вполне поместилась
В то простое, что русской зовется судьбой.

И уже не беда, что споткнешься и сгинешь, —
Ведь и сгинешь — в родном, — и на вечный покой
Отпоет не чужое, а то, что покинешь, —
А оно до конца было вместе с тобой,

До конца трепетало, горчило, и сладко
Наплывало, как ветер, — дыши и дыши, —
И в живом этом чувстве и есть вся разгадка
Пресловутой загадки славянской души.

Потому никогда ни в обузу, ни в жалость
Мне не станут судьба и Отчизна в судьбе, —
И какое бы зло в нашу жизнь ни вмешалось,
Оно собственным злом захлебнется в себе.

КУРДАКОВ Евгений Васильевич родился в 1940 году в Оренбурге. Автор книг стихотворений “Из первых рук”, “Мой берег вечный”, “Сад мой живой”, двух книг очерков. Член Союза писателей. Живет в Новгороде.

РУССКАЯ БАЛЛАДА

Пока ты дремал в бесконечном похмелье,
Зима замела твой порог, и опять
За водкой пошел Иванов сквозь метели,
Чтоб в этих метелях навеки пропасть.

Пока ты валялся в дурмане тоскливом,
Апрель встрепенулся, листву теребя,
И Сидоров мрачно поплелся за пивом,
Пред этим до нитки очистив тебя.

А позже в жестоко запойное лето
Петров заходил, чтоб в угаре хмельном
Жену умыкнуть твою в пьянь, но и это
Тебе показалось бессмысленным сном.

И только когда уж листва облетала,
На миг ты очнулся от шума дождей,
Не зная, что это Россия рыдала
Чуть слышно над тем, что вы сделали с ней.

* * *

Опустошенный сирый край,
Годины тяжкий пласт...
— Во дни несчастий размышляй, —
Сказал Екклесиаст.

Завету мудрости чужой
Последовать бы рад, —
Но боль Отчизны за спиной,
Но этот мрак и чад?..

КАТОН

Баллада

1

Помните четкий, настойчивый в ритме победном
Старой латинской зубрилки сухой метроном;
— *Ceterum cense Cartháginem esse deléndam**, —
Фразу, которой прославился некий Катон?

Был он упрям и умен, и, согласно легендам,
Все свои речи лишь этим заканчивал он:
— *Ceterum cense Carthaginem esse delendam*, —
И среди римлян прослыл ненормальным Катон.

Но постепенно (Катон преуспел в постепенном!)
Был к этой мысли успешно народ приручен:
— *Ceterum cense Carthaginem esse delendam*, —
Вторили дружно Катону плебеи вдогон.

* “Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен” — слова римского сенатора Катона Старшего, ставшие поговоркой.

Был ли ему этот способ заведомо ведом,
Или открыл его сам хитроумный Катон?..
— Ceterum cense Carthaginem esse delendam, —
И Карфаген был, конечно, к чертям разнесен.

2

Тихо включи телевизор и в трепете бледном
Видишь с экрана знакомый до ужаса сон? —
— Ceterum cense Carthaginem esse delendam, —
Это тебя обрекает на что-то Катон.

Кто он и что там за этими диминуэндо,
Что ему наш Карфаген и на что ему он?
— Ceterum cense Carthaginem esse delendam! —
Нет, он и впрямь не в себе, полоумный Катон.

— Ceterum cense, — и тают святые легенды,
— Ceterum cense, — и пушки стреляют в закон,
— Ceterum cense Carthaginem esse delendam! —
Это державы разбитой слышался стон.

Голос его распаляется хриплым крещендо, —
Хватит, ты будешь и сам на клочки разнесен!
— Ceterum cense Carthaginem esse delendam! —
Дальше никто не узнает, что сделал Катон.

* * *

Есть в Старой Руссе церковь Мины, —
Там, у заросшего пруда,
Стоит она, тиха, пустынна,
Забыта всеми навсегда.

В нелепом этом запустенье
Камней, столпов, крутых апсид
Витает благовест терпенья
И всепрощения обид...

Не знаю, молятся ли храмам
Заброшенным, но только здесь
Я был овеян ветром странным,
Как бы ниспосланным с небес.

И ощутил не на мгновенье,
Что от всего остались нам
Вот этот благовест терпенья
Да, словно Русь, забытый храм. —

Которые в безмолвной стыни
Вот-вот исчезнут в никуда...
Есть в Старой Руссе церковь Мины,
Там, у заросшего пруда...

* * *

Вечный октябрь над усталой страной...
Боже, на что свои силы растратили, —
Маялись ямбом и каялись дактилем
Перед глухой неминучей бедой.

Вот и опять чресполосая мгла
Рваным трехцветьем взметнулась воочию,
Мерзкая, как пулеметная очередь,
Мертво стучащая из-за угла.

...Так обживай же подполье свое
В русской, привычной своей бессловесности,
Пережидая, пока на поверхности
Не отжирует родное жулье.

Окна пылают и стены горят...
Боже, зачем это, что они — спятили?..
Дактилем, дактилем, дактилем, дактилем
Бьют пулеметы — и музы молчат.

* * *

"Доколе, Господи..."
Псалтирь, 93:3

...А Москва в беспамятстве столичном
Пьет, жует, торгует, месит грязь,
Словно б не ее вчера публично
Бил спецназ.

У стены расстрелянного дома
Прошептать во имя всех живых
Девяносто третьего псалома
Третий стих.

Чтоб смешался выдох древней боли
С шелестом вчерашнего свинца
В беспощадном "Господи, доколе..." —
До конца.

НИКОЛАЙ БЛОХИН



УПОРИСТЫЕ ОСТРОВКИ В ПОКЛАДИСТОМ МОРЕ

РАССКАЗЫ

МИНЫ

Ибо грехи наши поднялись выше голов наших
и безумия наши вознеслись до неба...

*Библия. Вторая книга Ездры,
глава 8-я, стих 72.*

Радуга — это всегда красиво. А тут их было сразу несколько — многоцветных, чудных дуг-мостиков, сотворенных водно-хлорными испарениями, клубящимися ввысь и вширь с поверхности бассейна “Москва”. Моему разгульному нервному воображению радуга с ее совершенной красотой казалась здесь совсем неуместной, невозможной; Божий знак того, что н е б у д е т больше потопа на земле, казался кощунством, издевательством, дразнилкой тех злодейски могучих, ненавидимых мной сил, торжеством которых вместо креста, что возносился к небу с вершины великого храма, тянутся теперь ввысь и вширь водно-хлорные испарения бассейна “Москва”. Галдеж-гул от рассыпанных по дымящейся водной глади цветных шапочек-островков казался отголоском торжествующего хохота, что рокотал в преисподних глубинах. А испарения казались дыханьем смрадным тех глубин. Не должно здесь быть радуге, Божьему знаку. Но этот знак был, хотя

БЛОХИН Николай Владимирович родился в 1945 году в Москве. Учился в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности им. академика И. М. Губкина. Работал лаборантом, техником на столичных заводах. В 1982 году за подпольное издание церковных книг был арестован. Сидел в Лефортовской тюрьме, затем отбывал срок в “зоне” в Саратовской области. Освобожден в 1986 году. В настоящее время живет в Москве, принимает участие в издательстве православной литературы при Донском монастыре. Публикуется впервые. Рассказы написаны в тюрьме.

этому и противилась моя буйная издерганная воля. Сияли причудливой красотой великолепные стропила из цветного воздуха, и будто вот-вот на эти стропила еще более великолепный купол наденут!

И тут меня тронули за плечо. Я оглянулся: передо мной стоял высокий прямой старик с буйными, как и у меня, глазами. Старик спросил хриплым шепотом:

— Вы тоже его видите?

Я кивнул.

— А вы знаете... — хриплый шепот стал таинственным и страшным, — кто в него первые мины заложил?

Я обалдело помотал головой. Старик крепко схватил меня за руку:

— Я заложил, я его заминировал... и там еще много было... те умерли, наверное... Не выдергивайте руку!.. Я не сумасшедший... Может, я теперь как Вечный Жид, только на русский манер... А может?.. может, я теперь все это вам передам, чтобы вы несли в себе... А? И тогда запою “Ныне отпускаеши...” А? Слушайте. И видите. Да не выдергивайте вы руку!

И я действительно не только услышал, но и увидел. Мое нынешнее, присутствующее в реальном моем времени “я” было вдруг захлестнуто налетевшей волной того времени, ставшего единственной живой реальностью. Таинственный и страшный шепот безумного старика оживил таинственное и страшное время. Оно рвалось, летело вперед столь стремительно и страшно, сколь стремительно и страшно обесценивался российский рубль. Жизнь же двуногого россиянина уже давно не обесценивалась, ибо давно не стояла ни чего.

Давно ли ахал я и возмущался, что дрожжи — дрожжи! Господи, помилуй! — стоят шестнадцать тысяч фунт. А рояль — шестьдесят тысяч. На четыре фунта дрожжей, пожалуйста, рояль меняй. Когда это было-то? Всего-то пару лет назад, в самом начале двадцатого. Теперь же и ахать, и возмущаться вовсе перестали — чего уж, чего ахать, если седьмого мая нового стиля двадцать первого года они уже стоили восемьдесят тысяч, а через две недели — триста двадцать тысяч! А теперь уж и не знаю, почему они, не прицениваясь, не до дрожжей. А до чего? Да ни до чего! Теперь уже и не верится, что когда-то хотелось больше, чем просто день прожить, чтоб на темной улице вооруженные гегемоны на месте не шлепнули. А иногда и этого не хочется, иногда все все равно, хоть даже и шлепнут — плевать. Впрочем, теперь уже на улице не шлепают, не восемнадцатый, теперь ночная Москва что тебе при старом режиме: улицы — реки света, трамваи — безо всяких сбоев, в автомобилях не только товарищи, но и господа-хорошие, перед господами-хорошими лакеи в полной амуниции, хоть и перелицованной. И то и дело слышно — “Чел-эк!” Товаров завались, будто не было ни войны, ни смуты. “Елисеев”, хоть он теперь и не “Елисеев”, забит рыбой, дичью и вообще всем, чего только пожелать можно старорежимному миллионеру. Нынче же миллионерами никого не удивишь, нынче я сам миллионер — недавно спустил на бегах восемь миллионов, а хоть бы что. Да туда входной билет только четыре миллиона, эппманы в рулетку миллиарды ставят. На Ильинской бирже толпа круглосуточно, хотя их там и гоняют. Правда, гоняют не очень, не как в девятнадцатом; турнут их, а завтра они чуть дальше, на Ильинской площади, в сквере. И даже цилиндры надели, учуяли, что буржуев перестали пока резать, чуть приспустили удавку. “Что у вас, милсдарь?” — “Золото”. — “Беру за восемьдесят”. — “Продаю за сто двадцать”. Эти никогда не отвыкали от сытости-приятности. Я всегда поражался их энергии и неумной жажде наживы, их приспособленчеству к любому режиму, сам-то я способен только на службу ходить да выполнять полученную работу.

Меня тянет к “б ы в ш и м”, лишенным сословий, сам из них. Это на Арбат пожалуйста, в переулочки. Ежедневные сборы в домашних столовых, вход, естественно, только по рекомендации. Рекомендацию имеем-с. Хозяйка столовой — еще вполне очаровательная Ольга Александровна. Ласкающие ухо “ваше сиятельство”, “ваше превосходительство”, “графиня” и прочее успокаивают душу, и не так уже тошно выходить на улицу, надевая рваное засаленное пальто, и платить в бане за бритье полтора миллиона. Мы мило не замечаем, что граф продал уже последнюю свою трость с золотым набалдашником, а княжна только что явилась со Смоленского рынка, где тоже что-то продала, явилась в последних своих рассыпающихся туфлях на босу ногу. И среди всего этого — необыкновенный феномен, необъяснимый, внезапно явившийся, сразу на всех навалившийся, принятый поголовно, как Февральская революция, и исполняемый вдохновенно, как “Элегия” Шляпиным, — с е м е ч к о г р ы з е н и е. Все и везде стали грызть семечки. Уже около года грызут и никак все не изгрызут, никак не нагрызутся. Грызут на рынках и в банях, в магазинах и на службах, в театрах и салонах, дома и в храмах Божиих, а уж про улицу и говорить нечего. Грызут газетные мальчишки

и начальники главков, спецы и дельцы. После очередного разгона у Ильинской биржи — вся Москва в шелухе, а уж как гегемоны дорвались — не описать, эти грызут лихо и с всегдашним остервенелым вдохновением, с т е м с а м ы м вдохновением, с которым три года назад в квартиры с винтовками врывались.

Но увидев грызущую Ольгу Александровну — остоленел.

— И вы?!

— Да что же, друг мой, — мода, — и доверительно на ухо: — Революция начиналась с подсолнуха, им и закончится.

И вот тут мне стало страшно. Страшно до помутнения в глазах, до озноба. Уж и не знаю, что там вдруг вонзилось в мои извилины — сам ведь тоже нет-нет да и погрызывать. Я едва не расхохотался в голос на улице, как тогда, в девятнадцатом, среди сухаревской толчеи, когда в чрезвычайку забрали за “контрреволюционный смех” и чуть не шлепнули в каком-то подвале. О, незабвенная Сухаревка, великий Вавилон, детище великой революции, последняя витрина российского богатства и выставка российских безобразий! Нынешние Труба и Смоленка разве сравнятся с тобой?! Иногда кажется, что вновь ты явишься и как тогда перехлестнешь оборотом аж Нижегородскую ярмарку! И вроде толкотня страшная, невообразимая, и жулья предостаточно шныряет, а все ж таки — порядок. И ряды как на порядочной ярмарке: и мануфактурный, и иконный, и посудный, и книжный; тут и свой Охотный ряд и Кузнецкий мост; предметы роскоши — пожалуйста, браслетка золотая, тоненькая, простой работы — двадцать тысяч рубликов, пожалуйста; желаете махорочки — пожалуйста в табачный ряд, и всего-то триста пятьдесят целковых; икона в медной ризе шесть на четыре вершка, извольте — семнадцать тысяч... риза? ах, думал, серебряная? да на серебряную у тебя, дурака, ни сапог, ни шубы не хватит!

Еще, извольте, семнадцатитысячная вещь — пальтецо женское, короткое, простого покроя, в котором кухарки, бывало, на речку ездили. Что? Дыра на спине? Так сама и зашьешь, невелика барыня! Сбавить?! Чека тебе сбавит, ступай с Богом...

И все галдит, клокочет, ругается, то вдруг взвояет в посудном, то загогочет где-то в сапожном ряду. Особенно буква “Ч” в почете, слова, с нее начинающиеся. В основном “идут” два слова — “черт” и “чрезвычайка”. Но многообразие образуемых от них просто необъятно. И уж, конечно, неразлучная наша “матушка”, исходящая теперь и из уст младенческих, и из прекрасных уст бывших барынь. И среди этой галдяще-взвывающей какофонии — граммофонные шалашинские басы, визги поросят, кудахтанье и, как заметила несравненная наша Ольга Александровна, гусегоготанье птичьего-человечья...

По Сретенке идет неровный строй шинелей в иерихонках. Суетливый сердитый командир орет строго: “Затылка нет!” — “Эка важность — затылок, когда ни головы, ни сердца нет”, — бурчит бородач, торгующий топорищами.

И вдруг бородач отлетает в сторону, из рядов выскакивает какой-то шустро-коренастый с ярыми глазами, не разбирая дороги прет к шагающим и хватает одного из них за грудки, сминая строй. Возможно, обыскивателя ночного узнал — каждую ночь массовые обыски с мандатами и без, да и что такое нынче мандат — бумажка с подписью, а когда сапогами дверь вышибают да бумажку тебе в рыло суют, перегаром и злобой дыша, не до вопроса тебе, чья там подпись и что за бумага. Кутерьма, в общем, вышла, и пока скручивали храброго коренасто-шустрого — я вдруг и расхохотался шалашинским хохотом. И так это у меня громко и выразительно вышло, что все близстоящие, а главное — командир в иерихонке, на меня воззрились, а потом и поволокли вслед за коренастым. А я совсем не контрреволюционно хохотал, свое у меня по извилинам промчалось: на торгующую, гомонящую толпу глядя, я вдруг увидел толпу другую. Во времени другую — настрой толпиный, стадный другой, а лица-то, физиономии — т е! И я среди них. Только еще не знаем мы, краснобантные, ликующие и “ур-ра!” вопящие, что будем стоять среди сухаревских рядов и последний скарб свой продавать, чтобы с голоду не сдохнуть, а скупать наш скарб будут вот эти вот рев-гусары, солдатúшки — бравы ребятушки, тоже с красными бантами, на фронт не желающие. Вот он стоит, винтовку, видать, только выдали, точно лопату держит, к штыку красный бант прицеплен. Он еще не врывается в наши дома с мандатами и без, не срывает погоны с офицеров, а офицеры, тоже краснобантные, не заманены еще в расстрельный подвал Новоспасского монастыря; он еще не катится по деревням раздавливающим продотрядовским катком; он еще не вламывается в храмы, оставляя на папертях батюшек со вспоротыми животами; он еще только митингует и матерится в солдатских комитетах, полковников в кашевары переизбирая; он еще только размахивается, только заносит свой штык, и

хмельное полусонное сознание его, распершее рот его в хохочущий оскал с сигаркой на губе, не прозревает, да и не может прозреть, понять, что штык краснобантный он занес и над собой. А миллионное торжествующее стадо выгуливает себя по площадям и улицам Москвы, топчет грязный мартовский снег. Вот вполне милый кадетствующий, вроде меня, москвич, в лисьей шубе, служака какой-нибудь, увидев грузовик, набитый прыщавыми студентами с винтовками, перед которым радостно расступается толпа, взбрыкивает вдруг с восторгом и орет восхитительное протяжное “ур-ра!”, точно бычок, подругу учуявший. Но потом, уже в беспощадных объятиях экспроприаторского времени, отовсюду выгнанный, после пяти обысков, а затем и вовсе высленный, причисленный к четвертой категории, которая “да не ест”, ибо не работает, так как работают только молодобойцы, он вздохнет, простонет протяжно: “А я, дурак, ходил, орал “долой царя!” ...

Но все это потом. Время начало свой новый отсчет. И все у р а к р и ч а ш и е чуяли, что оно действительно новое время, оно в самом деле сегодня только явилось, не было его вчера, что-то вокруг и в себе совсем иное присутствует (или отсутствует?) — неосязаемое, необъяснимое, но реальное и мощное. И тревожное. А вот и объяснение продефилировало мимо профессорской походкой. Радуются профессора. А из-за профессорской бородки назидательно, восхитительным баритоном (и палец высокоученый кверху) изречено:

— Оковы пали. Нет больше власти, которая на Божественное право опиралась. Подгнила-с подпорочка. Выдуманный Бог исчез. Покрова — нема, увы-с... Это его я лет десять уже стесняюсь, когда на кресты храмовые крещусь.

Ага! Оковы пали! Ага, вот сейчас рухнут темницы... И где тут эта дамочка, которая нас радостно принимает у входа?... Где этот вход?... Уж не Воскресенские ли то ворота (они еще не снесены)? Там какая-то кутерьма и вопежь... Небось городских мултузят или студента прыщавого качают... Истину предрек гениальный дуэлянт: явился, настал тот год, “когда царей корона упадет”. Упала. Отречение! Гул-ляй, веселись, Москва! И не черный он никакой, этот год! Вон какая синь в небе! Весна! Нету Божьего покрова над империей; ну, да туда им и дорога — и покрову, и империи... А это что за фигура, что за оборванец, да еще босиком?! Чего он там выкликает, приплясывая? Да еще на профессора пальцами своими грязными тычет. Профессорская бородка дрожит негодуя:

— Всех этих юродствующих, как городских, надо...

Так чего он там выкликает?

— Вижу!.. — глаза, страшно выпученные, устремлены в толпу. — Вижу зверя черного! Отверзли мы двери преисподней! Распался зверь на зверенышей! В каждом — звереныш, ха-ха-ха, вместо царя в голове! Нету Царя — зверь над всем! И звереныши — в каждом!..

Через одиннадцать месяцев я снова его увидел на этом же месте, у ограды Скорбященского храма на Ордынке, будто и не уходил он отсюда. И так же приплясывал, и так же выкликал, грязными пальцами на нас указуя. Мы, толпа московская, давно уже не краснобантная, безрадостная, голодная и уставшая, идем на крестный ход к Красной площади! Последний раз из Спасских ворот выйдет к нам патриарх. Двери преисподней отверзлись, а ворота кремлевские захлопываются, и сама Владимирская уйдет скоро из уже пустого Успенского собора. А хохочущий оборванец выкликает:

— Ха-ха-ха! Крестный ход!.. Пуста дорога, коль нету Бога!.. Нету Христа в вашем крестном ходе! Одни идете! Тыщи вас, и ни одного Христа ради!.. Не молельщики — публика!.. И не Бога вы вспомнили, ха-ха-ха!.. Барахла жалко, балык жрать охота... Протестуете... Про-те-стан-ты — демонстранты!..

Мне захотелось подскочить к нему и ударить. “Морда юродствующая, что ты знать можешь про Христа во мне?!” А двое солдат с тем же мартовским оскалом и теми же сигарками, прилипшими к губам, радостно ржут, слушая выкликающего. Одного из ржущих сразу узнал: он. Точно, он, он, пьяный, шатаясь, ташил в ту снежно-слякотную канонадную ноябрьскую ночь пулемет по сретенской мостовой. Восемь месяцев корчила из себя живую мартовская химера и, наконец, с второго на третье ноября издохла в корчах. Старая столица почти без сопротивления отдалась на милость победителей, которые милости не знали. Кучка же мальчишек юнкеров, оборонявших Кремль, не химеру защищали, а дрались просто потому, что н е в о з м о ж н о не драться, когда на тебя прет хамская пьяная морда, мартовски оскаленная. Ташил-волочил по пустынной, мертвомолчащей Сретенке пьяненький солдатик пулемет к “Метрополю” и доташил-таки, и стрелял пулемет по Кремлю. А мы, толпа московская, рассыпались по своим квартирам, заперлись, затаились и изо всех окон глядели ненавидяще на шатаю-

щегося рев-гусара и слушали drobный грохот пулеметных колес по сретенской мостовой. И причудилось мне, будто не грохот колесный слышу, а хохот юродивого, о звере и зверенышах выкликающего.

Солдати́ка этого я еще раз видел. Он был трезв, без оскала и без сигарки. В Никольском приделе храма Христа Спасителя. Он стоял над гробиком, в котором лежала маленькая мертвая девочка (дочка, наверное), и молча всепоглощенно глядел на нее бесслезными задумчивыми глазами. Ждал панихиды. Литургия кончилась, и митрофорный протоиерей храма (странно: фамилия навсегда запомнилась — Хотовицкий, а вот имя — не то Александр, не то Андрей — забыл, а ведь у батюшек имена обычно помнишь) говорил проповедь. Говорил о российских святых, завтра их праздник, говорил страстно и гневно, его звучный густой молодой голос уносился в вышину великого храма и, отразившись от Всеви́дящего Ока, падал, летел сверху на наши понурые головы, пытаясь ворваться в наше нутро сквозь крепкие черепа... Мы, толпа московская, отмечая красоту и силу голоса проповедника, рассеянно слушали, думая о своем.

“...Христос приходил на Русскую землю и бросил в нее семена, чудный сад породившие, — сонм наших святых...” Я оторвался мыслью и взглядом от гробика с девочкой и перевел глаза на проповедника. И вздрогнул, заежился — он смотрел пронзительно и взыскующе только на меня. Нет, не только на меня — вон тетка перестала зевать и тайком жевать и, лицом переменившись, тоже уставилась на батюшку. “...Много веков сад благоухал и ширился!.. И вот он запущен, опоганен, разорен... И даже лучший уголок его, Троицкая Лавра, не пощажен жестокими бессовестными людьми! На вратах ее печать безбожной власти, и охраняет ее не соты́сячное войско, а дежурный солдатик!.. А он тоже, может, плачет о таком поношении святыни... А кто же виноват-то в этом? А?! Новая власть? Не-е-ет, не она! Не тот десяток иноплеменных, а весь так называемый п р а в о с л а в н ы й с т о м и л л и о н н ы й н а р о д! — Страшным хриплым выкриком прозвучали последние слова, глаза проповедника были в слезах. — Что сделал он, народ сей, против такого несчастья для святой Церкви? Н и ч е г о! Разве только пошипел немного, идя на Сухаревку спекульнуть воском... А ведь утрата Сергиевой святыни громадна и незаменима. Не стыдно бы и со слезами просить возвращения ее... Е́диным порывом-протестом... Увы... Аминь...”

“Господи, да минует его лапа чрезвычайки!” — сказал я про себя со вздохом и пошел целовать крест.

Нынче я, уж коли попадаю в храм, выстаиваю всю службу и даже на шестопсалмии покурить не выбегаю. А какие, оказывается, дивные проповедники у нас, да какие разные... На Новый (старый) год был в церкви Спаса на Спасской улице. Заныло из нутра, когда, входя, на Распятие крестился: “Хоть бы новый год облегчение принес, хоть бы на чуть ужасов поубавилось...” В каждую кончину уходящего года в каждом из нас ноет мечта-надежда на какое-то лучшее. И когда поумнеем? Никогда, видать... “Лучшее же будет без сомнения: наваливается на нас год, еще один год отнятия у нас, последних уже, земных сокровищ, и коли сказано нам: “где сокровище ваше, там и сердце будет ваше”, то не будет, стало быть, сердце наше ни с чем земным связано, и еще приблизимся мы к тому моменту, когда отверзнется перед каждым тот мир, где “нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная...” — так начал свою проповедь архиепископ Варнава в храме Спаса на Спасской улице. Мы, толпа московская, человек пятьдесят, стояли, слушали не столько проповедника, сколько голос нытья из своего нутра. В следующем же году нас здесь не будет ни одного, ибо не будет сего храма, не станет и архиепископа Варнавы — только позавчера выпущенный из Бутырок, он вскоре попадет туда опять и уже больше на волю не выйдет. Не избежит лап чрезвычайки и Хотовицкий, и никакие молитвы не помогут ему. И среди нэпмановского роскошья, великолепия и изобилия бывшего “Елисеевского” буду стоять я в перештопанном, лоснящемся старостью пальто своем, с газетой в руках, и прикидывать мысленно, сколько же это и в какой мешок их уместить можно: сорок тысяч штук бриллиантов и пять пудов жемчуга — столько уже к июню сего года будет содрано с икон из церквей и монастырей наших. Так сообщит мне газета, и освещать читаемое будет мне великолепная, снедью набитая витрина бывшего “Елисеевского”. Эта же газетка радостно сообщит мне, что в Питере расстреляли-таки митрополита Вениамина и “его компанию”, которые противились ограблению храмов. И тут всколыхнет мое ноющее нутро, что-то вдруг станет с моими глазами, и я увижу помимо моей воли, не желавшей этого виденья-видения, что ликующие, пугающие газетные буквы образуют лицо белобородого митрополита (видел я его когда-то, до смуты еще), и лицо это дырявят пули, и из дыр, рваных, огромных, кровь струями заливает его

седины, щеки и мертвые уже глаза. И как раз из бывшего “Елисеева” вывалится веселая компания нэпманствующих, и среди них несравненная моя Ольга Александровна.

— Друг мой, — скажет она, — да на вас лица нет. У вас неприятности? Что-то случилось?

И я побегу от них, бросив ликующую газетку, побегу от светлой Тверской, сквозь толпу московскую, и опомнюсь только у Каланчевки, и начну бродить среди прилегающих к ней улиц и переулков, среди лежащих на тротуарах обессиленных, умирающих с голода людей, сумевших выбраться с Волги. И вот лежат они, выбравшиеся, в одиночку и семьями, прямо на камнях, в лохмотьях, босиком, рядом с каждым — рваная шапка или фуражка. Хочешь — клади в нее советские, ничего не стоящие тысячи, хочешь — бери из нее то, что брошено туда сердобольными прохожими. Для владельца шапки и то и другое безразлично, ему хлеба нужно, но никто ему хлеба не даст. Тысячи их лежат, и я бреду среди них, сам не зная куда и зачем.

Но ни о чем об этом я еще не знаю, я стою ярким прелестным новогодним утром в храме Спаса на Спасской и слушаю сквозь отвлекающее нытье нутра моего архиепископа Варнаву. Старикан, кстати, совсем не архиерейской внешности — маленький, кривоватенький, бороденка реденькая, будто шипаная, голос стариковский, ехидный, “аськает” и “чавокает”, говорит, будто баб на заваulinке поучает, и слова его о том мире, где нет ни болезней, ни печалей, звучали так, что, мол, нате-ка вам, выкусите, видать вам тот мир как свои уши. “...Вы где-та Новый год встречали? Ась? У Омона-Мамона? У Корша-Лакорша? Шампанское пили миллиончика за полтора? А не догадались, поди, в пользу Церкви хоть бы пустые бутылки пожертвовать? Чего хохочете-та? Ась? Ну, хохочите... Публика... Вы таперя и в храм-та словно в театры ходите, вам вона и афишки на тумбах таперя развешивают: хор-де Данилина, дьяконствует-де Розов, токо и ходите, что на патриарха поглазеть да Розова послушать, семечки лузгая, да еще гадаете стоите, загасит он своим бацищем свечки перед Спасителем аль не загасит... Мало вас школят большевики, мало... эх-хе-хе... Не хотели в храмы ходить? Ну так бегайте таперя на партийные собрания и голосуйте за собственную казнь, аминь!..”

Шагах в трех впереди меня стоял высокий человек в офицерской шинели. И даже от спины его неподвижной излучалось: б ы в ш и й. Офицер. И не военспец — военспецы в храм после новогодней ночи не ходят. Да и то, что улавливалось в излучении от шинели, не могло исходить от красного военспеца. Белогвардеец явный стоял передо мной.

— Нет, владыко! — почти выкрикнул вдруг человек в шинели. — Я не лузгал семечки в храме, и я не нуждаюсь, чтобы меня школили большевики!.. — горечь и обида в страстном голосе.

Захотелось подойти посмотреть в лицо. Но ноги мои точно приклеились. И вдруг таким страхом меня обдало, что спина взмокла и такое, поди, заизлучала, что если б кто сзади стоял, так удрал бы в панике. А спина моя будто видела вбегающую солдатню в иерихонках с суетливым сердитым командиром во главе: “З а т ы л к а н е т!..” И всех нас, за белогвардейцем, туда же — за соучастие...

Меж тем Варнава уставился на белогвардейца и наконец произнес удивленно и без всякого ехидства:

— А, а ты как тут, воин? Откудова?

И даже не аськнул и не чавокнул.

— Я-то? С фронта, на котором не был. Не взяли! Антон Иваныч в добровольцы монархистов не берет-с! Вот и схватила меня лихорадка... или что там... И вот доставили сердобольные лихорадочного сюда. И вот сиж-жу здесь!.. — последние слова белогвардеец прямо прорычал.

— Дак... — архиепископ Варнава развел руками со вздохом, — чего ж таперя?

— А вот того ж, чтоб не слушать такое, надену сейчас погоны, пойду к Лубянке, шлепну чекистов — сколько патронов хватит, а последний для себя...

— Не делай этого, воин, эх, не делай, смертный грех самоубийства Господь еще не отменял. И никогда не отменит. Прости меня, старика.

Почти бегом разбегались мы, толпа московская, из храма Спаса на Спасской, от проповеди архиепископа Варнавы, от истеричного белогвардейца, невесть откуда взявшегося. И каждый из нас, из разбежавшихся, думал о другом разбежавшемся из толпы московской, что ведь в огепеушку бежит доносить на меня. И вдруг, разбегаясь, — остановился я. Будто ударило. А что, собственно... что останавливает нас вот так — вдруг, ударом? Да ведь не старческое аськанье-чавоканье! Остановило... “...да Розова послушать, семечки лузгая...” Я! Я слушал

(не молился!) друга моего, приятеля, великого архидьякона несравненного Костю Розова, басыще его, стекла вышибающий, хотя и не лузгая, но — я, я, я...

Я стоял на левом клиросе храма Христа Спасителя среди певчих Данилинского хора (по Розовской протекции) и с некоторым даже страхом глядел с клиросного возвышения на несметную толпу московскую, колыхавшуюся от тесноты, — тысяч восемнадцать стояло, попали только те, кто за час до службы пришел. Руку не выдернешь, чтобы перекреститься. И какой-то гул-стон тревожный от толпы исходил, так и казалось, что катастрофой закончится такая теснота. Ходышкой даже повеяло на меня, такой же тогда гул слышался мне из Петровского парка. Обошлось. Удался праздник — юбилей друга моего Константина Розова. Двадцать пять лет в Москве дьяконствует. Сам патриарх поздравлял, сто пятьдесят лиц священства разного сана, на правом клиросе — хор Чеснокова, на левом, где я притулился, — Данилина, четыре сотни лучших российских голосов, красочнее, звончее Пасхи праздник получился.

А когда разошлась публика, вот тут и увидел. — мины. Нет, не тогда увидел, тогда ухмыльнулся, вздохнул и головой покачал. Сейчас увидел, от старческого чавоканья, от истерики белогвардейской — мины, через десять лет взорвались они — весь пол великого храма покрывала семечная шелуха. Горы шелухи, два дня потом выгребали... Руку не выдернешь, чтобы перекреститься... Мои мины, мной заложенные, хоть и не лузгал, но — м о и.

Я нытье нутра своего слушал, а где-то там Антон Иванович монархистов в добровольцы не записывал.

Я шел мимо Валаамского подворья. И отвернулся, сделал вид, что не заметил припиленного листка на двери: "Люди добрые! Заходя в храм, приносите, Христа ради, полено. Топить нечем". Не принес я туда полено. И никто другой из толпы московской. Да и то: патриарх там не служит, Розов не поет.

Валаамское подворье... Я оказался там через час после разбегания от Спаса на Спасской. Я стоял один среди холода и тишины. Здесь не было электричества, здесь вообще все было как двести и триста лет назад. Я стоял и тихо плакал. Я ощущал ту невообразимую, невозможную тишину в себе, которой нет ни во внешнем и ни во внутреннем душевном мире, она рождается только от Божьего дыхания. И вот дыхание это, тишина неизреченная наполняли меня. Сгинуло мое ноющее нутро, явилась ожившая душа, но то, что оживило ее, уже начало уходить. Нечем удерживать благодать, руками ее не схватишь и назад не затолкаешь. Об этом и были слезы мои. Какие дивные и невозможно прекрасные, оказывается, те оковы, падению которых так радовался профессор, объяснитель жизни. Не лишай меня оков Твоих, Господи! Не слушай нутра моего ноющего, отыми совсем волю дурную, оскал мартовский! Верни все!.. Прости!.. Я разрыдался в голос. И в рыдании своем мне причудилось прощенье. Но вернуть уже ничего нельзя. Все ушло безвозвратно. Слово это — безвозвратно — ожило вдруг и заполнило храм. И даже мерцанье свечей иным стало, я видел окружающее сквозь это таинственное жуткое живое слово: старинные лики на иконостасе прощались со мной, не будет скоро ни их, ни вообще Валаамского подворья, одна черная закопченная развалина-торчалка, остаток колокольни, будет стоять тут... Б е з в о з в р а т н о... Никогда и никто не услышит больше чудо-звука, в мире единственного, — перезвона Сретенских колоколов, на которые тысячная толпа сейчас сходится. Еще сходится. Но не будет больше ни колоколов тех, ни звонарей, ни самого Сретенского монастыря... Б е з в о з в р а т н о уйдут и Розовский бас, и чудо-пение лаврских детских голосов, и Данилинский хор, и икра из бывшего "Елисеева", как ушли уже мир и тишина из нутра толпы московской.

А будет: комсомольское рождество! Уже готовится. Там, за ликами, со мной прощающимися, за стенами целого еще Валаамского подворья несут уже гигантский плакат: как Мария рожала-рожала Иисуса, а вот теперь родила — ком-со-моль-ца! Да еще прямо в иерихонке. И Иосиф в ужасе шарахается. А толпа московская, из тех, кто в шествии не участвует, гадливо глядя на плакаты, думает изумленно: и откуда они взялись такие? Может, из шелухи семечной, на улицы выметенной?

Но это все там — здесь со мной прощаются старинные лики, здесь тишина, и звереныш мой в нутре моем пока задавлен. Я плачу. И сейчас слезы мои — еще и благодарность за то, что было. За то, что стоял на земле великий храм, который мы — я! — оплевали семечной шелухой и на месте которого тянутся теперь ввысь и вширь водно-хлорные испарения. И знак Божий пронзает их, знак надежды — радуга небесная, и видится в ней к небу вздымающийся нетленный золотой крест храма Христа Спасителя.

КОЛПАК

Вечер надвигался на Москву. Темнело.

Он почувствовал наплыв сумрака и зашевелился. С тех пор как стал избегать света, его любимое кресло, в котором он сидел безвылазно целый день, стояло в глубокой нише коридора его квартиры на Тверской-Ямской, квартиры громадной и совершенно ему не нужной. Нужны же ему теперь только ниша в стене, кресло и тьма вокруг. Старинное кожаное потертое кресло было тем единственным на земле, к чему он имел привязанность и любовь. Пятьдесят лет просидел он в этом кресле на своей многотрудной нервотрепочной службе, и вместе с ним из кабинета в кабинет, из должности в должность перекочевывало и кресло. И когда пробил час, когда по причине дряхлости пришлось-таки отползать на пенсию, туда же, на пенсию, последовало и кресло. Об этом со слезою умиления он просил начальство, и, со слезой же умиления, растроганное начальство разрешило. День-деньской он проводил в кресле, никуда не поднимаясь, и пищу из рук приставленной к нему старухи-служанки принимал, также не вставая с кресла. И даже нужду большую и малую справлял, из кресла не вылезая. Он точно боялся отрывать себя от потертой кожи в те часы, когда над Москвой царил день, будто жизненной силы от кресла набирался для ночного бдения. На ворчание старухи, что, мол, воняет от кресла, не обращал никакого внимания.

Он ласково огладил кресло, умиленно на него глядя, выбрался из него, встал, потянулся, бросил на кресло полный сожаления взгляд, что, вот, встать пришлось, и — по стеночке, по стеночке — засеменил в комнату. Затекавшие ноги немного отошли, и к окну он приблизился, ни за что уже не держась. Чуть раздвинул тяжелые пыльные шторы и сунул глаза в образовавшуюся щелку: вечерняя улица была почти пуста. Она почти всегда такая. Хорошая улица, тихая. И темная. Растянулись губы его в ухмылистой улыбке — на месте колпак, чуял он его. К о л п а к над каждым из людишек, что засели сейчас по своим ячейкам и свет в них позажигали. Улыбка обратилась в страшную гримасу, когда глаза его заскользили по дальним огонькам в домах, — там сустились ненавистные ему людишки. И до чего же много народилось их уже, тех, что не прошли через его руки и руки его коллег! Но хоть и не прошли, а колпак из страха, давящий, на месте, над каждым! Быть может, и он того колпака дождется? Каждый раз, когда вылезал он из кресла, проявлялась, в сознании застрявшая, картинка из далекого прошлого, из времени его молодости, молодости, полной стрельбы и экспроприации.

Мимо него бегут вдоль рельсов два солдата с винтовками, спешат, торопятся в вагоны грузиться, и один другому орет на ухо:

— Слышал, говорят, над Питером и Москвой колпак будут строить стеклянный?

— Да ну?!

— Точ те грю! Стеклянный! Комиссар от Троцкого слышал на митинге. Лично!.. И дождь, и снег — все будет нипочем!..

— Да ну?! — это он уже сам встрял в разговор.

— Ага! Точ те грю! Ага! — вестник о колпаке, не сбавляя ходу, обернулся к нему и приветливо махнул винтовкой.

И он тоже помахал в ответ винтовкой и крикнул восторженно:

— Даешь!

Он никуда не спешил, грузиться ему не надо было, он только что выгрузился. Мимо него сновали люди с винтовками, а он стоял, никого не замечая, ничего не видящий взгляд его был обращен в поднебесье, он улыбался и думал о колпаке: “Уж коли большевики задумали — сделают”.

...И так запал ему в голову этот колпак, что ни сесть, ни встать, ни шагу ступить без мысли о нем, будто некая струнка-извилинка в мозгу ждала вести о колпаке и вот, наконец, дождалась и выиграла деятельностью-радостью, звонким звоном, не давая покоя ни уму ни сердцу. И лицо вестника о колпаке до гроба отпечаталось: золотистый лихой чуб над глазами, полными яростной бесшабашности, и радостно распахнутый в крике рот. Через двадцать лет вновь они встретились в месте, очень неудобном для чубатого вестника. Молодость миновала, но время стрельбы и экспроприации продолжалось. Стрельба, конечно, потаеннее, поглуше стала, да и экспроприировали теперь тихой сапой, но время было все то же. Когда-то оно вдохнуло в них яростную одержимость, без которой невозможно ни стрелять, ни экспроприировать, ни мечтать о колпаке над Москвой. Теперь же оно отвердило, ожелезило эту одержимость, и она стала вдумчивой и деловитой.

Он восседал, развываясь, в своем кресле и устрашающе-профессионально

смотрел на стоящего перед ним чубатого. Не узнаёт. Много изменилось в бывшем колпачном вестнике. Тот, который стоял сейчас перед ним, не кричал бы восторженно “даешь!”, не махал бы винтовкой, — выпал чубатый из огнестрельного времени.

— Не узнаешь меня? — спросил он чубатого.

Из-под чуба испуганно глянуло и глухо прозвучало в ответ:

— Н-нет.

— Ну, так, значит, тому и быть... А колпак над Москвой все равно будет, понял?

Ничего не понял чубатый. Недоуменно вытаращился он на странного следователя. Через несколько минут недоумение сменилось обычным в таких случаях ужасом, когда допрос покатил по проторенной деловой колее и речь пошла о том, из-за чего он, чубатый, угораздил сюда. Этого “из-за чего” чубатый тоже не понимал.

— А тебе и нечего понимать, — орало на него из кресла. — Подписывать надо, чего дают, понял?!

Понял не понял, а подписать — подписал все же. Затравленно и гадливо смотрел чубатый на свою подпись — смертный приговор для трех десятков неведомых ему людей.

— Давно бы так... Покла-а-дистый, — прохохотало из кресла.

Он давно уже делил людей на покладистых и упористых. Покладистые — это те, кто на все готов, чтобы заслужить себе маленькое право прокрасться в жизни на цыпочках так, как это угодно распорядителям жизни, к которым, безо всякого сомнения, он причислял в первую очередь себя. Упористым же не было места под социалистическим солнцем. С упористыми о колпаке не помечтаешь. А уж о постройке его и говорить нечего. Сколько таких упористых насмешников, непочтительно к идее колпака отнесшихся в свое время, враз кончить пришлось. После поутих, конечно, звон колпаковый в голове, поостыло, да и дел сколько навалилось, а ведь ему и соратникам его самое-рассамое из всех дел досталось: выявлять, выхватывать из покладистого моря упористые островки и топить их беспощадно. И делал он это самое-рассамое из всех дел на земле вдохновенно, страстно и умело. И понимал, что приспусти он чуть-чуть пар вдохновению своему и хоть на самую малость притупи умелость-бдительность — еще, чего доброго, и он сам кому-нибудь из распорядителей чуждым островком покажется. Эта мысль нагоняла на него такой страх, так подхлестывала усердие, что даже кое-кто из начальства его трепетал. Для всех соратников он был как бы олицетворением озлобленности на упористых, в их кругах именовавшейся классовой непримиримостью, а также решительностью и беспощадностью. Его допросы были чекистским гимном, почти все людишки, корчившие из себя упористых, рано ли, поздно ли обращались в покладистых. Весь богатый опыт сего обращения он и изложил, как умел, в своих записках, когда к старости лет славы захотелось. Литератор-обработчик, коему записки были отданы для приведения в надлежащий вид, поначалу хохотать было начал, ибо стиль, слог и орфография с пунктуацией автора записок очень располагали к смеху, но когда вошел в суть, поперхнулся смехом литератор. Возвращал же рукопись хозяину с выражением потрясенности и уныния на своем испитом интеллигентском лице. Говорят, после этого еще больше запил. Конечно же, придержало начальство рукопись. Не удалось проехаться на славе. Он так и не понял — почему. Именно за это его непонимание и решило начальство, что пора ему на покой.

Зато другие две страсти его жизни — жажда власти и жажда иметь изысканную пищу и роскошный быт — полностью насытили его. И навластовался вдоволь, и покушал всласть. Удалась его жизнь, очень даже удалась. Однажды, правда, чуть было не сошел он с рельсов. Случилось это сразу после войны, он — влюбился. Влюбился нежданно-негаданно, влюбился неистово, бешено, вся его яростная одержимость обратилась в это неведомое для него чувство. Предмет же его страсти — желтоволосая кареглазая надменная красавица, дочь полковника, испытывала к нему такое отвращение, что ее трести начинало, когда она видела его. Омерзение, гадливость, ненависть, достойная огнестрельного времени, рвавшиеся из ее дивных огромных очей, способны были наповал сразить, а дрожащие губы еще и такие движения совершали, будто того и гляди плевков с них сорвется прямо ему в лицо; однажды он даже инстинктивно дернул рукой, защищаясь от воображаемого плевка. В ответ на его дерганье она разразилась таким хохотом, что, казалось, полные яда звуки и жаркое дрожащее дыхание вышибут, наконец, из него то наваждение, в котором он пребывал. Ничуть не бывало. Он валялся у нее в ногах, умолял, обещал златые горы и как-то пообещал даже уйти

из органов. Тогда он на все готов был. Потом, когда вспоминалось это дикое обещание, его едва в обморок не кидало, по ночам в поту просыпался от ужаса. Неужто могло такое с языка сорваться?! Могло, все могло тогда, в ночных мечтаниях о ней он доводил себя до иступления, плакал навзрыд, он даже Бога призывал, хотя и не верил в него. Еще немного — и свихнулся бы напрочь. Но в конце концов прорвало его. После очередного взрыва издевательского смеха он схватил вдруг ее за плечи и прорычал:

— Не выйдешь за меня, отца твоего, полковничка, засажу и сгною!

Так и сказал: “полковничка”.

Все это оказалось неожиданным для обоих. Они оторопело уставились друг на друга, и только одно выражали их лица — удивление друг другом. Первым пришел в себя он. Окатив ее вернувшейся, наконец, яростной одержимостью, обретшей прежнее качество, он повернулся и ушел. Она же побежала и сразу сообщила обо всем отцу. Тот выслушал и — куда девались его спесь и осанистость. Петухом наскочил на дочь, и столько на нее всякой укоришны вывалилось из его перекошенного, брызжущего слюной рта, сколько не слыхала она за всю свою жизнь.

— Эгоистка! — шумел полковник. — Ты погубишь всю нашу семью!..

Ни на минуту не покидали его сомнения, что настойчивый притязатель на руку дочери запросто исполнит свою угрозу. Она же ошеломленно смотрела на отца, глотала слюну и воздух и то и дело дергала головой, будто отгоняла от себя дикое виденье — разъяренного, жалко трясущегося от страха отца, которого она ни в каком бредовом сне не предполагала видеть таким, речь ее парализовало, она вдруг в бешеном напряжении схватила себя за роскошные волосы, точно хотела вырвать их из головы, и упала на пол без сознания. Очнувшись, она снова увидела перед собой злое умоляющее лицо полковника и услышала плаксивые просящие слова. Не слушая, она глядела в потолок и беззвучно плакала. Потом отец на некоторое время исчез из дому, а вернулся совсем потерявшимся и разъяренным.

— Слышишь, ты! — приступил полковник к дочери. — Он дал нам сроку до завтрашнего вечера! Тебе моя жизнь совсем не дорога?!

Выкрикнув это, полковник отшатнулся от нее и движение рукой сделал, будто защищаясь от чего-то. Она вдруг расхохоталась, затем проследовала медленно в свою комнату и заперлась. Утром она повесилась...

В гробу, с посиневшим лицом, она совсем не казалась ему мертвой. Она будто уснула некрепко и вот-вот проснется, вот-вот приподнимутся ее веки, и... И что же? Вновь из-под них начнет стрелять презрение? Он стоял, смотрел на нее, мертвую, и не желал ее векам приподняться, ей проснуться. Он вновь был спокойным, а его яростная одержимость — деловой и вдумчивой. Он смотрел на лицо склонившегося над гробом полковника и презрительно усмехался. Полковник уловил его взгляд, поднял на него глаза и тут же опустил их снова. Он сейчас хотел даже, чтобы полковник взъярился, кинулся на него с кулаками, но одно лишь видел в его лице: успокоенность и облегченность — жив! не посадят! И ничем было не согнать эту маску, врезающуюся в мясистую морщинистость ставшего вновь волевым лица полковника. Он брезгливо поморщился, глянул с неопределенным вздохом на лежащую во гробе и пошел прочь. Через много лет он встретил полковника на улице. Тот сразу узнал его. Сам не понимая зачем, он задиристо перегородил полковнику дорогу и уперся в него своим тяжким взглядом, в свое время наводившим ужас на всех, на кого он падал. Полковник удивленно оглядел неожиданную преграду, что-то блеснуло в его выцветших, слезящихся старческих глазах, что-то дребезжащее прозвучало из безгубого вонючего рта, он шагнул в сторону, обошел препятствие и побрел своей дорогой. Вдруг остановился, резко обернулся, шею вытянул, заморгали быстро-быстро его ресницы, что-то опять продребезжало, после чего окончательно отвернулся полковник и пошел уже не оборачиваясь. Больше они не встречались.

И ни с кем больше он уже не встречался в жизни. Когда стало ясно, что славы не будет, он сдал очень резко. Быстрота сия и начальство поразила, и соратников, он им казался вечным, ведь — олицетворение же! Огнестрельное время безжалостно гнало его в старость. Вскоре он перестал выходить днем на улицу. Дневной свет стал раздражать его, да и как он мог его не раздражать — ведь самое-рассамое из всех дел делалось по ночам. С таким наслаждением распахивал он окно своего кабинета после того, как уволакивали с глаз долой очередного покладистого, корчившего из себя упористого! Вместе с ветром он вдыхал в себя мрак, созерцал его полузакрытыми глазами, и нутро его радостно урчало. Идя как-то ночью домой, он представил себе окружающую тьму живой. Это ему очень понравилось, и он засмеялся в голос среди ночи. Оживленная им тьма гладила ему лицо и

шептала что-то щемящее, щекочущее, отчего он улыбался и губы его сами по себе отвечали шептаниям тьмы тоже шепотом, отвечали чем-то непонятным, но значительным и таинственным, что выше слов и понятий. От этого диалога все пело у него внутри, а где-то в необъятной выси ощущался воображаемый колпак над Москвой, под которым ждали утра в своих темных ячейках покладистые околпаченные людишки. И один лишь звук носился по околпаченной Москве — стук об асфальт подковок его хромовых сапог. Когда беспощадное время отпихнуло его от самых-рассамых дел и остался он совсем один, каждую ночь стал совершать он марш-бросок сквозь щекочущий ласкающий мрак к огромному, царящему над миром дому, где остались пятьдесят лет его жизни и где по-прежнему заняты самым-рассамым из всех дел на земле.

Стало совсем темно, он натянул на голову фуражку-сталинку, схватил палочку — опору жизни — и засеменил к двери. Перед дверью он застрял — замок не слушался и не отпирался. Подошла старуха и одним движением открыла дверь.

— Господи, это ж надо так провонять, — вздохнула она. — Хоть бы сдох скорей...

Но он уже не слышал, он уже торопливо спускался по лестнице. Проходя мимо закрытых дверей, он всякий раз хотел ткнуть в них палкой, чтобы знали людишки, что жив он еще и палка — вот она.

Как-то вытолкнуло его (забылось уже теперь — зачем) на улицу днем. С думой о колпаке прошаркал он три десятка метров и очутился на улице Горького. И обалдел, растерялся, оказавшись под ярким солнцем среди туда-сюдашнего потока людишек. В столбняке простоял он несколько мгновений и затем с воплем стал вдруг колотить палкой вокруг себя, чтобы всем-всем, и тем даже, что в невидимой дали, — всем досталось! И наконец рухнул на асфальт, дергаясь. Посозерцала его толпа, кольцом обступившая, а когда он затих, двое сердобольных оттащили его на лавочку. Повздыхали и посочувствовали ветеранам — много, мол, им от огнестрельного времени досталось. Один только, молодой, кому палкой со всего размаха сверху вниз в лоб досталось, зло пробурчал, что, де, будь драчун помоложе... На него прицыкнули, что понимать, мол, надо ветеранов, не обижаться, что неизвестно еще, как сам-то задергаешься в его-то годы... А один из толпы, тоже ветеран, довесил ему сердито, что, натолкнись он на этого, который нынче с палочкой, в т е годы, когда драчун молодым был, от него, нынешнего, и перышка бы не осталось...

Очнувшись на улице, он остановился и глубоко вздохнул. Радостная торопливость в быстрых глазах сменилась тихим блаженством. Тоший вздернутый его носик шумно втягивал воздух, тошие плечики поднимались и опускались в такт дыхания — мрак ласкал его, и он наслаждался его ласками. Наконец он двинулся по знакомому маршруту. Быстро-быстро пробежал-просеменил светлое Садовое кольцо и нырнул в переулки. Стало отчего-то колоть в боку, приходилось часто останавливаться. Скоро покажется оно, здание-громадина, царящее над миром. Вот... вот оно видно уже... сейчас ближе станет. А сейчас?... Сейчас из стены начнут выходить эти... Все людишки до единого, что наткнулись на него за эти пятьдесят лет. Ни один не пропал, все тут. Вот в странной полулежащей позе выплыл чубатый. Мертвые глаза его открылись.

— Колпак! Колпак над Москвой! Над всеми колпак! — заорал чубатый. — Над всеми колпак! — И вдруг завыл надрывно и протяжно: — У-у-у!

— Да, колпак! — закричал он в ответ чубатому. — А я тебя — палкой! И... всех вас палкой!

Он колошматил танцующую вокруг тьму палкой и радостно хохотал.

Последней предстала перед ним она. Она всегда спускается сверху, она раздвигает руками мрак и наплывает на него, что-то беззвучно шепчут ее губы, ее желтые волосы пронизывают бушующий вокруг мрак, она вдруг начинает хохотать его голосом, он дергается, с него сходит оцепенение — и он и на нее бросается с палкой.

Все прошли. Почему-то сегодня это продолжалось дольше обычного. Он озирался, шарил глазами по мраку, угрожающе постукивая об асфальт палкой. Никого. Все прошли. Устремился дальше, вперед, благоговейно обошел родной дом-громадину, вышел на площадь и... окаменел от изумления: на другой стороне площади стоял в воздухе, сверкал золотыми куполами давно снесенный храм Гребневской Божией Матери. И тьма не могла поглотить его.

Он воинственно зарычал и засеменил ко храму, чтобы и его — палкой. И вдруг его кольнуло-ударило в бок — да так, что нечем стало дышать. Палка выпала из его рук, он рухнул на колени и простонал что-то невнятное, жалостное. От невыносимой боли в боку он лег на асфальт и вытянул ноги. Не полегчало. Рот его

сам по себе открылся, и бушующий вокруг мрак устремился внутрь предательским удушающим потоком. Он захрипел, протестующе задргался... и тут увидел, что сияющий храм все еще стоит на воздухе. Он устремился ко храму взглядом — и сразу сгинула боль, перестал душить мрак. Все исчезло из глаз, кроме храма, и ему показалось, что от него будто ждут чего-то золотые кресты. Меньше мгновения он думал-недоумевал, чего ждут они, что он должен сделать и что будет, если он сделает то, чего от него ожидают. Он потянулся к палке, достал ее и замахнулся на храм. И храм устремился ввысь.

— Колпак! — захрипел он вдогонку. — Колпак разобьешь!..

Ему действительно почудилось, что из вышины раздался грохот-звон разбиваемого крестами колпака над Москвой. И звон стекляшек по асфальту. Завыл он отчаянно. И тут вновь бок полоснула боль. Из мрака вынырнула жуткая зубастая пасть, надвинулась на него. И все исчезло.

Утром первые прохожие подобрали его и, морща носы от нестерпимой вони, отволокли его в ближайший медпункт, откуда он был доставлен в морг. Никто за ним не пришел, никто его не признал, и труп его пошел на разделку для нужд медицины.



БОРИС СИРОТИН



...И НЕЧАЯННО ВЫШЕЛ НА ГОРУ

ДНИ МАРТА

Загудела, запела метель,
Исполинский свой парус раздула,
Сколько снега меж сосен и гула!
А потом — словно села на мель —
Белый парус свернулся — и в щель
Между туч — солнце косо блеснуло.

Только снова корабль оживал,
В скрипах сосен снимался он с мели,
Снова снежные вихри кипели,
Разрастался катящийся вал,
Прямо за сердце он задевал,
Как и солнце, что било из щели.

Так два дня продолжалось, потом
Распростерлись снега пуховые,
Дружно ветки берез верховые
Набухали в луче золотом,
И ловил я глазами и ртом
Струи света, волокна живые.

И такая небесная синь
Открывалась взаимному взору,

Словно шел я среди снежных пустынь
И печаянно вышел на гору,
И навеки остаться здесь впору;
И навеки останусь. Аминь.

* * *

На протяжении недели пасхальной
Снег исчезал с быстротою опальной.
На протяжении пасхальной недели
Зяблики пели и утки летели.

Талой водою сочлились овраги,
Солнышко было медовее браги.
И от лучей, от сверкающей влаги
В сердце росло ощущение отваги.

Где это, где это, в крае каком
Колокол кличет хмельным языком?
Где — вопрекор неотступной беде —
Ясно кресты золотеют в воде?
Соки в древесных вздуваются жилах,
Водка в стаканах стоит на могилах?

...Вновь собрала по шепотке лучи,
Снова свои испекла куличи.

СИРОТИН Борис Зиновьевич родился в 1934 году в степной оренбургской деревне. Работал техником-термистом и конструктором на заводах, корреспондентом в районной и областной газетах. Автор многих поэтических сборников. Член Союза писателей. Живет в Самаре.

* * *

На треть, а то наполовину,
Не тронутая ложью книг,
Душа имеет лик звериный,
Не морду — а звериный л и к.

Когда осенний ветер свищет,
Как листья, думы вороша,
Я вижу: вновь по миру рыщет,
Рычит моя полудуша.

Слежу за нею зорким глазом,
Весь опыт свой употребля,
Не отпускает цепкий разум
Ее далеко от себя.

Пока она скулит повинно
И отряхает прах земной,
Души другая половина
Светясь, витает надо мной.

И тем я жив, что мысль приемлю:
Мол, остывающей трухой
Один состав падет на землю
И в небо втянется другой...

* * *

В. К.

А зелье губило меня
Иль все-таки что-то давало,
Когда — три, четыре ли дня —
Наивно душа пиновала?
А после вставала из тьмы,
Дрожа и себя проклиная
Средь русской суровой зимы,
Которая мама родная.

Душой беззащитен и гол,
Нестойкий от сердцебиенья,
По краешку пропасти шел
Я в новое стихотворенье.
Тянул туда солнечный свет
Простора, где сердцу не тесно,
Иль крупный медлительный снег,
Нетяжкий, почти бессловесный.

Там жизнь и свежа и бела,
Сладка, как любовная мука.
А темная пропасть была
Бездонна, стоглаза, сторука.
И сердце срывалось почти,
Но было отчаянно радо
По кромке неровной идти
До света и до снегопада.

* * *

Снова я обратился
к широкому этому слогу,
Что гекзаметру древнему
будет немного сродни;

С ним войду в темный лес
и зареюсь в медвежью берлогу,
С ним ступлю на опушку
в просторно-осенние дни.

Просто чудится в нем
гул великий и трепет невнятный,
Эха зов многократный,
размеренный смысла размах.
Плыть на лодке по Волге,
где лунные прыгают пятна,
И с тоскою понятной
о берегу думать впотьмах.

А когда рассветает,
ступить на песок на скрипучий
И по берегу долго идти
неизвестно куда,
Но уверенным быть,
что всегда тебя выручит случай,
Лай собачий иль рифма,
эпитет иль в небе звезда.

Я лежу на воде,
на непрочной, блистающей грани
Меж землею и небом,
и ввысь, не мигая, гляжу.
Ни о чем я не знаю,
ничего не предвижу заране,
Но теченьем широким,
как жизнью своей, дорожу.

Битый не за себя,
не своей избалованный славой,
В этой смуте кровавой
живу поневоле одним:
Только б жизни хватило —
заполнить размер величавый,
И уйти, и укрыться
гекзаметром этим степным.

ФЕДОР СУХОВ

Луговых ли, озерных дúхов,
По зеленой земле идя,
Вызывал к себе Федор Сухов,
Ублажал его дух дождя.
Прочь, душа, из тесного плена
Стертых слов, разорви их круг!
...Волги царственное колено
С высоты открывалось вдруг.

Чаще мрачной, светлой поляне
Бил челом, слушать их привык.
Может, знали одни древляне
Этот их потайной язык.
На такие глаза и уши
Обеднел российский народ!
Вот и хвоя мрачней и глуше,
И подснежник бледней в сей год.

Только ведь все равно на вербе —
Ломкой, мартовской — цвет пышна,
И быстры облака на небе,
Ибо ведь все равно весна.

Снова посоху бресть тропою,
Лугу цвести и лететь пчеле,
Ничего он не взял с собою,
Все оставил родной земле.

* * *

Облетают сучья с осины.
Под ногами великий хруст.
Нынче клич печальный гусиный
С человеческих рвется уст.

Улететь бы куда подале!
Но, за кромку земли спеша,
Остается сгорать в печали
Меж осин живая душа.

И терзается, что не птица,
Но, приветствуя лес и дол,
На последнем вздохе гордится
Тем, что жребий любви тяжел.

* * *

Рука моя не поднималась,
Чтоб осенить себя крестом,
Был некрещен — такая малость,
И все ж рука не поднималась,
Как бы налитая свинцом.

Вокруг, во младости и силе,
Для удали и красоты
Открыто нехристи носили
Позолоченные кресты.

И вот воспринял я крещение,
Как откровенье и наказ,
Но душу робость и смущенье
Не отпускают и сейчас.

Хоть ныне и ожившей сказкой
Мерещится порою Русь,
Я торопливо и с опаской
На церкви белые крещусь.

Такое чувство, будто дьявол
Глядит мне в спину, теребя
Бородку подлюю: уж я, мол,
Все, милый, помню про тебя!

...Болезнь ли, совесть? — я не знаю,
И только то меня страшит,

Что вижу, как земля родная
В грехе, во зле ничком лежит.

За годы дерзости расплата —
Иль свет забрезжил там, вдали?
Как при лжедмитриях когда-то,
Ничком, лицом своим — в пыли.

В УГЛУ

Время потеряло смысл для меня,
Я не старею день ото дня
И не молодею — сижу в углу
И вглядываюсь то в ясный день,
то во мглу.

То ясный день, то мгла за окном,
Люди с хлебом, птицы с зерном —
Такой нынче год, но пророчит небо,
Что не будет скоро ни зерна, ни хлеба.

Что не будет скоро ни хлеба,
ни зерна,
Только груды сора да нищая страна,
Для которой время смысл потеряло;
Ибо вражье семя на землю пало.

От вражьего семени земля не родит,
А в горной расщелине ветер гудит,
Ветер огненный, пулевой
Свистит у России над головой.

Скоро ль медный маятник качнется,
Скоро ль бедный народ очнется?!
Неужто в исступленьи
забьет в колокола,
Когда по колени будет зола?!

Эх, только б не прельстился
разбойной славой,
Ума бы не лишился в спешке
кровавой.

А то меня вытащат на белый свет:
— Это ты сказал, что времени нет?
Вот сейчас наложим
смертное бремя —
И взаправду кончится для тебя время!

...Ну и ладно! Тащите скорее,
А то я сижу в углу, не старею
И не молодею день ото дня —
И время потеряло смысл для меня.



В феврале этого года Борису СИРОТИНУ
исполнилось 60 лет.

Горячо поздравляем нашего постоянного автора,
замечательного русского поэта, с юбилеем
и спешим заверить, что его время не потеряло смысл
для читателей-современников.

МНОГИЕ ЛЕТА, ДОРОГОЙ ДРУГ!

БОРИС ЕКИМОВ



ЦВЕТЕНИЕ САДОВ

ПАМЯТЬ ЛЕТА

Вот и пришел декабрь. Солнца какой уже день не видно. Где-то встает оно, за сизой зимней, осенней ли невидью. Хмурый день просыпается долго, до самого полудня, и скоро гаснет. Ранние сумерки торопят ночь. Городские кварталы желтеют огнями. Уличные фонари зажигаются рано. По времени — рано, а уже тьма на дворе. Впереди долгий зимний вечер.

В эти тусклые дни, глухие вечера особенно ясно вспоминается лето. Нынче оно было долгим. Устали от жары, торопили осень. А теперь, словно сладкий сон, вспоминается: солнце, тепло, зелень. Самая пора травный чай заварить, чтобы душу согреть и потешить.

Откроешь дверцу шкафчика и сразу почувешь: травы.

Для красоты, а может, для прилику всю зиму стоит у нас в кувшине сухой букет. Там желтый цвет зверобоя, сиреневый — душицы, зеленый лист — глядится хорошо, и только.

А шкаф откроешь, в лицо тебе пахнёт пряного чабреца острый дух, холодок мяты, зверобой, сладость сушеных яблок и абрикосов, шиповник — все здесь в мешочках, баночках да кулечках.

Согреешь заварной чайник, бросишь туда щепоть золотистых звездочек зверобоя, веточки чабреца, мяту, душицу. В нагретом фарфоровом чреве сухие травы сразу отволгнут, весть о себе подадут первой волной тонкого духа.

Вода на плите заклокочет. Кипятком траву сполоснешь, заваришь, прикроешь чайник льняным полотенцем. По всей квартире плывет душистая пряная волна летнего травостоя.

Лето красное, лето зеленое греет декабрьский ненастный вечер. Сразу вспомнится, как собирал эти травы: чабрец, зверобой, душицу...

СОБИРАНИЕ ЧАБРЕЦА

В прежние годы у нас в поселке за чабором далеко не ходили. Выйдешь за околицу, на кладбищенский выгон, здесь чабора — хоть косой коси. Чуть левее, в разлатой падине лога — сплошной сиреневый цвет; вправо за кладбищем, на песках, в летний полудень трудно дышать: чабрецовый дух душным маревом стоит над прогретой землей. Пчелиный гуд от темна до темна. Привозили сюда улья. Чабрецовый мед темен, пахуч и терпок.

Нынче пришли иные времена. Песчаную падину в логу распахали. У кладбища всю добрую траву козы вытоптали. Поехал я утром к лесопитомнику, а там — негусто.

А без чабора в городской квартире зимовать скучно. В кухне над плитой два-три пучка надо подвесить. И всю зиму, когда ударит пар в потолок, из чайника ли, кастрюли, чабор сразу отзовется. В бане, в парной, положишь веточку-другую, и зной парилки станет духмяным. Водочку настоять чабором до изумрудного цвета, вкус — отменный. Горло пополоскать, коли заболит. Просто чайком побаловаться в долгий зимний вечер. Словом, без чабора не обойтись. Надо ехать в голубинские пески. Там всегда чабор.

Выберешь день, и поплыл катером, который вверх по Дону идет до хутора Большой Набатов. Лето — в разгаре, Дон в зеленых курчавых берегах. Но чуть выше хутора Рюмино — Красноярский, за глухой протокой, справа, начинаются пески. От самой воды — песчаная круча, за ней — желтые бугры — “кучугуры”, бархан за барханом. Знакомый капитан приткнет катер к берегу, высадит и пойдет дальше. Стихнет гул мотора, сомкнется тишина.

Людей здесь нет. От хуторов — далеко. Машине не пройти, увязнет в песках. Лишь солнце, небо, желтые пески да коршуны в могучем токе горячего воздуха.

Здесь и Дон пустынен на многие версты. Лишь весной, в пору высокой воды, вывезут хлеб из верхнедонских станиц, горючее завезут, — и все. Останется лишь ветер, плеск волны да чаек крик.

Утром в песках — прохлада за ночь остывшей земли. Нынче была гроза с полыханьем, тихим дождем. Здесь, над песками, раскаленными за день, дождь истаивал на лету. На песке — следы редких капель.

Ухожу от воды. Сразу же, за первым холмом, чабрецовая падина. Сизоватая зелень, сиреневый цвет, живительный чабора дух. Здесь, в местах неезженных и нехоженных, растет чабор долго. Каждый кустик — не травинка, но малое деревце с жилистым стволиком, ветвями. Присядешь, взглядишься: перед тобой карликовый, но могучий старинный лес без конца и края. Вот и режь сиреневый цветок за цветком.

Надоест, идешь с песчаного бугра на бугор. Трав мало: жесткая солянка, редкий молочай — и все. В низинах чабор цветет. Пчелы не гудят, далеко людское жилье.

Солнце встает все выше. Песок накаляется, дышит жаром. Но день, к счастью, облачный, межится солнце и тень. Можно даже прилечь, раскинуться на горячем песке.

Небесный оком здесь просторен. Облаков невесомые громады медленно плывут надо мной. Снизу они — подсиненные, сверху — сияющая белизна. В городе ли, в поселке, в куцем, от крыши до крыши, пространстве облака, даже летние, — просто сизая клякса. Здесь, на просторе, плывут друг за другом сказочные громады, каждая — таинственное королевство: высокие зубчатые стены и башни, стрельчатые дворцы; или горная страна: с утесами и ущельями, с черными пропастями и снежными вершинами; или старинный корабль под полными парусами.

Особенно хороши облака на закате, пронизанные золотистым и розовым, потом алым и багряным цветом. Как долго, как медленно они угасают, от подножья к вершине.

Теперь — день, до вечера еще далеко. Жаркий солнечный день в песках. Летний месяц июнь. Чабор цветет. Низины, в безветрии, наливаются его терпким, пахучим, живительным духом.

В полудень станет жарко. Но рядом — спасенье, Дон. Огромная старая верба дремлет на урезе воды. Мощное ее подножье, густая тень из года в год принимают меня.купаюсь, плаваю, отдыхаю, удобно устроившись на просторном подножии. Вода плещет у ног. Дон серебрится под солнцем, слепит. Желтые пески дышат жаром. На том берегу, за рекой, курчавая зелень займища. Тишина и покой.

Отдыхаю и снова ухожу в пески. Серые ящерики греются на солнцепеке,

пленою закрыв глаза. Редко-редко встретишь змею. Земляные зайцы-тушканчики, рыжие корсаки-лисы теперь на покое, спят до ночной поры. Кое-где, среди песчаных разливов, старые сосны, в тени их — смолистый дух.

Так и проходит день, пока на вечерней заре не ткнется в берег катерок, забирая меня. Вот и кончился долгий день собирания чабора.

Теперь вот, зимой, вспоминаю его.

СОБИРАНИЕ ЗВЕРОБОЯ И ДУШИЦЫ

Зверобой и душицу добываю я в Грушевой балке. И нынешний год, добрым июньским днем, поутру, я собрался в дорогу.

Обычно, чтобы дважды не ездить, выбираю я июньский, июльский ли день, когда наверху балки зацветает душица, а внизу, в укромных местах, еще не отцвел зверобой.

Машиною ехать туда несподручно, она — словно путы, лишь рядом кружись. А пешком — далеко. Старенький велосипед выручает. Он и везет, и рук не вяжет.

Дорога ведет поселковыми улицами, к предместью, к высокому мосту через Дон. Зеленоватая гладь реки по-утреннему зеркальна, тиха. У высокого, правого берега — лодки рыбаков.

Бетонная дуга моста тянется вверх, а дорога на правом берегу — вовсе на подъем. Крути и крути педалями. Обгоняют меня легковые автомашины. Тяжелые грузовики медленно ползут в гору, волоча за собой вонючий шлейф соляровой гари.

Но вот, наконец, спасительный съезд. Скатаешься с высокого полотна асфальта, полевой дорогой отъедешь лишь сотню метров, и уже — другой мир. На обочине — белые граммофончики выюнка, розовые цветы дикой мальвы, легкие колоски вейника, аржанца. Недолгий путь, и вот она — Грушевая балка.

Балками у нас на Дону называют ложбины, лежащие меж холмов. Одни бывают глубокими, узкими, с крутыми обрывистыми склонами, словно ущелья, другие текут пологим распадком. Красная балка, Петипская, Ореховая, Крутенькая... В холмистом Задонье не счесть их. Грушевая — самая большая в округе. На многие километры тянется она просторной долиной, огромным распахом земли, вбирая в себя малые балки и балочки, теклины, лога. На пологих просторных крыльях ее — хлебные поля, бахчи, кукуруза, подсолнечник. Ниже, где земля не пашется, сенные угодья. А в самом низу лесная чаша.

Велосипед оставил я наверху, в смородиновой гуще. Сам, не спеша, спускаюсь вниз. Вдали и вблизи светит под солнцем мягкое серебро поспевающих ячменей, желтые, с красниной, поля пшеницы-озимки. Над головою — небесная синева, по ней — редкая изморозь перистых облаков. Припекает.

Внизу, на дне балки, зеленеют дубы да вязы, дикие груши, серебрится листовую белокорый осокорь, под сенью деревьев — прохлада. На лесных полянах — в желтом цвету коровяк, конский щавель, живокосица. Обступают тропинку кусты черноклена в нарядных розовых сережках. Большие красные стрекозы летают, переходя из света в тень: то вспыхивают на солнце ослепительным золотым сияньем, то гаснут, и снова сияют, шурша слюдяными крыльями.

По лесистому дну Грушевой балки иду я от поляны к поляне, там и здесь находя желтые созвездия зверобоя. Два ли, три хороших пучка, и хватит. Пора подниматься выше, где цветет на опушках душица. Нынче ее пора. Мне много не надо: три пучка, и на зиму хватит.

Солнце — в полдень. На пологом склоне горячий “калмыцкий” ветер дует в лицо. Жар стекает с каленых, медью горящих, хлебных полей. Чую на губах сладкую пресноту спеющей пшеницы.

Юркий тракторенок сгребает валы сухого сена. Сено славное, высохло без дождя. Зеленый пырей в нем, мелколистный вязиль с розовыми цветами, пахучий полынок. Сенный дух стоит над землею.

Жарко. Очень жарко. Вчера термометр показывал сорок градусов в тени. Сейчас — не меньше. А здесь, на солнцепеке, и вовсе.

Вон дорога моя. Она тянется вверх по угору, откуда стекает в балку полуденный жар. Он зыблется золотистым маревом.

Собираю букет на прощанье: синий шпоник, голубая нежная вероника, алые мальвы, медовое облачко дремы, зонтики тысячелистника.

Дома, всякий раз, старые люди мои — тетушка, мать — радуются таким букетам, вспоминают, как сено косили в Грушевой, в другой ли балке. Вспоминают, вздыхают, говорят: “Может быть, последний раз видим эти цветы...”

Знает лишь Бог, для кого и когда день последний и цвет.

Горячий ветер, неба синева. Жар осязаемый. Птицы смолкли. Стрекот кузнециков.

Спасибо за нынешний день. Солнцу, высокому небу, горячему ветру и травам: живым, что в цвету, и мертвым, сухим, чей дух кружит голову. Все это сейчас в груди и в крови у меня. Я знаю, что такого дня не будет теперь целый год. Будут иные, тоже прекрасные... Но угаснет цветение трав. Прошумит час косьбы. Придет осень, потом — зима. В городской квартире чай заварю, со зверобоем, с душицей. Дух потечет по дому. И вспомнится нынешний день. И станет хорошо, как теперь вот, в летний жар, на пологом склоне Грушевой балки, в Задонье.

ЗА ШИПОВНИКОМ

Нынешней осенью, в конце сентября, подъехали мы с товарищем на берег Дона; к Черкасовскому заливу. Товарищу моему, жителю городскому, захотелось упицы. Вот и приехали на поклон к рыбакам.

Пора была вечерняя. Солнце опускалось к холмам Задонья. Низко шли сизые тучи.

Я вышел из машины. Поселок лежал позади. Ничто не мешало взгляду. Синела передо мной просторная донская вода, холмистое Задонье открывалось на многие километры. Солнце проглянуло, и засияло на той стороне желтое непаханое жнивье, рыжие дубки да вязы — осень гуляла в Задонье.

И я вдруг вспомнил, что не собирал еще нынче шиповник. Все суета да заботы... “За шиповником надо ехать, — сказал я товарищу. — Завтра же... А то пойдут дожди”.

Шиповник на зиму собираю я всю жизнь. Раньше просто за Дон переправишься, и вот он. Потом на шиповник мода пошла, и стал я забираться подальше, в места нехоженые.

Ранним утром плывешь водою, на катере, до хутора Большой Набатов и оттуда, не торопясь, целый день идешь по берегу Дона, по холмам его, спускаясь к станице Голубинской, где в шесть ли, в семь часов уходит последний автобус в поселок. Туда и правишься, всегда успевая.

Нынче, в квартирном моем, городском житье есть одна радость — окно с видом на Волгу. Глядишь из него: берег, река, воды ее, далекий простор с высоты пятого этажа. Долго можно сидеть и глядеть. Всего лишь окошко, а такая отрада.

А в те походы, когда шел я, не торопясь, день напролет по холмам Задонья, — это был праздник. Для взора, для сердца и души.

С высоких холмов открывается полмира. Все просторное луговое Придонье. Лесистые займища с рыжими дубняками, желтыми тополевыми, рдяными талами, а дальше — осенние луга, светлые пески, белые нити дорог; синие озера, протоки, старицы, дальние хутора.

Весь день идешь, взбираясь на холмы и опускаясь в лесистые балки. Дубы роняют желуди. Кусты боярышника — в алых ягодах. В багряных зарослях барбариса кормятся куропатки, шумно взлетая от шагов твоих. И сам, словно птица Божия, кормишься: мучнисто-сладкой бояркой, терпкими яблочками да грушамидичками, плодами лоха. Под белесой их кожицей — кофейное, сладкое масло; недаром лох называют у нас “масленкой”. И конечно, шиповником, выбирая кусты с мягкими ягодами. Так хороша их нежная, сладкая мякоть. И хоть знаешь, что будет потом в горле першить от колючек, но ешь и ешь.

А впрок, на зиму, берешь твердые ягоды. Особенно хороши они на откосах, ближе к воде. Алые, гладкие, словно лаковые; рдяные кусты-загляденье. Рвешь на одном, а глаза жадно тянут к другому.

Внизу — синего Дона огромное коромысло. Там — чайки, там — черные вороны на водах и берегах ищут поживу; пустынная земля лежит далеко-далеко, так ясно видимая в прозрачном осеннем воздухе.

Просторное небо, безлюдье, тишь. Лишь ветер шарится в облетающих зарослях сибирька.

В конце похода рюкзак оттягивает плечи.

Но в годы последние, грешный человек, за шиповником ездил я на машине. В той же Грушевой балке, хоть и рядом с поселком она, шиповника на всех хватает.

Но нынешний год самые лучшие места распахали под бахчи. Еще по лету я наведалься туда и охнул, все поняв. И теперь решил ехать подальше, но наверняка. По старой памяти помнил я одно место возле хутора Большой Набатов. Называется оно Семибояринка. От людей далеко, шиповника много.

Вот и поехал. Целый день там провел. Погода ломалась к ненастью: ветрено, хмуро. Но место я выбрал укромистое и приглядное: долина Голубой балки. Внизу — речка Голубая, поодаль — хутор Большой Набатов. Теперь будто в насмешку звучит Большой. А когда-то было и впрямь 150 дворов. На той стороне речки — Малый Набатов, 80 дворов. Дальше — Картули, Лучка, дворов по полсотни. Теперь там пусто. В Большом Набатове доживают свой век Фома Жармелов, Иван Евсеев да Василий Вьючнов — природные набатовские казаки, остальные — набежные.

Сторожат умирающий хутор курганы: Прощальный, Белобочка, Маяк, Городская гора, Львовичева, вдали видна Кораблевская, и в самом деле похожая на большой корабль, Меловская светит и в ненастном дне. Желтухин сад давно одичал. Петров да Сазонов куты затянуло вербой да тополем. Большой и Малый Калачики, Большой и Малый Демкин — все лишь память о прошлой жизни.

На той стороне, за Доном, осеннее займище. Там озера: Лубники, Садки, Бурунистое, Песчаненькое, Малая и Большая Клешни, Синие Талы. На Бурунистом я нынче летом рыбачил. Славное озеро, всегда тихое, окруженное камышом и вербами.

Шиповника я набрал и уехал. А к вечеру пошел дождь. Только-только успел я машину поставить, закапало.

Поздно вечером я вышел на двор. Было ветрено. Из окошка падал желтый свет на мокрые, в дождевых каплях листья винограда. В небе и на земле лежала осенняя вязкая тьма.

Вовремя съездил. В последний день, но успел. Теперь всю зиму будем с шиповником.

ЦВЕТЕНИЕ САДОВ

Первыми в наших краях зацветают абрикосы. Апрельская пора... Смородина развернула пахучий лист. Яблоня выпускает робкую зелень. Сады стоят прозрачные, голые.

На земле, в затишке, желтеют первые одуванчики, крапива лезет под заборами.

Весна. Абрикосы открывают садов цветенье. Хоть и растут они в наших краях давно (зовут их старые люди жерделами), но все же не наше это дерево. Странно глядеть, как на голых ветвях, вовсе без зелени, багровеют, напухая, цветковые почки. Один да другой жаркий солнечный день, и распустились. Лепится белый цвет на голых, рдяных от сока ветвях. Зацвели. Это уже весна настоящая.

Нынешний год спешил я в поселок к поре цветенья. Успел. Зацвели абрикосы. Но дал им Бог лишь один солнечный день, а потом непогода, ненастье: дождь, холод и в ночь под Пасху выпал снег. Утром встали — бело. Мороза, правда, нет. Абрикосы — в снегу.

К обеду обтаяло, снег пропал, обветрилось. Стоят абрикосы в цвету. День ненастный, темные тучи. На цветущих деревьях — ни пчелы.

Угрюмый вечер. Сизые с проседью тучи несутся низко. Белеет цвет абрикосовый на черных озябших ветвях.

Но такое бывает редко. Первый раз на памяти моей. Обычно цветут абрикосы в пору добрую. Но все равно как-то странно глядеть: голые ветки, ни листа зеленого; лепятся на рдяных ветках белые цветы.

Следом наступает черед алычи. Цвет ее, даже не видя, чувствуешь издали. Ночью идешь в пору ее цветения, ветерок повеял из тьмы, с чужого двора, сразу угадываешь сладкий ее аромат. Почуешь и встанешь. Алыча цветет, и через ночную тьму видишь, как стоит она в белом недолгом цвету. День-два, и летят лепестки. Тогда приходит пора второй волны цветения: вишни и сливы.

В цветке вишневом, на первый взгляд, ничего особого нет: белые пятна лепестков да между ними — пук тычинок на длинных ножках. Но зацвела вишня, облилась белью, и глаз не оторвешь.

Ни ствола, ни ветвей не видать, лишь белая пена с маковки до земли. Да молодая зелень листов оттеняет белизну.

Ранним утром цветущая вишня тонко-душиста и холодна, белоснежно-чиста; днем, под солнцем, ее белизба ослепительна. В полуденной теплыни дерево гудит, словно живое; все в желтых, по-весеннему нарядных пчелах. Вечером, в теплом сумраке, когда понемногу скрадывает тьма ветви и листья, вишневая белизба словно вскипает. Встает над землей белое облачко. И долго оно светит, а потом брезжит во тьме.

Рядом слива цветет, садовый терн, но возле вишни их цвет словно пригасает, ступевываясь.

Вместе с вишней цветет у забора пахучая смородина. Желтый цвет ее сладок до приторного. Недаром так любят ее тяжелые шмели. Теплым днем они с утра до ночи гудят над ней, садятся, пьют сладкий нектар, пригибая тонкие ветки. Эту сладость чувствует язык, когда осторожно возьмешь губами пахучий цветок смородины и прокусишь его у самого дна чашечки, прокусишь и пососешь. Сладко.

Желтый цвет смородины к вечеру среди зеленой листвы пригасает.

Плывет день за днем. И уже грядет главный для меня праздник — цветение груши.

Вот стоит она в розовых пухлых бутонах. День, другой... И зацветает.

Не знаю почему, но цветущая груша для меня — светлое торжество, одно из редких в году. Вишня цветет — душа радуется; яблоня в розовом цвете — любо глядеть. Но на цветущую грушу гляжу я с каким-то благоговеньем. Для меня это храм живой: огромная, в белом цветении. Темный ствол и могучая, белокипенная громада.

В старые времена, на Дону, груши-дулины росли на каждом подворье. “Черномыски”, “баргамоты”, “давилки”. Их запаривали, потом сушили и всю зиму варили взвар со сладкими грушами на закуску. С тех времен еще висят над живыми и мертвыми хуторами вековые груши-дулины.

Евлампиевский, он же Горюшкин... На этот умерший хутор хожу ли, езжу я каждый год. Груши там лучшие в округе. Как зацветут... Одна краше другой. По осени — все в плодах. На ветвях и по земле — желтая скатерть.

Но сейчас о весне. Съедешь в хутор с горы, и словно в раю. Дух цветенья настоялся в низине. Белые деревья сомкнули кроны свои. Бредешь ли, сидишь, забывая все: заботы и время. Лишь одно на земле: белый цвет, пряный дух.

В пору цветения стоит поехать на хутор Евлампиевский.

Но можно и не ездить далеко, найти поближе. Можно просто сидеть в своем дворе и смотреть на свою ли, соседскую грушу-дулину.

Сидишь, глядишь. Какие-то мысли светлые текут и текут. Всю свою жизнь передумашь, чему-то порадуешься, чему-то попечалишься.

В пору цветения весь день я на воле.

Вечереет. Ничего не надо. Лишь глядеть, как уходит дневной свет, сменяют его сумерки, темнеет небо, а цветущее дерево светит и дышит в лицо мне теплом, благодатью.

А потом распустит яблоня бело-розовые крупные цветы, пчелы, шмели собираются к ней, прямо звон стоит, поет дерево.

Но белъ понемногу редет. На земле — лепестки. Впереди — лето зеленое. Тоже хорошо. Но все же жалко: весна прокатилась. Что ж, будем жить дальше, ожидая пору созревания. Яблоня доцветает; вишни и абрикосы уже озернились, выказывая зеленую дробь плодов. Будем ждать.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Летний день начинается рано, до восхода солнца. Тихо. Поселок спит еще. Последние петухи допевают. Низко, над головой, тянется на поля с ночлега молчаливое воронье, просыпаясь, чирикают воробьи. Где-то в соседском дворе звякнуло ведро.

Утренние высокие облака чисты. Садовая, огородная зелень, освеженная ночной прохладой и утренней росой, сочна и свежа.

Постоишь, поглядишь, послушаешь и отправляешься утренним неспешным походом по своим владеньям.

Поднимается солнце. Его ранний утренний свет неяркий, желт, словно свечное пламя. В саду, меж деревьев, полосы солнечного света. И вот уже маковки яблонь засветились. Спелые яблоки среди листвы горят желтизной и алостью, манят.

Пробуешь то и другое: горсть смородины, вишни. Вишня — поздняя, и понизу уже всю обобрали. Осталась лишь у забора, в глушной тени, да на макушке. Переспелая, почти черная, самая сладкая, с косточковой горчиной. Последняя, время ее прошло, больше месяца кормимся.

Первой всегда поспевает соседская вишня. Глянешь через забор — заалела. В сортах вишни не особо разбираюсь, различая лишь раннюю, позднюю, пресную на вкус “китайскую” ли, “войлочную” да еще “вечную”, которая растет у нас давно и всех удивляет: с июля и чуть не до морозов ягоды на ней спеют, висят и висят, не усыхая. Но самая желанная, конечно, ранняя.

Заалеется — и начинаешь ее щипать. Кислючая, скулы сводит, но охота, после долгого ожидания.

При доброй погоде вишня спеет быстро. Вроде лишь вчера зарозовелась, а вот уж стоят деревца нарядные, глаз не отвести: по темно-зеленой листве — рдяной ли дождь, алый ли водопад, с маковки до земли. День за днем вишневые ягоды набирают сладости, призывая к себе старых и малых.

А там незаметно наступает пора абрикосов. Я очень люблю этот золотистый сияющий плод, сладкий сок его, пряную мякоть. В пору, теперь уже давнюю, посадил я чуть не два десятка абрикосовых деревьев. И все выдалось разные: спеют с июня до осени. Порою не уследишь, и вот уже ранние падают, желтеют в траве. Началась пора абрикосовая. Краснобокие, сияют под солнцем в листве, спеют и падают. Утром их сладкая сочная мякоть живительно прохладна, в полдень — пряна, горяча.

Абрикосовое варенье варить. Сушить спелые плоды на солнцепеке.

Наберешь их в белый эмалированный таз. На солнце тяжелая груда абрикосовых самородков желто слепит глаза. В тень поставишь, даже в погреба темень, они будут светить, остывая и не сразу отдав тот жар и свет, которые вобрали за долгие, долгие дни.

Сладкий и пряный, пьянящий абрикосовый аромат кружит голову в полуденный час.

Лущишь, вынимая косточки, обнажая розовато-желтую мякоть. Раскладываешь на черных противнях, ставишь на солнцепек. Осы летят в золотые чаши разверстого плода; бабочка-крапивница впиалась хоботком, пьет — не напьется, подрагивая от удовольствия кофейными в белых и черных разводах крылами.

Солнце. Полдень. Плавятся на черных листьях золотые плоды. Сладок их дух. Лето.

Пришел август, яблочный спас. И прежде него, до срока, хрумтели “белью”, “яндыковской”, но лишь теперь их пора. Спелое яблоко, словно налитая спелая девка. Все в нем: здоровая алость, летняя смуглота и нежная бель потаенного — бродит и ждет. Лишь нажми и брызнет: сок и сладость, терпкость и пряный дух — все твое. И не будет сытости. Еще и еще. Алчет взгляд, раздуваются ноздри, чужая медовую сладость, тянется рука. Сок и сладость.

Кружит голову сохнувших яблок дух. Сад вскипает плодами, словно дразня, выставляя их напоказ. Медовой спелости, янтарные желтые сливы, иссиня-темный чернослив тяжелят тонкие ветви; фунтовые груши смуглеют, загораются аlostью, бродит в них пряный сок; “яндыковка” сделалась прозрачной, солнечный свет пробивает плоть ее, видны черные семечки.

Августовское солнце, мягкий зной его. Тянется лето. Но первая синица в саду прозвенела: “Тень-тень! Тень-тень!” Скоро осень.

ГЕННАДИЙ СТУПИН



ГОРЯЧАЯ ЗЕМЛЯ

Покинув родину, город Аткарск Саратовской области, сразу после школы, я всю жизнь потом вспоминал ее, думал о ней и невольно сравнивал ее со всеми другими местами, где бывал, и себя — с людьми этих других мест... И всегда выходило так, что лучше моей степи с островками леса нет ничего и нигде, и люди других мест, если не хуже меня и моих земляков, то все же обделены чем-то от природы, от земли и климата. Я понимал это как свою пристрастность, следствие любви естественной к месту рождения, к лучшей поре детства и отрочества, вообще к прошедшему. Это так, конечно, и было...

Но с возрастом боль разлуки делалась привычной, успокаивалась, становилась очевидной ее неизбежность, даже необходимость, душа смирялась и любила и другие места за что-нибудь, присущее только им. Но уже разум сам отмечал и запоминал всевозможные, иногда вроде бы и несущественные различия. По размышлении я понимал нечто очень важное, а некоторые факты прямо являлись и подтверждали мою пристрастную идею особенности, особых достоинств моего родимого края. И теперь я совершенно спокойно, убежденно знаю, что да, действительно, мне посчастливилось родиться и расти в удивительно единственном в своем роде месте Земли, давшем мне особое, нежное и чувствительное, но крепкое и выносливое здоровье, необъяснимую жизненную силу, двойную жилу и многие другие физические и духовные качества, о которых применительно к себе говорить просто нельзя, нескромно, хотя речь отнюдь не о моих личных заслугах, а только о природных, врожденных дарах, именно полученных мною — и многими моими земляками — даром, с рождением именно в этом, а не в каком-либо ином месте Земли.

Начну с того, что Аткарск Саратовской области, или, если шире, мое место, наш край, находится в самой глубине самого большого на Земле материка и равно удален как от теплых, так и от холодных морей и океанов — то есть как бы “у Бога

СТУПИН Геннадий Леонтьевич родился в городе Аткарске Саратовской области в 1941 году. Служил в армии, работал каменотесом, охотоведом, грузчиком, кочегаром. Автор книг стихотворений “Тени тихие по полю” и “Ясная моя судьба”. Член Союза писателей. Живет в Подмоскowie. Как прозаик в нашем журнале выступает впервые.

за пазухой". Равно удален он и от густонаселенных, и от пустынных мест Земли, и от самых жарких, сухих или влажных, и от самых студеных краев. И, как это ни странно, сочетает в себе все это: и лютые холода, и изнурительный зной, и каменящую засуху, и потопные ливни, и изводящие душу и все растительное бесконечные дожди... Другими словами, климат резко континентальный, сочетающий в себе все хорошие и дурные признаки всех климатов, но в такой мере и в таком чередовании, которые делают его поистине целебным, закаливающим, нещадно и все же бережно тренирующим, развивающим все человеческие физические и психические силы, то есть делающим человека очень энергичным и выносливым, не грубо и тяжело, кратковременно могучим, а мягко, легко и длительно сильным.

Не перечислить и не описать всех разительных и прекрасных контрастов и переходов нашей природы, погоды, времен суток и года из одного состояния в другое или пребывания сразу в двух и более состояниях. Например, иней на всем после ночного заморозка, с восходом солнца превращающийся в обильную бриллиантовую росу, на глазах высыхающую ввиду наступающего долгого дневного зноя, смягченного, правда, всегда хоть и горячим, но все же сильным и ни на миг не останавливающимся ветром... Или ослепительно сияющие под солнцем глубокие и высокие снега, легкий морозец и благостная, умиротворенная тишина после двух-трехдневной сырой, пронизывающей до костей, залепляющей глаза и дыхание, затмевающей белый свет, валящей заборы, рвущей провода и срывающей крыши, хоронящей пеших в степи, заваливающей избы и автобусы метели... Нет, всего не описать, не перечислить даже. А все это не только закаливает и развивает, но и одаривает красотой, чистой поэзией, будит и воспитывает созерцательное и мечтательное, эстетическое и творческое, исследовательское и деятельное начала в отроке, в юноше...

А прозрачные — на два метра и больше в глубину видно дно и, как в увеличительное стекло, все на дне, и нырять можно с открытыми глазами — многочисленные речки: Медведица, Аткара, Лаверза, Колышлей... Заросшие, спрятанные, защищенные — но не от нас, мальчишек-рыболовов — непроходимыми уремами, ивняками, крапивами выше роста... Полные рыбы — я не знаю пресноводного вида, которого бы в них не было... С чистым, сахарно-белым песочком по берегам и на дне, с омутами и перекатами, прихотливо и прекрасно извивистые, всегда неожиданные, хоть и излазанные и исхлестанные удочками вдоль и поперек... Мы день-деньской стояли в воде с удочками, так что белые вымоченные пятки не чувствовали дороги, когда, уже в темноте, мы бежали домой, режь такую пятку ножом — не почувствует... У нас по два-три раза слезала кожа в начале лета — некогда было прикрываться на рыбалках, и загорали до черноты, целыми днями на солнце в одних трусах, а то и в чем мать родила... И не знали, что такое тепловой удар. Хотя порой, сгоревшие, и на стену лезли по ночам, скуля и стеная, а мать прикладывала капустные листья, кислое молоко... Мы спали на горячих углях, присыпанных песком, как на печке. А то и на остывающем, отсыревающем к утру песке, рядом с водой, безо всякого костра и подстилки — так что мышцы сводило и кости ломило, и встать не было сил, пока не отогреет солнышко, не вспотеешь обессиленно — как после тяжелейшей работы, не отлежишься немножко и — потихонечку, сначала на коленки, с отдыхами, встаешь — удочки и рыба не ждут... А пробежки спросонок по пять и более километров, по бодрящему холодку, в довременной тишине — чтобы успеть к восходу солнца закинуть удочки... А по жаре на велосипеде или с велосипедом в руках километров двадцать — тридцать вдоль речки, без дороги, по уреме, напролом, только спицы трещат, лицо и руки дерет ветками, крапива жигает, пот ест глаза — в поисках особо удобного и добычливого рыбацкого места... А с самодельной пешней в руках по льду с прорубанием в метровой его толщине лунок — подледный лов у нас был в новинку и, как правило, безуспешно — сотен лунок, так что кости рук потом неделю болели...

Но я сбился на рыбалку. А что нас гнало на рыбалку? Нет, не желание поесть рыбы, редко мы ловили много, а скука, теснота и убожество дома, "нечего делать" и — энергия, ищущая выхода, зуд движения и узнавания, мечта и надежда на чудо — небывалую удачу, огромную "Золотую Рыбу"... Послевоенные нужда, бедность, полуголод гнали нас из жилья и огорода в степь, в лес, на речки — в природу родную, всегда молчаливо и сурово любившую нас и изредка баловав-

шую. Земля, ее пространства влекли нас неодолимо, манили, обещая весь мир и все сокровища его. И зимой мы просто клали за пазуху кусок хлеба и шли в степь куда глаза глядят, часто без дороги, вон до того леска, оврага, а потом до того... Ветрище лютый, пустота кругом — глазу не на чем остановиться, снег, раздутый на взлобках и глубокий в ложбинках, бурьян оледенелый, шуршащий и звенящий, бесконечные разговоры — криком против ветра, и — свобода, воля, покой, счастье жизни на Земле, в мире, ощущение себя частью природы, страны...

Бывали, как теперь говорят, и экстремальные ситуации, то есть опасные положения и случаи. И нечаянно выходили на тонкий, в два пальца, лед, обнаруживали это уже на середине реки, далеко от места выхода. И проваливались под лед — где бьют родники, и лед истончен, за много километров от дома, от всякого жилья, в одиночку — спасала крепко воткнутая рядом пешня. И, катаясь в ледоход на льдинах, срывались в воду: но это детские забавы — рядом люди, дома, мать только потом догадывалась по черной краске на животе от трусов... А однажды мы с другом выходили из широкой и глубокой долины Медведицы, без дороги, по полутораметровому снегу — места-то низкие. Идти было километра полтора-два, коварный наст то держал еле-еле, то проваливался вдруг, всегда неожиданно — сердце обрывалось, потому что очень осторожно, напряженно ступали, и так глубоко приходилось барахтаться в снегу, прежде чем выберешься и наст опять удержит несколько шагов... После километра такой ходьбы друг замолчал, затих — только что болтали без умолку, а тут начал отставать... Я решил сделать отдых, поели в снегу хлебца, чем-то я его рассмешил нарочно... И вдруг он рассмеялся до истерики, бесконечной, страшной — я не сразу понял, а только когда на мои вопросы и уговоры он, смеясь, глядел пустыми бессмысленными глазами... я испугался: только до дороги было с километр, а до жилья, до людей... Слава Богу, успокоился все же друг, отошел через полчаса.

И на амнистированных заключенных, скитавшихся по речкам и рошам, натыкались, кому-то обходилось, а кого-то грабили, раздевали, ножом несильно, для острастки, пыряли...

И зимой под упавшим деревом, на сухой земле, спали, как в домике: пол земляной, стены снежные, а потолок — кора корявая ветлы необхватной... И летом, на солнышке, на бугорочке голом, открытом на десятки километров вокруг, под кипящим зноем сон смаривал... И в чистом поле, не под ракитой, как у поэта, а в ржанных валках, как зайцы, ночевали, когда костер было разжигать некогда или боязно почему-либо — людей бы не привлечь...

А как до полуночи, до полного изнеможения, до превращения одежды в ледяную броню боролись мы на ледяных и снежных, раскатанных до лоска и каменной твердости склонах оврагов за “верх”, “высоту”. Как летали и, бывало, кувыркались, ломали лыжи и ноги, по этим склонам, порою почти отвесным, прыгали с “сигалок” — самодельных трамплинов... Обо всем этом и многом и многом другом нельзя бы не сказать. Но это есть во всяком детстве: улица, “путешествия” в дальний лес, состязания всяческие... Кроме разве большого города, мальчишек которого мне всегда жалко. Хотя они тоже закалывают тело и дух по-своему, но как часто — хулигански, воровки, развратно. Бывали у нас приезжие “городские” — они были чаще всего слабее, но — наглее, бессовестнее.

А у нас природа, тишина и малолюдность городка, свет неоглядный, неизбывный вокруг, раздолье бескрайнее во все стороны, несмолкаемый, как шум моря, ветер развивали воображение, манили в даль, не давали сидеть на месте. Скука и теснота дома выгоняли вон, подальше. Были в городке и хулиганские, злчные места и сборища, но они нас или мы их как-то миновали. Шпаны послевоенной много было, финками, “пóджигами” хвастались, резали кого-нибудь нередко. Но мы большей частью бегали купаться, ходили куда-нибудь подальше, рыбачили, ягоды собирали, “штабы” устраивали на чердаках и в лесу, в переделанной под землянку лисьей норе, так что попасть в нее можно было только ползком, еле протискиваясь в земле — где лиса лазала, а дальше нора расширена, “благоустроена” и накрыта стволами, ветвями, дерном... Стадион, спортзал, хотя и они у нас были, все же не то!

Кто нас заставлял ото льда до льда купаться в речках, а зимой обливаться из ведра на снегу?..

Жирный, тучный чернозем, дававший неслыханные урожаи и — после дождя

— нигде более мной не виданную грязь, черную, маслянистую, однородную и вязкую, липкую, как кисель или каша... А под черноземом полутораметровым глины с метр, а потом — песочек! Белый, как сахар! Мелкий, ровный, словно сеяный... Покойники, если бывали прикрыты сверху глиняным “пологом” естественным, не гнили в таком песке, а каменели — навечно. Родники на дне речек и по берегам, и в оврагах, которых было много, крутых, глубоких. Лазали мы по ним, а некоторые обрывы, как, например, над Аткарой “у мельницы” (мельница уже давно не работала) или “Глинистая круча” на Медведице — были для нас как горы для скалолазов, не каждый и не всегда, не вдруг мог вскарабкаться на кончиках пальцев рук и ног, приныкая к отвесной почти стене всем телом, всеми клеточками, до самого верха, а уж спуститься — и подавно. Тут же, недалеко от мельницы, над огромным оврагом была кирпичная будка с трубой, из которой в руку толщиной день и ночь с незапамятных времен била родниковая вода — зубы ломило и дыхание перехватывало подземной лдяностью... В речках нырнешь на дно, “достанешь до дна” и вырываешься, как опшаренный, из ледяных объятий родников; а выше или рядом вода как парное молоко... “Горы” оврагов, “пустыни” летних полей, “леса” — лесные островки Панино, Тургиново, Осиновское, Засека... Морей только не было. Впрочем, весной речки разливались в одну сторону, на низкий берег, до горизонта — глядишь: под солнцем и лазурью все сияет, сверкает, блестит, переливается — такое буйство света, солнца и голубизны, такое слияние неба и земли, вернее, воды, покрывшей землю, — потоп да и только, дух захватывало, все забывалось, глаз было не оторвать, не отойти. Наводнение, наваждение... С уроков убегали без колебаний и опаски, как бы на законном основании, по уважительной причине: ледоход, разлив, половодье, водополье! Куда там морю. Никогда оно не может быть таким светлым и кротким, ясным, как небо, и широким, как неглубокая водица, тонкой пеленой подернувшая всю землю, куда хватает глаз, а отдельные деревья или купки их, кустики, столбы, сараи, заборы только подчеркивают стихийность и чудесность этой самовольной воды, этого полевого моря...

Эти свет, простор, разливы, ветра, снега, речки — мы жили ими и в них. Они включали нас в свой “оборот”, в свой цельный мир, принимали, жалели, порой баловали, но чаще сурово, молчаливо воспитывали, испытывали, натаскивали, как щенков, закаливали, крепили...

Послевоенный полуголод, а порой и просто голод, бедная одежонка, скучная и непонятно враждебная школа восполнялись, заменялись, утешались матерью — поистине! — природой. И я верю исследованиям каких-то американских ученых, пришедших к выводу, что голод и лишения, тяжесть жизни в раннем возрасте делают людей более здоровыми, выносливыми, живучими. Не безмерные, конечно. Я так думаю, потому что мобилизуют, активизируют все ресурсы организма, физические и психические, в нормальной и тем более комфортной жизни остающиеся не востребуемыми до смерти. А эти ресурсы велики, почти неисчерпаемы и, включенные в обращение рано, самовозобновляются, самоумножаются...

Бедна, скучна, придавлена и обескровлена нищетой, лишена выражения и достоинства властями была наша внешняя, материальная, домашняя, школьная и городская жизнь, если можно это существование называть жизнью. Но какие кипели любовные, мужские, сопернические страсти, спортивные, военные, творческие, какие взлетали мечты и простирались планы, какие вынашивались замыслы и самовоспитывались характеры! Откуда порывы, силы, само понимание возможности всего этого, то есть полной, яркой, гордой и свободной жизни? От природы, от земли ее и неба, ветра бесконечного, света беспредельного, которые так и подмывали, подхватывали и уносили куда-то, в неведомую прекрасную, бурную и полнозвучную жизнь. Только в такой захолустной, сонной, звенящей вечной и первозданной тишине и могли рождаться такие страстные, безумные, нереально-возвышенные и фантастически-красивые мечты...

Куриль и пить водку у нас было как-то “немодно”. И денег в карманах ни у кого не водилось, и родители были строги, но не только поэтому. Пробовали ведь и водку, на “взрослых” праздниках и гулянках, при этом не родители угощали, как теперь часто бывает, а сами припрятавали украдкой... И курили до тошноты, до прожигания последних штанов... Но, помню, однажды в темном уже парке, под черными кронами деревьев и орущими, устраивающимися на ночлег грачами

какой-то незнакомый мужчина чем-то привлек нас, собрал кружком вокруг себя, что-то говорил про курение... И мы с другом Валеркой Поляковым, эвакуированным из Ленинграда, на следующий день все папиросы из кармана разложили ровными рядками на тротуаре и, спрятавшись, наблюдали, кто и как их возьмет... Хотя — тут же вспоминается — были и совсем другие взрослые. Какие-то сонные, неопрятные, теперь я понимаю, бродячие, бездомные, может быть, амнистированные (у нас в городке была тюрьма) мужчина и женщина на скамейке в том же парке, на ярком и нежном вечернем солнышке... Мужчина вялым, бесстрастным голосом, с мерзкими подробностями рассказывал нам о девственности, девичьей нетронутости, о приемах и способах привлечения и овладения девушкой и последующего использования её зависимости, покорности и страха для своих нужд и целей — и все это с грязными, циничными словечками, с такой простотой и бесстыдством, даже как бы скучая от обыденности, житейской надоедливости всего этого, без нажима, как бы нехотя — тем самым только подогревая наши интерес и возбуждение. А женщина при этом наблюдала за нами, хотя иногда и отворачивалась... Мы, конечно, не были бесполоми и безразличными к противоположному полу, но для нас это все было прекрасной и страшной, роковой, губительной и потому неодолимо манящей и недоступной тайной, открытие которой нас еще ждет впереди где-то, не близко, но неизбежно, и тем мучительней и слаше, воздушнее и волшебней были наши представления и мечты. А то обыденное и грязное, прозаическое и стыдное, непонятное и грубое, что мы иногда все же видели и слышали нечаянно, поражало, ранило, бредило, но к нам все же как бы не имело никакого отношения, к нашей чистоте не приставало, а было совсем в другой, “взрослой” жизни, во многом нам чуждой и даже враждебной. А этот мужчина убивал на наших глазах нашу тайну, вводил нас в чуждый, скучно-грязный и жестокий, бездушный и отталкивающе прозаичный мир... Мы, несмотря на любопытство и естественное возбужденное влечение к этой теме, почему-то все же чувствовали в его рассказах и наставлениях что-то опасное, вроде насилия и увечья или ограбления, вроде отравы и обмана, и долго не могли стоять и слушать, и потихоньку отошли, первым — самый смелый.

Чиста была природа вокруг нас, преобладающе чиста и нравственна была бедная и трудная жизнь вокруг нас, а грязь всегда сопряжена так или иначе с жиром...

В теплой, как парное молоко, воде, на горячем песке, совсем или почти раздетые, в непосредственной близости с женщинами, бабами и девочками, в таинственно-темных, наполненных ароматами цветов и грязными запахами глубинах вечернего и ночного парка, только что шумного и тесного от гуляющих, а теперь пугающего и манящего живыми тенями, странными шорохами, возгласами, то ли скрипами, то ли всхлипами, то ли постанываниями, то ли пением приглушенным, во дворах, садах и палисадниках, за тонкими стенами многоквартирных домов, в приречных зарослях и степных лесопосадках, на многочисленных “пляжах” — песках и песочках береговых, в травах и кустах, — везде и всюду мы постоянно наталкивались на ту тайную, скрытую жизнь, или замечали, находили косвенные признаки ее... А классы школы, соученицы, танцы, катки, уроки физкультуры... Нигде было не спрятаться, никуда было не уйти от этой “отравы” сладкой, “заразы” смертельной, влюбленностей изнурительных, любовей тайных, безответных или явных, взаимных, со свиданиями и записочками, “нечаянными” встречами и бесконечным “притягиванием” друг к другу, желанием быть рядом, вместе, как можно дольше, как можно ближе...

Первую половую близость или связь и первое свое разрешение в качестве мужчины я испытал один среди бела дня под жарким солнышком на горячем песке, в виду купающихся женщин и девочек, в виду ослепительно сверкающей, переливающейся, как бы плавящейся воды, пышных, душных и вялых, недвижимых от зноя, блеклых, бессильно поникших кустов ивняка, в которых было темно и пахло терпко, в которые время от времени кто-нибудь ходил, иногда надолго скрывался, парой... Все произошло само собой, совершенно невольно, легко и сладостно, неожиданно и небывало, будто сошло на меня нечто вроде благодати вместе с солнышком с небес, будто вся земля и воздух, весь свет и простор обняли меня в любовном порыве, и я ответил им тем же, не зная еще, что это такое... Можно сказать, с самой природой я стал мужчиной, потерял девственность, не

потеряв ее, она была моей первой женщиной или девушкой. И это было таким благотворным потрясением, таким чудесным открытием для моего тела и для моей души, это было так воистину прекрасно и чисто, свято, это было как бы еще до грехопадения... Не знаю всего наверное или не могу, не умею выразить словами сейчас, но первая моя мужская любовь, соитие совершилось с самой природой, прямо со всей сразу, и потом за всю жизнь ни с одной девушкой или женщиной я не испытывал ничего подобного по нежности, чистоте и полноте, страсти, тихого пропада́ния-вознесения, хотя то, что я испытывал как всякий мужчина с женщинами, тоже невозможно определить разумом и выразить словами точно, полно и до конца.

Да, горяча была моя земля, родина, горяча она и сейчас для кого-то, горяча, любвеобильна и нежна, ласкова, кротка и терпелива, самозабвенна бесконечно, самоотверженна в своей любви к своим чадам-мужам до готовности умереть, погибнуть, исчезнуть, сойти на нет, если чадам и мужам ее так будет угодно, если по неразумению ли, душевной ли черствости они, сами того не замечая, своими словами и делами, своими поступками ли, бездействием будут губить ее, оскорблять, убивать, мучая и унижая безгласную и безропотную, безответную... Если они и себя захотят извести, сжить с бела света пьянством ли, другой какой отравой, злобой ли, слабостью, унынием ли, бездеятельностью, буйством ли, безумием самоубийственными... Бесконечно любвеобильна она и безропотна, терпелива, самозабвенна, а так же жены и любовницы вечно бывают жертвами небрежения, грубости, мучительства и себялюбия своих мужей. И такие мужья рано или поздно покидают, оставляют их в поисках более красивых и гордых, нравных, “равных”, чтобы любить, мучаясь и страдая, унижаясь и претерпевая самим, обжигаясь, надрываясь, сверх сил. Этого требует самоубийственная сила любви и мужества, а природной, родной, сестринской, материнской и дочерней, светлой и тихой, благодатной любви она не ценит по глупости и близорукости, по гордыне и высокомерию, по спеси себялюбивой своей...

Так и мы, аткарчане, самые смелые и сильные из нас, самые любознательные и активные, энергичные, и самые “зеленые”, горячие и нетерпеливые “телята”, самые самолюбивые и одаренные, или самоуверенные покидали при первой возможности свой тихий, знойно-морозный, ветрено-пыльный, сонный, молчаливый и верный, горький Аткарск. А что нам было делать? Одно педучилище, “ремеслухи”, один тогда кинотеатр, Дом культуры, клуб железнодорожников, парк, стадион — и все. Железнодорожный вокзал, узловая станция, вагоноремонтное и локомотивное депо, мельница, элеватор, маслозавод, колхозы и совхозы, тюрьма, ставшая после Сталина психбольницей, да много, правда, школ — но мы ведь уж поокончили их...

И разлетались по всему Союзу, от Саратова ближайшего до Москвы, от Прибалтики до Камчатки, и на север и на юг, рожденные и возвращенные, взлелеянные и закаленные, до гроба возлюбленные и заранее горько, навсегда потерянные природой-родиной юноши и молодые мужчины, девушки — много меньше. И в знаменитые вузы поступали, и высоко взлетали, и прославлялись, и богато и красиво жили, крупно работали на страну и народ, заносились в почетные граждане Аткарска, провожались в последний путь с почестями и увековечивались в памяти земляков... Но и пропадали многие безвестно и бесславно, возвращались побито и спивались и мерли раньше времени... Это кто оказывался послабее или попадал в обстоятельства покруче, потяжелее... Не буду перечислять, где и в качестве кого подвизались и подвизаются мои земляки, но не просто так, недаром же все это. Особую все же породу дает стране и миру моя горячая земля, особо сильную и крепкую, и активную. Характерны как примеры поэт Анатолий Пердреев и певец Леонид Сметанников — это ближайшие по времени, из тех, что на виду и на слуху. Они и по стати, по всему облику саратовские: высокие, стройные, с особым изяществом угловатым в движениях, с особенной открытостью лица и взгляда, светлостью их несколько даже женственной, но светлость взгляда может быть и стальной, ледяной...

Неуловима почти особинка саратовских, народному, земляцкому глазу всюду узнаваема — по осанке, по походке, по повороту головы, по широте и удали, угадываемых во всем, по доброте и простоте, не исключаящим и мрачную, дикую злобу и ненависть к подлецу ли иуде, хаму ли, насильнику... Светом и простором

отмеченные, светлы и свободны, раздольны и плавны по натуре мои земляки, и высоки, русоволосы, голубоглазы преимущественно. Конечно, подпортили, потратили нас, как и весь народ, коллективизация, сталинщина, войны, вожди, всякий на свой лад, но всегда в ущерб, в урон, в изъяз — по науке хитромудрой и скрытной тайных советников своих, ведущих корень от ленинской “гвардии”, от “комиссаров в пыльных шлемах” и во всем кожаном, от троцких-урицких, дзержинских-лацисов, свердловых-кагановичей, зловещих и злосчастных “детей Арбата”, социалистов-атеистов-интернационалистов, ставших теперь “демократами” и опять “христианами” и “буржуями”.

Да, потратили, порасходовали народу... Но до чего же могуча и плодоносна, урожайна наша природа, что все же до сего дня не извели под корень, не уничтожили бесследно! Живуч, двужилен и цепок наш род. Вот даже я, подпорченный еще в материнской утробе по нежеланию матери рожать меня в виду расходившейся и не сулящей ничего хорошего — в октябре 1941 года — войны. Родился наперекор всем средствам и способам, чуть не умер сразу, спасли врачи отцовской кровью. Всеми болезнями переболел в детстве, не говоря уж о голоде и холоде, потом бегун-прыгун был, волейболист-баскетболист, ходок-ездок на велосипеде, рыбак и бродяга заядлый, закаливавшийся круглый год во всяких водоемах и обливанием на всяком морозе ледяной водой (чем крепче мороз, тем легче обливаться, самая ледяная вода на морозе кажется чуть ли не теплой), не пивший — не кутивший до 19 лет, а с тридцати и чуть ли не до пятидесяти работавший кочегаром, грузчиком в аэропорту Внуково, спивавшийся и чуть совсем не спившийся, побывавший и в вытрезвителях, и в камерах “суточников”, и в дурдоме, и под поездом, едва ушедший от тюрьмы и белой горячки, от смерти в том или ином виде и — оставшийся-таки живой, на удивление знакомым и родным, знавшим мою “одиссею”, бросивший пить и курить, “завязавший” наглухо, ставший сносным мужем и отцом, и даже дедушкой, в конце концов, и в работе своей достигший определенных успехов и признания, — чему и кому я обязан этим своим “чудом”, почти воскрешением из мертвых, преодолением гибельной, неотвратимой судьбы, переломом ее в обратную сторону, из качения под горку, вниз — на подъем, вверх, из пропасти — горé? Богу, конечно, кому же еще, ни в коем случае не себе, своему уму, воле, характеру ли — ведь все понимал я, видел, куда лечу, прикладывал невероятные усилия и не мог остановиться долгие годы и вдруг... Бог остановил, конечно, милосердный и всемогущий; видно, неверующий внешне, по образованию и воспитанию советский, я был-таки глубоко, внутренне, о т п р и р о д ы — верующим, и Бог увидел, услышал мои немые молитвы, смилостивился и простил мне все грехи и заблуждения мои, проступки и злодеяния, и спас меня. Слава Богу! Благодарен я ему за это коленопреклоненно, по гроб жизни. Верую я теперь глубоко и сокровенно, горячо и страстно, целомудренно и кротко, не обнаруживая по возможности ничем и ни перед кем своей веры внешне... (Прости, Господи, мне грех писательства!) Но вера-то, спасшая меня перед Богом — она откуда, от чего, с каких пор? Если отец и мать коммунисты были, на Пасху яйца красили таясь, а я, несмышлениш, хулиганя, в икону бабушки Валерки Полякова плевал? Да все оттуда — от горячей земли моей, от родины-природы, с рождения моего там, с детства и отрочества светлых и чистых, в объятиях матери-природы, отчего края, мира Божьего...

Да и если бы я не был пропечен солнцем и заморожен морозом, до мозга костей, просквожен ветрами и светом, прожарен на песочке и кострищах, присыпанных им, вымочен до белого мяса в быстрой хрустальной воде, вылежан на каменной от зноя и мороза земле — только что не пророс полынью ли, ивняком, иссечен ливнями и метелями, ослеплен и оглушен громами и молниями, перекручен в сплошные жилы бесконечными верстами ходьбы и бега, езды велосипедной ли, лыжной, утишен глубокой нерушимой тишиной, настроен вечной песней ветра, озарен огромными звездными ночами и пронзительными, сказочно пылающими и сверкающими рассветами, выдержан тонкой, кропотливой и терпеливой рыбацкой работой, — если бы не моя природа, мой великий учитель и пастырь, молчаливый духовник и беспощадный тренер, да разве бы я вынес, выдержал, пережил такие тяжелые и вредные работы, как кочегар, хлораторщик, грузчик в аэропорту, разве бы не разрушилась моя плоть от не одной “цистерны” алкоголя и многих-всяких его химических заменителей, покупавшихся в хозяйственных

магазинах и в аптеках, не угас бы мой разум, не остановилось мое сердце одним из бесконечных приступов, не залился бы кровью мой мозг, жаркой волной поднимавшейся в затылок после дня ворочания тяжестей и опрокидывания “стаканов”, судорожной, лихорадочно потной, бредовой ночи и утренних кофейника-двух крепчайшего кофе или пол-литра чифира... Природа-мать с детства и отрочества моего позаботилась, приготовила меня ко всем мыслимым и немыслимым испытаниям, тяготам и болезням, грязям и отравам — дала мне силы и разум, противоядие и стойкость перед разлитой всюду и сторожащей на каждом шагу смерти-гибели.

Я видел невинным еще и не вполне видящим отроческим и юношеским взором своим, более душевным, нежели взор глаз, красоту и благолепие, гармонию божественную мира, природы, земли и неба, я слышал, чувствовал всем своим существом причастность свою, равенство свою с этой красотой и космической гармонией, я знал бессознательно Благодать Божию — через поля и леса, реки и родники, стужу и зной, ливни и грозы, иней и росы, звезды и солнце, песок и чернозем, птиц и рыб, ветер и свет, пространства бескрайние и через живущих, дышащих в них чудесных, милых и неодолимо притягательных существ — противоположных мне по какому-то непостижимому недоразумению, недоступных мне и принадлежащих мне сполна и по праву, несказанно очаровательных, погибельно таинственных и вдруг — о ужас! чудо! гадость и сладость... вершина счастья и пустота пропасти, падения... — одна из них, как и все в будущем, моя со мной, во мне, и я в ней, мы одно целое, и это все так чудесно просто и обидно даром, ни за что, из-за какого-то пустяка, пустого слова и нечаянного бесстыдного движения...

Можно ли коренным образом насильно изменить или уничтожить народ, нацию, ее плоть и душу, характер и дух, руководствуясь самыми новейшими и подробнейшими знаниями, самыми математическими выверенными теориями, пользуясь самыми совершенными и мощными экономическими, политическими, и военными средствами? Хотя бы для всего остального мира это было бы насущнейшей жизненной необходимостью. Цивилизация тяготеет к унификации, нивелированию, обезличиванию, стандартизации — так ей удобнее и легче производить и потреблять, разделять и властвовать, управлять. Но культура своенравна, прихотлива, как природа, и не терпит машинного, логически-математического вмешательства, вообще никакого насилия, даже малейшего. Многообразие и единство, цельность культуры и природы, как живой организм, нуждается в сохранности и неизменности каждой их части и изменяется лишь постепенно, всей своей целостностью. Уничтожение или резкое изменение одной части (при войне или революции) тотчас же нарушает равновесие и очень болезненно и опасно для всего организма, для всего мира, для всего человечества.

Всякий человек в горе ли, беде, в одиночестве ли, болезни вспоминает все лучшее в своей жизни, именно детство, родину, родных и любимых, и черпает в этом духовные и физические силы для преодоления препон и напастей и для дальнейшей жизни. Так и народ, нация обращается к своей истории, к славным, лучшим ее страницам, к своим предкам — героям и подвижникам, страдальцам и мученикам за народ и страну, за правду и свободу, обращается к своей природе, к земле.

Даже воспитанные в забвении, во лжи о прошлом, в подмене истории лже-историей, в лишении целых временных и событийных, духовных пластов — как в советское время, по советской “истории”, “интернациональной” и атеистической, — люди, поколения и народ в целом рано или поздно возвращаются к самим себе, к памяти, сознанию и чувству в с е й временной и пространственной, родовой протяженности своего бытия на своей земле. Ничто из жизни не исчезает бесследно, навсегда. Все можно реконструировать в разуме, в душе, восстановить по малейшим, незначительным, косвенным признакам, по останкам, по крохам. Генетическая, земная, природно-родинная память неубиваема, нестираема.

По противоположности, человек ли, нация “перекати-поле”, не имеющая корней в земле, в этой природе, на этом месте, представляют всегда прямую или потенциальную угрозу для органической самобытной местной, сегодняшней живой жизни, ибо слишком от многого слишком свободны — от жизненно необходимого именно здесь, сейчас, коренному человеку ли народу. А значит, вольно или

невольно нарушают или могут нарушить жизненно важные духовные и физические связи с землей, природой, родиной — в едином организме “народ-земля”, связи, которых сами лишены и в которых сами не нуждаются и которым цены не знают, не могут знать.

И нынешние авантюристы и безумцы политические, государственные, вернее, антигосударственные, как и антинародные, антинациональные, античеловеческие, эти безродные кабинетные, книжные черви, давно, не в первом поколении, утратившие связь с землей и вместе с этой связью утратившие высший дух и разум, смысл жизни и созидательный характер деятельности, превратившиеся в слепых, бездушных роботов на службе собственным призрачным, ложным ценностям — власти, богатству и славе (и именно не за счет собственного труда и таланта, терпения и служения, подвига и озарения, а за счет других людей, их жизней и трудов, страданий и преодолений, за счет жестокой корыстной власти над этими другими людьми) — эти нынешние международные ублюдки и холуи, погубители и смертельные враги своих народов, своей страны — именно в силу ложных понятий, целей и средств, именно в силу отрыва, выпадения из процесса естественной человеческой жизни, из природы — они, безумцы и преступники, растлители и насильники духа и плоти народа-родины, — неужели им не страшно, не жутко иногда, подсознательно хотя бы, или животнo, кожно, н а ч т o они поднимают руку, ч т o они хотят разрушить, уничтожить, изменить до неузнаваемости и переделать, “перестроить” в нечто противоположное, безликое?!

Вот все человеческое, планетарное злодейство, в “цивилизованной упаковке”, небольшой, в сущности, группы людей, или уже и н е л ю д е й , своим существованием и деятельностью доказывающих одно-единственное: оторвавшись от земли, природы, родины, от своего народа, замкнувшись в особый клан, касту, человеческие существа утрачивают человеческие признаки разумности, духовности справедливости и доброты, красоты и гармонии, встают на путь механистического, количественного, бездушного паразитирования на земле, на природе, на народах, на путь борьбы с ними ради своих корыстных, ложных, призрачных целей и идей, состоящих в паразитировании именно посредством власти во что бы то ни стало, бессмысленного накопления материальных ценностей, комфорта, престижа и опять и опять власти и власти — бессмысленного потому, что это “опухолевое”, “раковое” накопление есть болезнь и последующая смерть в с е г o организма, питающего и паразитов, а значит, и смерть самих паразитов, но, увы, ценой гибели всего человечества, всего разумного и прекрасного природного, тварного мира.

Однако такое все-таки, наверное, невозможно, раз вся история человечества на Земле являет собой пример именно этого, такого пути самоубийства, самоуничтожения (по какому и личности в определенных условиях идут), но природные, народные, здоровые силы Земли и ее живых существ до сих пор, несмотря на ужасные, грандиозные, леденящие кровь катастрофы, предательства и массовые, организованные убийства и разрушения, — до сих пор Земля и человечество живы и стоят, и еще борются за себя.

Да, надо быть безумцем и злодеем, выродком рода человеческого, чтобы пытаться оторвать меня от моей г о р я ч е й з е м л и, заставить меня забыть ее, предать ее, изменить ей в рабской скотской жизни, поддерживающейся, тониизирующейся полухимическими суррогатами пищи и питья, порнографическими, садомазохистскими, разрушающими сознание и психику, самое личность “искусствами” массового поражения, развращения и обезличивания, оскотинивания. Надо быть моим смертельным врагом, врагом всякого разумного, не лишенного души и связи со своим народом-родиной человека, чтобы пытаться превратить меня и его в слепое, тупое, послушное, лишенное самосознания и достоинства, человеческого облика, в бесчувственное и безумное, жалкое подобие человека — в орудие, производящее блага и комфорт, средства и материалы для извращенных наслаждений и изживания себя и своей жизни в бессмысленном служении и поклонении антиценностям цивилизации потребления. Цивилизации, которая подобно раковой опухоли растет и метастазирует на Земле, пожирая ее и пространство около нее, пожирая Человека. Это — цивилизация пожирания. Пожирания всего и всех, а значит, и самого себя, в конце концов.

Я, человек своей земли, своей природы-родины, гражданин своей страны,

России, гражданин и насельник планеты Земля, встаю на борьбу не на живот, а на смерть с выродками, уничтожающими меня и мою горячую землю, нас вместе как единый живой организм. Я готов умереть за свою землю, за свой народ, за своих детей и внуков. Я готов убить их смертельных, безумных и бездушных врагов. Я готов на все. И я должен ради Земли и всего человечества, ради самого их существования, ради России и русского и других российских народов, ради предков своих, покоя их душ, ради семьи своей, жены и детей, внуков я должен, я не могу не победить!

И да поможет мне в этой смертельной схватке моя горячая земля, ее чернозем жирный и песок сахарный, ее леса и поля, звери, птицы и рыбы, ее беспредельные простор, свет и ветер, ее дожди и росы, снега и грозы, ночи и зори, дни и времена года, реки и родники, вся подземная вода и занебесные светила, все земные и небесные силы и любовь, и разум, разлитые и пронизавшие всюду все и вся, и всех, все младенцы и девы, жены, матери и дочери, сестры и братья, сыновья и мужи — все возлюбленные и любимые, супруги и роженицы, пахари и строители, кузнецы и воины, мертвые и живые — против раковой опухоли, клубка червей и змей, клана, касты болтунов и писак, лицедеев и интриганов, политиканов, ублюдков и холуев, служителей Мамоны и Сатаны, рвущихся к власти над миром и человечеством, чтобы сожрать их и самим подавиться, издохнуть в пустыне на пепелище Земли, на костях человечества, всей планеты и моей малой, единственной и неповторимой, прекрасной и доброй, любимой моей и возлюбленной, матери моей и няньки, кормилицы и воспитательницы — моей горячей земли аткарской. Что на Саратовшине, близ матушки-Волги, в самом сердце России и материка Евразия, в самом сердечном моем центре мира и всей Вселенной. Аминь.

Москва — Наро-Фоминск.

МАРИНА ГАХ



БЫЛ ДОЛГИЙ ДЕНЬ

* * *

Церковь громили, молния дуб расщепила.
Колокола и дубовый обломок в крапиве.
В землю ушла благодати священная сила,
Ангельский лик проступил на древесном разрыве.

Словно икона в раме коры огрубелой —
книга в руках, тонкий нимб над главою склоненной.
Годы изъели церковки белое тело,
дуб напился мощью земной, чудотворной.

Вновь человечество сводит со временем счеты,
церковь в лесах, приезжает на "Волге" священник.
Только вот дуб доставляет немало заботы,
так духовенству всегда не угоден отшельник.

Служба идет, только нет благодати на лицах,
дубом там топят, память уносится ветром.
Бедный приход... И немногие ходят молиться,
да и молитвы все больше о суетном, смертном.

ГАХ Марина Владимировна родилась в Ялте. Окончила Ленинградский инженерно-строительный институт, живет и работает в подмосковном городе Калининграде, учится в Литературном институте. Впервые ее стихотворения были опубликованы в № 3 "Нашего современника" за прошлый год.

03EPO

**Отразилась в озере беда —
стала смутно-серою вода.
И в воде погасшая звезда
не зажглась на небе никогда.**

Отразилась церковь, как в окне,
дрожь прошла по стынувшей волне,
белый камень заиграл на дне,
звон раздался в темной глубине.

**Озеро то — Вечности окно,
все, что было в нем отражено,
тяжким камнем падает на дно
и навеки там погребено.**

**Той воды чуть горьковатый вкус
с памяти снимает тяжкий груз.
Чтоб забыть свою лихую грусть,
загляделась в глубь святая Русь.**

**Накренился тяжко небосвод,
оборвался ворона полет,
закружился лет водоворот,
опустилась Русь на донный лед.**

**Смотрит в Божий мир из-под воды,
видит в небе Ангелов следы,
видит свет невидимой звезды,
постигает высь из темноты.**

**Пролетел над миром ураган,
превратил все сущее в туман,
лишь России выход светлый дан —
озеро есть море-океан.**

**Повержен змей, но кровью ядовитой
святая Русь затоплена по плечи.
Спор не закончен праведною битвой
и осушить хмельную брагу нечем.**

**Живую плоть терзает яд горючий,
все тело в язвах, очи боль застлала.
А горизонт опять закрыли тучи,
мелькают в них раздвоенные жала.**

Там легионы мертвому на смену,
здесь острый меч и грозная молитва,
сдувает ветер огненную пену,
готовится решительная битва.

**О мать-земля, избавь от вражьей
крови,
омой все раны влагою сладимой,
чтоб от твоей живительной любви
восстала Русь вовек непобедимой.**

**О Дева Солнце, золотой кольчугой
одень ее измученное тело,
стань ей в сраженье боевой подругой,
чтобы в лучах грядущее прозрела:**

гудит Земля, и мечет стрелы Солнце,
светлеет даль, росой омыты травы,
и небо, словно стяг победный, бьется,
и Русь стоит в горящем нимбе славы.

**Был долгий день в безлюдии полей,
среди перелесков, тающих, как свечи,
под небом, ставшим к вечеру светлей,
и наконец, был золотистый вечер.**

**Невзрачный день
вдруг превратился в храм,
с мерцающим и сдержанным сияньем,
и тихий вздох пронесся по полям,
и грусть потерь сменилась ожиданьем.**

**Творилась служба —
стройный хор звучал,
плыл аромат расплавленного воска,
и хвойный лес так набожно молчал,
и торопливо кланялась березка.**

Я возвратилась поздно. Старый дом нахотлился, как птица, над обрывом, и было тихо, и темно кругом — я в горницу вбежала торопливо.

Мерцали тускло огоньки лампад,
и из-за них вдруг пристально
и строго,
как в душу леса яростный закат,
взглянули очи Спаса Яро-око.

НИЩЕНКА

Я — нищенка в лохмотьях
и с клюкой,
я стыд с лица дорожной грязью смыла.
Мне город — дом, а я в нем —
домовой,
нечистая, некормленная сила.

**На фоне вашей праздной чистоты
я грубый слепок злобы и уродства.
Не снизойти вам с вашей высоты
до темной бездны моего сиротства.**

**Я вам нужна, как уксус для приправ
и как примочка на больную совесть.
Вы царство Божье купите, подав,
и будете грешить не беспокоясь.**

Ну а когда вы спите, я царю!
Я вездесуща, как и все кликуши,
я в ваши окна чистые плюю
и проклиная, люди, ваши души!

Так откупайтесь щедро от меня,
от воплощенной нищеты бесстыдной,
чтоб, как дитя, монетками звеня,
я вновь предстала миру безобидной.

СТАРИК

Серый день покачался и сник,
беззакатное небо темнеет.
На пороге избушки старик
уходящее время жалеет.

Словно тучи закрыли глаза,
быстрой молнией память сверкает.
Люди думают: где-то гроза,
ну а это старик вспоминает.

Воду трогает зябкая дрожь,
лес сливается с сумрачной тенью,
на поля проливается дождь —
это учится старец смирению.

Свежий запах намокшей земли
так настойчив, как горечь остуды.
Годы в травы с водою ушли,
обнажились булыжников груды.

Тучи рвет резкий ворона крик,
собираются стаями птицы.
Это смотрит в былое старик,
и на небе играют зарницы.



От редакции. В Москве 1—4 февраля этого года прошло Первое Всероссийское совещание молодых литераторов, на котором Марина Гах была принята в члены Союза писателей Российской Федерации. Поздравляем нашего автора с высокой оценкой ее творчества, а читателям сообщаем, что редакция журнала намерена представить поэзию некоторых участников совещания в одном из следующих номеров.

ПРОЗА

ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

РАСКОЛ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Крестный путь

ГЛАВА ВТОРАЯ

На краю кладбища церкви Благовещения юродивый Феодор Мезенец занял чужую заброшенную, сиротливо провалившуюся ямку, заглубил ее, обложил дерном и стал жить. Останки почерневших измоглых костей он зарыл тут же, в переднем углу схорона, нарыл поверх крохотный горбышек и на него, присыпав свежим речным песком, поставил путевую иконку Пантелеймона целителя, возжег пред нею свечной огарыш. Вход в нору завесил рогозным кулем, чтобы не западал осенний ветер с дождем. Обычно же край запона был всегда отогнут. Дальше начинался речной откос, густо обросший шипишником, и утрами эта живая дикая завеса была алой от наспевших ягод и пахла елеем и нардом. Мало находилось охотников пролезать к юроду сквозь шипы, и если какая-то богомольщица навещала Феодора по пути к могилке, то с молитвою призывала монаха появиться из ямки и благословить ее. В кроткие осенние утра под серебристый перезвон частых устюжских колоколов в пещерице жилось особенно покойно. Сюда словно бы ангелы слетались опочнуть после трудов праведных, и мотыльковый шелест их крыл и благовонное бесплотное дыхание были для кающейся души Феодора слаже врачующего бальзама. Музыка и дух неба, оказывается, и землю всю пронизывали сквозь, не позабывая верных молитвенников и по их смерти. И так предположил блаженный, что ежели и бывает на миру рай, то он вот здесь, под боком у усопших. Они кротко полеживали себе на погосте, никого не потревожа, желанно растворяясь в земной тверди, и ночами Феодору было хорошо слышно, как потрескивают, ссыхаясь, их благоверные истончившиеся косточки, лишенные похотливых мясов. Феодор не уставал бодрствовать на клоче сопревшей соломы, и под игривый перепляс медного петья, уже не чуя своего тела, заглубившись в самые недра чрева своего, он мысленно бесконечно тянул Иисусову молитву... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного... И коль скоро в молитве сердце согреется и не захочет слов, нужно прекращать чтение и молиться сердцем. Как учили великие святые — это и есть начало молитвы. Когда Господь пошлет вам такую молитву, дорожите ею. Одна женщина всю жизнь постоянно, не отвлекаясь, читала про себя "Господи, помилуй". И с этой молитвой умерла. Куда же она отправилась после этого? — спросили преподобного. "Без сомнения, к Господу".

Много житий прочитал юродивый еще в послушниках, будучи в Сийском монастыре; и в Чюдове в Москве почаству сидел над книгами, когда возили его с Двины на епитимию за чаровничество и ереси. Но только нынче, воистину служа

Господу по обету, данному в отрочестве, юрод понял, что любой великий пример далеко отстоит от собственного подвига. Всякий страстотерпец сотворял пустыньку по своей натуре, всяк торил свой страннический путь и искал Бога по-своему, стараясь вовремя угодить на ту росстань к придорожной часовенке, где любит по обыкновению отдыхать Христос, посещая землю. Никита Столпник вечность целую сидел на столпе, тем самым сократив лестницу к раю; блаженный Киприан лежал на одре, не вставая, уже при жизни став нетленным; Дионисий ископал себе пещерицу на берегу Волги и жил там отшельником; Никандр стяжал себе славу безмолвием; а Марк преподобный пещерник был гробокопателем, хоронил братию. Но позвав Феодора в юроды, что-то и ему заповедал Христос? какого-то своего особого напитку поднес братину, чтобы испивать ее до края жизни. А он столько лет коротает на свете и никак не раскушал небесного дара...

И вот так однажды лежал Феодор в земляной норе, уставясь мрелым бессонным взглядом в алую колышащую завесу шипишника у лаза, и вдруг забылся в тоске, и предстал ему чудный сон. Будто несет его, безвольного, по северной реке, и он едва справляется с телом, часто хлебая густую няшистую воду, отдающую прахом и забившую гортань. И воскликнул Феодор, уже прощаясь с жизнью: "Господи, помози мне!" И тут его подтянуло к глинистой круче, ко крутому кряжу, с которого пригнетился к воде развесистый куст ивняка; из последней силы уцепился блаженный за сук и выволок тело из быстри. И увидел Феодор, что под кустом светится крохотная досточка, иконка Пантелеймона целителя, вроде бы та самая, что у него в пещерице. И вдруг сказала икона, как бы отверзлись в ней невидимые уста: "Ступай, Феодор, и врачуй! Изцеляй души, покрытые струпьями! Других спасешь, и сам спасен будешь!"

И с этими словами блаженный проснулся. И все прежние скитания, и томление в мезенской скрытне, и нападки детей сатанайловых, и распри с отцом духовным наполнились смыслом. Заплакал Феодор, протиснулся на коленях в передний угол, припал губами к образу святого Пантелеймона и почуял изсохлыми ржавыми губами медовый вкус нектара, словно бы напоил юный лекарь из чудной лжицы целебного настою. И в истомленную грудь, растворив ее, вместил Господь живой уголь. И разъялся верх пещерицы, крытый берестом и дерном, и сверкающий небесный луч голубым мечом разрубил скрытню наполю, и в дальнем конце светящегося столба, упирающегося в небесные тверди, разглядел юродивый сидящих на стулицах трех светлообразных мужей. Он их сразу признал, и с очей отпала темная пелена. И открылась Феодору истина о Святой Троице, кою всяко испроказили священцы, толкуя на латинский лад; де, Господь Бог един и трое в одном. Как это они друг в дружку влезают, будто векши в гайно, и тамо живут? И где тогда Бог Отец вмещает Духа Святаго и Сына своего Исуса? в утробе ли? в груди ли? в коленках ли? — так кликуши таскают своих икотиков — чертенят; иль в главизну они влезают? Эко чудо клепят бездельники, наедясь до дурна свинины с капустою и напиясь вина. Нет и нет... Своими очами нынче зрел: всяк сам по себе сидит на стулицах, как детки подле отца, и батьку своего Саваофа слушают и почитают, как родителя и доброго наставника. И никто ни в кого не лезет. Таковое и представить смешно.

И юродивый засмеялся скрипуче, и могила проглотила смех.

Давно ли причитывал монах, ограждал себя молитвою от искуса: "Я не дам своим очам от себя далече зрети. Я не дам своим ушам от себя далече слышать". Потому и от Елифания мягкосердного сбег наутек. А Бог-от по-своему распорядился: де, Феодор, прежде ты все утекал от врагов и наустителей, лишь о своей душе озабочась, а теперь пусть сами злоимцы пустятся прочь, опалившись твоего пламени. Ибо зрак неисповедимый открылся во вздошке, вон как палит он, пуще солнца; и все сокровенное, скрытое за семью печатями, за семью запорами за тыщи поприщ отсюдова, вдруг отомкнулось и стало явным, как в зеркальце.

"Ах ты, миленькой мой, спосыланный! Вовремя явился, званный, как ангел по-за смертной душою. А я уж по тебе соскучился, родимый братец Пантелеймоша! — Юрод прослезился, облобызал образок и засунул в лохмотья, в тайную зепь, истомленную кожею слыша ровное тепло от святого. — Источатся врази, испашут, как уголье, но не разлучат нас с тобою".

Волоча вериги по волглой, испрошитой березовыми кореньями земле, Феодор вылез из могильной ямки, прободнул головою колючую завесу шипишника, под-

хватил губами волосатую ягоду и укусил ее. Пока выбирался из пещеры, десятки шипов впились в юрода, раскровянив лицо и руки, но от укулов терния было ему сладко... Христов венец краше царской митры в смарагдах и яхонтах...

Феодор был кладбищенским затворником; не вем отчего в страхе бежав с Видань-острова, словно бы Епифаний травил его собаками, юрод охолонул лишь на краю Устюга, на крутояре; внизу струил Юг, и дальше дорога обсекалась. И при церкви на погосте сыскал Феодор приюту, как бы кто привел его сюда за руку. Он прошелся меж могил, глазу палась сиротская ямка, затекающая землею; юрод спустился в нее и полюбил, как родной дом. Ему почудилось вдруг, что от жальника, от студеной могилки самая короткая тропа к Богу. Отец зазирает усопших, он постоянно стоит при вратах, не дает покойничкам беспутничать и понапрасну блудить ночами, пугать живых мирян. Господь перебирает косточки, и особо святые, чудного жития, укладывает ладом, чтобы не поиструхли они, не порастерялись ненароком в ожидании Судного дня.

Феодор редко выбирался в Устюг кусошничать и от всякой церкви бежал прочь, как от чумы, злобно бранясь; за это причетники били его палками. И нынче он скоро пересек церковный двор, досадуя, что снова понабрался грехов возле нечестивых, но прямо ворот вдруг остановился, будто окрикнули его. Ему вспомнился сон. Только что Господь подал вещий знак, а он, Феодор, уже и позабыл его и нарушил... "Ступай, Феодор, и врачуй! Изцеляй души, покрытые струпьями!" Феодор вернулся к церкви, трижды плюнул под ноги, но вдруг поднялся на паперть. Он не замечал, как часто кланяются ему прихожане, суют в горсть кто грошик, иной яблоко, яйцо иль колач. Феодор небрежно кидал милостыньку в залубеневший пестерь (единственное напоминание о родительском доме), нимало не озабочась, угодило ли подавание в кошелку.

Дверь в церковь была распахнута, внутри шла служба. Феодор с отвращением, пересиливая себя, посмогнул в притвор. Божий Дом был опятнан демонами, там сатанята терзали грешные души, вили из них веревки. Дьякон кадил, раскидывая мохнатые клубочки дыма, в сизом тумане стояли редкие прихожане, и всяк молился своей иконе, разбредшись по церкви. И никто не слушал старого священцу, тонко гнусавившего канон... Вот она, благая весть о конце мира! Боятся добросердные вертепу-то сего и бегут прочь! — с радостью подумал Феодор. С краю солеи у царских врат сутулился на низкой стулке местный схимонах и беспрестанно кланялся... Вот уж о в аду-то скоро тебя припрут! — мстительно пообещал юрод никонианину. Он отчего-то задержал взгляд на скуластой раскозой бабе в белом плату, завязанном в роспуск. Ее вроде бы кто подтыкивал в плечо, баба озабоченно зыркала взглядом, не раз замедлив глаза на дверном проеме. Бабу что-то пригнетало, она нетерпеливо переступала чоботками, будто застоявшаяся кобылица в деннике... Ее-то уж верно оседлали черти. Сейчас ржать начнет! — пожалел молешицу Феодор. И тут он вроде бы проснулся, очистился слух его, и юрод услышал, как захлеб наяривают все устюжские колокола; звон, казалось, не опускаясь на землю, плавал в подголубевшем стынущем небе... Не антихриста ли чтут в недельный день? — лишь подумал юрод. И за спиной сказали: "Патриарха с часу на час ждут. Отца родимого". И тут все связалось в голове юрода: и недавнее знамение, и эта баба, которую черти неволят, и приезд главного шиша антихристового...

Не дождавшись конца службы, скуластая баба воровато выскочила из церкви. "Что, прижгло?! Иль бесы напустились? — Юрод больно уцепил прихожанку за плечо. Глаза его на прозрачном лице загорелись голубым пламенем. Баба онемела. Губа отвисла с испуга. — А, скис-ла! — завопил юродивый. — Верть-верть! Как сорока на коле! Все видел. Прижгло, иль прищучило, прелюбодеица? Ишь, белилами умазюкалась хуже басурманки. Как трясогузка, хвостом-то! Иль знак спослан, ветром наслан от главного шиша? Де, еду, привечай красным медом. То на одной ноге, то на другой! Скок-поскок! Это дьявол тебе орешки подбрасывал. В вертеп прибрела, вот и прискакивай, прихиливай задом-то, верти ладом. Это в рай вход узок, а в ад-от топотком да прискочкой! Норовитесь, но-ро-витесь, милень-ки-е!.. Ой, горько возрыдаю по вас, как погонят в жупел и серу, станут кожу сдирать коготами да развешивать на вешалах... Думаете, минется, обойдет стороною? Э... А ты, дурка, посмотри на душу свою. Черна, будто уголь, и вся в дырках. Ветер свищет!"

Тут народ засобиралися на паперти, притек, заслышав блаженного. Слушал и страшился погибели своей. Юрод распалился, звенели цепи на тщедушной груди, ноги в струпьях и язвах стучат по доскам, словно копыта. От такого страдальца каждое слово прикипает на сердце, яко воск.

...Оказывается, как сладко учить, отвращать от погибели, очищать от зло-смрадия. Даже колокола на миг попритухли, сдались, поникли, поперхнулись, порастеряли зазывный праздничный норов.

“Я все вижу, бедненькие! От меня не укрыться! Я все чую... Кабыть рассечь вас мечом праведным, то ужаснетесь! Червие в ваших душах кипит. Бежите прочь поганых церквей никонианских, вместилища скверны. Тут бесы ежедень кропят вас нечистой еретической водою, а вы помышляете за святую. Окурят вас тухлыми вонями прокаженных телес, а вы почитаете за елей. Бедные мои, бедные! Не чувствуете в себе зверей таковых, яко снедают вас сласти жизни временной... Разве не слышите, что звенят колокольцы? Едет к вам черт рогатый, именуемый Никоном. И везде у него сторожи да вахты наставлены. Пришел антихрист ко вратам двора, и народилась полная поднебесная выблядков. И по Суне-реке заселился шпынь чертячий под личиной старца Александра и всех поманывает сластями жизни сей во всякие ереси иудейские. Блудите, говорит, жонки с мужиками. Через блуд, говорит, прямо в рай внидете. И славят в том скиту Иуду, что, предав Спасителя, обесился на синархии, с осиною повенчался. Боже, просветли очи сих прельщенных, отмой святою водою, чтобы снялася темень... Миленькие мои! не слушайте рогатых, кто толкует про иудейство. Лучше от обрезанного слышать о Христе, нежели от православного об иудействе. Вроде и не бегут Христа, но сами давно столпы и гробы мертвых и вас, христовеньких, туда укладывают. Бегите, бегите прочь от убивающих душу...”

Лица смазались в одно большое белое пятно. Но вдруг проступило одно, мохнатое, с круглыми рожками во лбу; в творожисто-белых глазах зенки стоячие, с прозеленью, как у кота. О-о-о! — простонало все в юроде. Ты лишь подумай о сатане, а он уж и в ограде. Свят-свят-свят! — мелко зачертил вокруг себя крестом. Прихожане взволновались, не понимая тайных мук юрода, но близко принимая их жалостливым сердцем: бедненький, такую нужу и глад терпя, он воистину видит на сто сажень вглубь.

На паперти появился причетник, зашикал на Феодора, грубо пихнул в спину, пытаясь сронить лядащего с крыльца, но лишь руку зашиб о закаменевшие мослы блаженного.

“Поди, поди прочь, обавник! Сгинь, пустомеля! — закричал. — Это тебя с мутовкою ждут! Мутишь народ-то. Гоните, братцы, чаровника, продающего Святую Троицу!”

Феодор обернулся, в стеклянных глазах юрода причетник увидел собачью тоску. Он плюнул ему под ноги и скрылся в церкви.

Тут на паперти запричитала нищенка: “Украли сына! Украли сына!” Юрод очнулся, хотел поймать ускользящую ладонь молодого причетника и вложить полушку Христа ради. Медяк упал на паперть, закатился в щель. В распахе двери Феодор увидел синюшное лицо будильщика Исафа из скита, протянул ему руку для целования, но монах отпрянул в испуге и пропал в распахе двери...

“И нечестивые с хвостами побегут прочь, завидев Свет!” — возгласил юрод, торжествуя победу. И тут же, позабыв о будильщике, степенно спустился с паперти. Зазвенели коньи бубенцы на двурогой ключке его в лад глухому бряцанию тяжких вериг. Но прихожане оставили юрода и поспешили к архирейскому дому, куда с минуты на минуту ждали патриарший поезд. На лице юрода не стихала улыбка; монах стянул скуфейку, смял в кулаке, и осенний ветер взъерошил тонкие засаленные волосы. Мальчишки забегали вперед, гыкали на юрода, тыкали пальцем, вопили: “Дурка с дыркой... дурка с дыркой!” И смеялись заполошно неведомо чему. Тухлое яйцо попало в спину Феодора и растеклось желтым бельмом. Но праздничная улыбка не стиралась с его губ. Оглянись сейчас Феодор — и увидел бы он, как, потупив взор, плетется следом будильщик Исаф, бесплотный, как стень, прижав ременную лествицу к груди и мерно перебирая кожаные лепестки.

Феодор шел серединой дороги, и ломовые телеги с солью, и возы с сеном и хлебной кладью, и верховая чадь, и служебники, спешащие на рысях за город к

заставам, и стрельцы невольно уступали блаженному путь, отворачивая загодя лошадей, чтобы не подмять копытами устюжского покровителя и предстателя пред Богом. И, пожалуй, во всем Устюге, кроме священниц, сыскался ли хоть один ремесленник, или из торговой сотни ларешник, иль из самого кощейного звания мужик, кто осмелился бы словом утыкнуть юродивого, а не то кулаком попотчевать. В торговых рядах Феодор заходил в лавки, и каждый купчина спешил одарить монаха булкою, иль горстью медовых жамок, иль насыпал в кошолку вареных яиц, а юродивый благодарил копейкою, что подали нынче Христа ради: де, возьми, кафтанник, денежку, не упряйся, мне она нинашто, а тебе все одно в рай не угодить, злоимец, всего злата мира не хватит, так хоть в аду откупишься от огненного веника... В стены хором, где жили особые молитвенники и смиренные боголюбцы, он кидал камением, отгонял чертей, осадивших избу почтенного мирянина, пугал хвостатых, давал им бою. Нищенка подкатила: де, подай, Феодорушко, Христа ради. Юродивый отказал: “Ступай, прощачка, питаемая благодатями и готовая на заколение. Ты и без того у Спасителя в золотных ризах”.

Так по кривоколенным улочкам посадских слободок, где прямо через капустища и репища, не пугаясь собак, а где и сквозь чужие заулки, по-хозяйски раздернув заборы, в обход ненавистных церквей и сердитых стрелецких рогаток, проложил Феодор свой бесконечный петлистый путик, блуждая вокруг каменной городской стены, с подошвы густо обросшей осенней отавой, лопухами и крапивой, почасту взглядывая на тусклое солнце, что уже закатывалось за маковицу крома, желто раскрашивая осиновые лемеха высокого шатра. И чем ниже осаживалось солнце, тем большее беспокойство испытывал Феодор, будто его подпаливали изнутри, ибо все предназначенное и высказанное видением должно было немедля разрешиться... “И нечестивые с хвостами и рогами побегут прочь, завидев свет!!” Слезящийся понурый песик с репьями на загривке привязался за юродом и упорно продирался следом сквозь розвесь ивняка по глинистым покатым косогоров и ручьевин, а блаженный крошил ему колача не глядя, жамкал ситник и просыпал из горсти. Не так ли и сеют семена веры на обрадевшую пашню, не беспокоясь о всходах, ибо чему назначено взрасти, то и проклюнется и на голом камне. Господи, помози!

И Феодор подгадал к Троицким воротам к самому часу, как бы Дух Святый вел его за руку. Во все колокола ударили многие церкви Устюга Великого. “Едут, едут!” — закричали вездесущие мальчишки, и патриарший поезд, далеко оставляя за собою хвост из десятков подвод, медленно вполз из речной прилуки на городской крестец, заполнил собою узкую улицу, вымощенную булыжником. Стрелецкие десятники и боярские дети раскатали пред воротами червчатые попоны. И юрод, вдруг не вем откуда взявшись, не страшась батоков и зуботычин, направился встречъ Никону по ворсистым покровам. Любому другому не сносить бы тут головы от подобной дерзости; но юрод — он вестник от Господа, он — глашатай, заступитель, молитвенник, у него на голове корона царственная невидима бысть. Тронь лишь пальцем юрода, и неведомо как отзовется после на Страшном суде, коего никому не обойти. Да и сам-то Феодор Мезенец еще накануне не исполнился бы такой решимости; нынче же он головою подпирает небеса, ништо ему не страшно, и весь народишко, сошедший с истинного пути, был ему мелок и вял в своем неустанном и никчемном земном мельтешении. Юрод и на патриарший поезд взглянул как бы с высоченных скоморошьях ходуль, подпираемых ветром, и у извилистого пестрого тулова гада, вихляво растянувшегося по Устюгу, он разглядел и когти, и рога, и печать антихристову во лбу...

* * *

Никон высунулся из избушки, отдернув слюдяное оконце, и душа его наполнилась торжеством. Возле надвратной церкви Успения на въезде в детинец он увидел толпу посадских, торговую сотню с хлебом, церковный причт с иконами, сторожу на обломах стены, кованые железные ворота на заклепках, сейчас гостеприимно распахнутые, раскатанную до Троицкого собора червчатую кошму... Чтят пока патриарха и милуют, и ежели где и сыщется какая невзглядь и жидь, то при виде ревностных молитвенников она невольно западает в сумерки, яко моль и гнусь. Душевное тепло невольно кинет всякого гада в бега и ужас.

И вдруг увидел Никон чернца-юрода, безмятежно шествующего по червчатому покровцу встречу путевой кибитке и властно втыкающего подпиральную ключку пред собою; бубенцы прерывисто стетенькивали в лад валким, зыбким шагам монаха. И никто — ни стрельцы городовые, ни боярские дети, ни церковная братия, ни посадский люд не мешали юроду. Какая-то шалая, полудетская улыбка расплылась по ожидающим забавы лицам, и взгляды всей толпы воткнулись в растерянное лицо Никона. Еще скрипели позади колеса долгого обоза, увязая в грязи, нутужно всхрапывали лошади, подымаясь с поклажею в гору, звонко понюгали их возницы, зычным криком подбадривая измаянных скотинок, звякали удила и оружие верховой стрелецкой вахты, окружающей поезд с боков, звонили церковные колокола, гарчало воронье, гнусили блаженные и клосные, ползая в ногах прихожан и вымаливая Христа ради, — но этот размеренный городской шум отчего-то легко перебивался вялым звяканьем бубенцов, развешанных на посошке блаженного.

...Никон, Никон, не осердися, не распалаяй душу свою! Лучше воззришь пуще в это блеклое истаявшее лицо, в страдальческие синь-небо глаза, обведенные рыхлой коричневой тенью, в плоское сизое тело, едва призадернутое холщевым кабатом, словно бы изъеденным собаками. И неуж никакой крохотной подробностью своего обличия не напомним тебе юрод былой жизни и того счастливого случая, с каким ты вырвался из смерти, когда бежал с Соловков? Владыка, памятуя о своем обете, ты заложил ныне на Белом море островной Крестовый монастырь в честь счастливого спасения. Много лет отпало с тех дней, из простого монаха волею судеб вызнялся ты на ту пастырскую вершину, с коей до самого Спасителя, почитай, рукой подать; ты — явленный образ самого Христа. Ну, нутужь память, первосвятитель, направь все силы сердца своего на то лето, когда ты погибал в морской голомени и, уже не чая живота, покорно погружался в студеную пучину на прокорм рыбам. И, зная, Богом было так заповедано, чтобы подъячий Голубовский вытянул тебя на днище обвернувшегося карбаса, а голубоглазый отрок, переодевшись в белую смертную рубаху, что всегда неотлучна с поморцем во всяком походе, воздел руки к небу и вдруг воскликнул по необъяснимому чувству, словно бы Божий глас требовательно позвал: “Господи! — взмолился. — Если спасемся, юродом стану!” И гневливое море тут же разом окротело и смилоствилось.

Нет, не признать тебе, Никон, в юроде Феодоре Мезенце прежнего отрока Минейку. Да и то верно; ежели бы ты помнил всякое добро, содеянное тебе во все годы, то усох бы, согнулся под тяжестью благодеяний и никогда бы не поднялся с колен от бесконечной благодарной молитвы.

“Берите баловня! ловите!” — взопили боярские дети и, взмахивая топорками, побежали наперерез Феодору. Со стороны возов поскакали стрельцы. Поднялся шум, сумятица, сронили привальный каравай с солонкою. Но опоздала сторожа. Юрод отпахнул дверь патриаршьяго возка, головою повалился в ноги святителю, верижный крест тяжело скатился на кошму и словно бы намертво приторочил юрода к избушке; служивые пытались оттащить смутьяна, заламывали руки, гнули выю — и напрасно.

“Гоните, гоните прочь извратителя!” — хотел вскричать Никон, но язык присох. Никон отодвинул ноги от засаленного колтуна, точно боялся наступить на голову блаженного и раздавить ее, но вдруг улыбнулся, снял клобук и концом шелкового воскрилья бережно вытер распаренный лоб и розовый рубец над бровями, натертый камилавкой. И вздрогнул Никон от привязчивого выцветшего взгляда юрода, столько было в нем тоски и боли.

“Чего тебе, скажися, христовенький?” — Никон принагнулся, мелко окстил лысеющее темя, шею в рыжей дорожной перхоти, измозглые белые ключицы, остро выпирающие из рубища. Но юрод молчал, вперившись в святителя. Бутристый, с надбровными шишками покатым лоб, густая с проседью копна волос, черные без дна глаза, как бы в них навечно заселился влажный густой мрак, и в глубине этой темени блуждают, вспыхивая, золотые искры. Как бы озарило Феодора, и в ненавистнике своем он сразу признал беглого монаха, коего чудом спасли тогда у Кий-острова. Но ничем не выдал Феодор знакомства, ибо утратился нагаданной встречи.

“А... боисся!” — возрадовался юрод. “Нет, не боюсь”, — снокойно ответил

Никон, по-прежнему улыбаясь. “Черт тебе в упряжку, еретник!” — Феодор неловко задрал голову, а пальцами судорожно вцепился в приступку. Загнувшиеся слоистые ногти побелели. Служивые с батожем медлили, осторонясь, ждали патриаршьяго слова. Им было страшно слушать такие кощуны на Никона. А тот все улыбался, измученно искривив рот. Губы его шевелились, словно бы приговаривал святитель: де, пуще жаль меня, юрод! ой, сладко мне!

“Что с Русью-то натворил, еретник!” — приступал Феодор.

“Уймися, пока жалею. Я вас из ада вызволяю, неслушники...”

“Врешь! Ты матушку нашу, православную церкву на дыбу вызнял! Руки ей вывернул, изгильник! Вот на какую муку спосылал! И нету конца тоей муке! Исплакались от тебя, мучитель! Улыскаешься, яко ангел, а внутри лев рыкающий! Гляньте, гляньте на него, милостивцы! — поднял голос Феодор до визга и впервые, решившись, отпрянул от возка, как бы сдаваясь на милость служивым, вздел к небу посох с бубенцами. — Узрите, христовенькие, этого смутителя и ужаснетесь! Иным ноги умывает водою, хоша уподобиться Искупителю, а иным те же ноги ломает дубиною, а иным кожу кнутом сдирает. Христос Спас наш такого не творил. Спас наш смирения нам образ дал, сам бит был, а сам никого не бил. Никон — сын дьявола, отцу своему сатане работает и обедни ему по воле его строит...”

“Надоел ты мне, чародей”, — тихо, но внятно сказал Никон из глубины избушки и осном дорожного посоха резко, безжалостно ткнул в плечо юродивого, так что сразу у того отнялась рука; руда скоро наплатала кабат и заструилась на дорогу. Феодор споткнулся на полуслове, безумно взглянул на патриарха и упал под колеса. Вскрапнули лошади, отпрядывая; вскричала, гневно зашумела толпа. Тут жилистая тонкая рука монашка, невесть откуда вдруг взявшегося, подхватила юрода и споро поволокла прочь.

“Сколь ты тяжел, смутитель. Как свинцом налит”, — с придыханьем бормотал будильщик Исаф, вталкивая Феодора во двор купца Мельникова. И тут ударили юрода сзади по темечку железным пестом, и провалился Феодор в небытие. А очнулся уже в кельях на Суне-реке, прикованный цепью к ограде, как сторожевая собачонка.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Признаться, во всем мире не сыскать никого злее и досадливей осенней мухи и девки вековухи: жалят, не ведая чести, звания и чину. Осенней вздорной мухе и окна открывать без надобности; она в нитку вытянется, но в любую щель продернется и заселится на беду в чужом дворе, ибо под личиною мухи всегда оборотень живет. А пехается-то, прокуда, не в нищую изобку, ветром конопаченную, но в зажиток, где вкусно пахнет, ведь у хлеба не без крох, у стряпни не без подлив.

Вот и на православную жалливую Русь со всех закутков и задворков европейских полезли они, как пчелы на взяток, и никакой обороною их не остановить: деги и влахи, греки и немцы; кто с обозом за церковной милостию, кто в иерархии с дальним прицелом, чтобы осесть на богатой чужбине, остаться на государево имя. Поехали брадобреи и лекари, купчины и служивые, приказчики и ремесленники, все больше люди оборотистые, той пронырливой природы, кто из кукиша состряпает выгоду и скоро высмотрит, где и что плохо лежит, чтобы тут же и прибрать к рукам. Устремились на северную Русь те искатели счастья, кто совесть почитал за большой изъян. Иные, удачливо приткнувшись к московскому Двору и улестив бояр, скоро сбивали себе состояние и отбывали назад на родину; иные же — лазутчики, шпыни, прелэгатаи и смутьяны, кто новый завод и бунт всегда рад завести, — соорив из себя преданного, льстивого слугу, меж тем хитроумно выглядывали московские секреты, и с посольским двором, иль с иным спопутьем, а то и тайными тропами мимо застав и засек срочно спешили с вестями к своим королям. Вот уже и не только дома выстроились на Москве и Вологде, в Архангельске и Астрахани, но и целые слободы с церквями, и встали торговые ряды со всякой заморской приманкою; а немецкие, датские и шкотские полковники, ни в чих не ставя древние русские привычки, спьяну быют не только посадских, пуская

в ход шпаги, но и государевых слуг. И вроде бы пригрелись иные плотно у жирного куска и теплого места, но сколько же, однако, самых гнусных басен сочинили и отправили содержанцы в королевские дворы, дикой сплетней и интригою отплачивая за русское гостеприимство. Так и досадят в посмешку, так и выгрызают православную душу, чтобы гляделась, как сито, выставляя из чистосердечных гостеприимных людей барбаров и мошенников. И редко кто поселялся навсегда с решительной мыслию принести посильную пользу новой благодарной родине. А уж какими щедрыми дарами и милостями не выказывала себя Москва, чтобы не пасть лицом перед гостями и поддержать родовое предание; де, Радигостью никогда не изменяла древняя Русь...

Летом шестьдесят второго года прибыл из Молдавии очередной искатель счастья, бродячий архиерей, смысленный плут и досадитель, газский митрополит Паисий Лигарид, которому "не подобало возлагать на себя ни епитрахили, ни омфора".

Это Арсений Грек, скиталец по верам, самозванец и ловыга, вызволенный Никоном из Соловецкого затвора, своей ученостью смутил ему душу, присоветовал позвать на Русь себе в помощь Паисия Лигарида, как человека изощренного ума, верного сердца и большой книжности... Наивный, великодушный патриарх! ты государством ворочал, как своею вотчиной; ты бояр ставил ни во что, заставляя часами дожидаться в сенях, как простых челядинников; ты многие земли присокупил к Московскому Двору; тебя Богдан Хмельницкий почитал за отца родимого, за Бога земного; ты под Стокгольм спосылывал казачьи отряды, чтоб вместе с Польшею заодно подпятить в православие и Швецию, вразумить еретиков в истинную веру; ты еще не остывшую от мятежей Русь сызнова поднял на дыбы; ты замыслил занять Царьградскую стулку вселенского патриарха... И вот какой-то наезжий мошенник, пригретый тобою, вовсе не семи пядей во лбу, умасливает тебя восторженным неискренним словом и, замутив голову неясными лукавыми бреднями и потрафляя слабостям, уловляет голыми руками, как карася в вентерь. Ах-ах, гордец-человек, нежданно воссиявший на русском небе, как Вифлеемская звезда! Куда девается в такие минуты твой подозрительный ум, глядящий на сто сажень в глубь земли? В золотистом тумане оливковых глаз Арсена-жидовина утонул ты, слепец, как в морошковых чарусах северных павн, и все твоё хваленое многомудрие и святость слетели вдруг, будто рыбий клецк с леща под ножом ловца...

Многих иноземных залучил на Русь и свез по новым монастырям Никон; любой веры человеком не гнушался, перекрещивая его и затворяя в монахи, будь то польский жид, иль немец, иль дега, иль грек, иль волошанин, лишь бы истинно возлюбили Творца. В пятьдесят седьмом году, опутанный Арсением-черноризцем, на свою беду и хворобу, не чуя погибельной ямы, кою сам себе и вырыл заступом, послал патриарх весть господарям Молдавскому и Волошскому, чтобы пропустили они в Москву Паисия митрополита через свои земли. Самому же Лигариду через афонских паломников отписал: "Слышали мы о любомудрии твоём от монаха Арсения, что желаешь видеть нас, великого государя, и мы тебя, как чадо наше по духу возлюбленное, с любовью принять хотим". Но пока-то попадал Лигарид в северную страну с подложными грамотами, устроенными в Молдавии архимандритом Леонтием, тем временем Никон сошел с кафедры.

А чье вино пьешь, того и песни поешь, тому и подгуживаешь. С попутьем, в чужом обозе, лишь на трех подводах с пятью слугами вошел Паисий Лигарид в престольную. Не зная русского языка, с помощью драгомана он сразу же разнюхал дворцовые интриги и умудрился скоро, вроде бы без особых усилий, уместиться в сердце государя, в той стороне, коя была когда-то отдана Никону. Паисий снял тяжесть с государевой души и не мешкая, горячо восплакав, попросил заступиться

* Константинопольский патриарх Дионисий о нем говорил: "Я его православным не называю, ибо слышу от многих, что он папешник, лукавый человек". Он всегда был искренним католиком. В 1639 году принял рукоположение во пресвитера от униатского митрополита Рафаила Корсака, а в 1641 году был назначен католическим миссионером на Восток с жалованьем сначала в 50, потом 60 скуди. В 1652 году Лигарид, притворившись православным, был рукоположен в сан митрополита Газы Иерусалимским патриархом Паисием. При этом он продолжал получать содержание от Конгрегации пропаганды (этот секрет открылся спустя триста лет). В 1662 году Лигарид посылал в Рим упреки о задержке жалованья и давал объяснение, как он стал православным митрополитом, ибо Конгрегация отказывалась признать за ним этот сан. Лигарид умер убежденным католиком.

пред турками за свой бедный униженный народ, выплатить ежегодный откуп, чтобы нечестивые агаряне не обратили несчастных в свою турецкую веру. Откуда было ведать русскому царю, что Паисий Лигарид уже давно покинул на произвол судьбы свою митрополию, что лишен архиерейства Иерусалимским патриархом Паисием. Государь велел выдать Лигариду восемьсот пятьдесят золотых червонных одиноких для высылки дани, да пожаловал кафтан камчатный смирной камки, да рясу суконную черную в белках, сверх того, что была жалована гостю шуба соболья под камкою...

А бедный Никон, затворившись в Новом Иерусалиме, шлет Паисию теплые письма, делится с ним сокровенными чувствами, тягостным своим состоянием, бедственностью положения и негодует на царя, де обнищил государь святые церкви и монастыри своею сильною рукою, весь народ бросил в тугу и кручину и постоянно злобится на нас. Лигарид ответил уклончиво: "Не знаю, куда мне обратиться, потому что никто не может работать двоим господам. Без ласкательства скажу: Алексей и Никон, самодержец и патриарх — один всякий день оказывает милости, другой молится и благословляет. Блаженнейший! Имея важные причины, ушел ты с престола и отряс прах ног своих на Москву за ее непокорство; но сказано, да не будет бегство ваше в субботу и зимою, во время крамол и браней. Никон, покайтесь! — вопиет самодержец Алексей. Будь пастырем добрым, а не наемником! вознеси вокруг очеса твои и виждь чада твоя. Послушайся моих слов, о золотая глава златорунной сей паствы, и соединишь со своими членами. Становлюсь проповедником громогласным, потому что ревность моя не дает мне молчать. Иди и не отказывайся отдать кесарю кесарево, и какому кесарю! — смиренномудрейшему! И тебе смириться подобает..."

...Вот уж воистину осенняя муха, пролезши сквозь порубежные заставы, облив свои суемудрые слова густым медом и елеем, уселась за государевой трапезой среди русских святых духовных питий. Царь-государь, не мешкая, затворяй оконницы, затыкай кованые хитроумные медные решетки, опускай бархатные завесы и запоны, настрого вели истопникам и сторожам зорко следить за каждым входом.

Да уж право, что и опоздали... Скинулась муха оборотнем в рясе и клобуке, обавила, ослепила двор, навесила покровцы на ушеса, когда всякое почестное слово, сказанное добрыми людьми на увещание и поучение, показалось знати за хулу, и брань, и кривду, но всякое пустое и никчемное слово почудилось за вящую правду, облитую золотом. Уселся оборотень середь Государева Двора и расчесал гребнем из рыбьего зуба, подаренным из патриаршей казны, тяжелые с рыжиною усы, и разлатую, на два рога, бородавку, и завитые горячими щипцами волосы.

Прибыл Лигарид в Москву в феврале, а уже в августе боярин Семен Лукьянович Стрешнев, тот самый, что собачку свою научил ходить на задних лапах и благословлять по-патриаршьи, составил тридцать вопросов по делу Никона и обратился к Лигариду Газскому с просьбою дать на них письменные ответы. Что гость и сделал вскорости с великой вольностью и надменностью, хотя в предисловии записок уверил государя, что ради правды Божией он скорее умрет, нежели солжет. Лигарид осудил Никона: "Никон не признает четырех патриархов, а лишь папу, и значит, он настоящий папешник... Он уставы святые творит не по власти, гневно грозит, проклиная без всякой пощады, а тем более уж не пастырь, ибо как можно назвать пастырем того, который свои оставляет овцы и о них делом прямым не пасет".

Угодил Лигарид, ой потрафил уязвленному царю: он Божьего гнева боится, он в рай норовит попасть, помазанник Божий, он ада страшится пуше всех земных немилостей; а в душе-то вдруг просверк, инда молонья просквозит грудь, де, Алексеюшко, так ли изволил поступить со святителем? соблюл ли ты православный закон? Вдруг таютки-то, куда все отойдем от времени, и отмстится... А тут из Царьграда, почитай что из земного рая, прибыл господев слуга, с лицом тонким, чеканным, будто выточенным из слоновой кости, с глазами, как две миндалины с влажным голубым отливом, а сам весь источает фимиами и нард, такое благоухание исходит от каждого святого слова его. Спаситель послал! подождал, и уверовав, как истинно горюет и страждет великий государь по друге собинном, что оказался на поверку хуже шпыня лесового и изверга, да и направил укрепу

царской душе и рачительный ум державе русской. Вот он, истинный судия, митрополит Газский! он прозрачен, как адамант! Так пусть он и просмотрит и оценит соборное деяние, что составил старец Епифаний Славинецкий по прелестям Никона.

...И с вящего извола Алексея Михайловича скиталец по верам стал судиею патриарха и древних церковных уложений.

И понял затворник Никон, уединясь в Отходной башне Воскресенского монастыря, какую подколодную змею пригрел под сердцем, с такою ласкою зазывая от греков. Не нами, еще старыми людьми заповедано: хитер жид, но и его грек облукавит.

В июне шестьдесят третьего года архимандрит Костамонитского монастыря Феофан без царского позволения тайно ездил к Никону на Истру, передал ему грамоту от всех афонских обителей с признанием всеобщей монашеской любви к нему, и мощи священномученика Власия. А также уведомил, де хорошо знал Лигарида еще по Молдавии и ранее, по прошлым делам его: он — рукоположенец папин, по многим ляцким костелам служил за папу литоргию, давно отлучен от митрополии и прибыл на Москву за личной выгодой по подложным грамотам. Он всякой ереси навывчен и мясо ест, и на землю молдавского князя навел турецкого царя, который и овладел ею. Но Феофан умолчал отчего-то, что привез Никону книжицу, изданную в Риме, “Толкование на песнь: величит душа моя Господа”, где напечатано было письмо Паисия Лигарида под его мирским именем Панталеона к одному архиепископу римской веры.

Никон принял Феофана ласково, умыл ему ноги и позвал к трапезе. У патриарха в тот день ели много мирских людей, человек с двести. Отпуская Феофана, Никон благословил его иконою, дал ему на милостыню двадцать рублей и велел своему келейнику отвезти архимандрита в Москву...

И все же в сердце Никона еще оставалось какое-то сомнение: неужели так глупо обманулся? неужель его, тертого воробья, провели на мякине? Да только не вина это Никона, но такова природа человечья: зачастую люди оцениваются не тем, что они стоят на самом деле, а что мы хотим видеть в них.

* * *

...Горячка ты, Никон, горячка!

И без того по всем сердцам оследился, почитай всему Двору шею натер, застрял, как кость в горле, своею неуступчивостью; сыщется-нет трое верных из боярского синклита, кто бы за тебя честью своей встал. Вот и ныне, господине мой, закоим переть на медведя с рогатиной? нет бы исподтиха обложить берлогу, да заткнуть, закрестить устье ее баланами, а как бы полез растревоженный расстрига-хозяин вон, тут и пори его в брюхо. Ах, сладко!

...Заерестились Никон с соседом Романом Боборыкиным еще с прошлой осени, как пришла пора хлеба жать. Не смогли пашенную землю миром поделить, ибо всякому житенный приграничный клин за большую выгоду. И у Никона жалованная государева грамота на имения, и у соседа на те же межи дарованные записи за царевой печатью. Да только нет нынче у Никона прежней силы; хворого медведя и мыша ест. Нет бы Никону погодить последнего Дворцового решения, но он, не сомневаясь в правде своей и уповая на прежние милости, приказал крестьянам монастырским снять сено и хлеб и обмолотить его, и в умолот вышло шестьдесят семь четвертей зерна. Почитай с год тянулся спор. Боборыкин много раз наезжал в монастырь, уговаривал вернуть хлеб, но он был уже съеден трудниками и монахами; и то истинно—недолог век житу, лишь до нового урожая. Боборыкин снова подал государю челобитную на обидчика. Никон пошел навстречу, решил рассчитаться, хотя каждый грош крепко жал в горсти, ибо новый монастырь много денег требовал, а личная казна патриаршья поиссякла да и прежнего приходу с московских церквей и прочих епархий уже не стало.

Скрепя сердце, велел патриарх казначею принести шестьсот рублей, сколько наскребли в затайках, и предложил Боборыкину, надеясь на милосердие и милостыньку, взять из этих денег за шестьдесят семь четвертей обмолоченной ржи по цене, по которой хлеб продавался на Москве. И открыл подголовник с ефимками. Боборыкин же ответил, де пожато хлеба с той пашенки будет вдесятеро больше,

и взяв со стола все деньги, еще и примолвил, де эта плата мне будет за половину. Никон вспыхнул, люто осердился, порвал сделку и сказал: “На ложное твое челобитье денег не напасть и не откупиться всем монастырем. Ты пришел, как шакал на падаль”.

Шестнадцатого июля прибыли в монастырь думный дворянин Бакановский, да дьяк Брехов со многими людьми—подьячими и стрельцами, и принесли царскую грамоту. Никону вновь предложили, чтобы он сделался с Романом и пошел на мировую. Никон же пошел на отказ, де Романовой земли у монастыря нет, а есть купленная, и напрасно Боборыкин подклепывает на патриарха. Тогда и решено было спорную землю отмежевать в пользу Боборыкина. Государевы слуги отправились землю резать, нищить монастырь. Никон же созвал братию в Воскресенскую церковь, с солеи прочитал жалованную грамоту царя на монастырские имения, а после положил ее под крест и образ Богородицы на аналое посреди храма и совершил молебен святому животворящему кресту. А по окончании молебна громогласно возвестил страшные слова из сто восьмого псалма: “Да будут дни его малы, и епископство его да примет ин, да будут сынове его сиры, и жена его вдова, да будут чада его в погублении, и да потребится от земли память их...”

Соседа ли Боборыкина имел он в виду, спосылая на того небесные кары, иль государя, отдавшего патриарха на поругание мстительным слугам своим, — святитель не объявил братии: но душа его переполнилась обидою ко всем невидимым, кто сейчас обуживал, стреноживал его жизнь. Вроде бы без ков видимых Никон, но в тесных юзах.

На молебне случайно оказался и Роман Боборыкин. Он ничем не выдал своего присутствия, затенившись в притворе, но тем же днем донес в Москву, де, Никон проклинал государя и весь его Дом. Алексей Михайлович, получив такую весть, срочно призвал в Крестовую полату архиереев и пожаловался с неожиданной слезою во взоре: “Я грешен, но в чем согрешили дети мои, царица и весь двор? Зачем над ними производить клятву истребления?” Архиереи зашумели, взволновались, просили расследовать это дело в точности, чтоб пресечь затеи смутителя. Вон сколько стороннего, чужеземного народу ежедень отирается в монастыре, разнесут голку по всем рубежам. Что еще взбредет в голову беглеца? Надо поопасаться, принять меры. Наутро государь созвал старшие власти, и решено было отправить в монастырь дознатчиков истины Паисия газского митрополита, астраханского архиепископа Иосифа, богоявленского архимандрита Феодосия, а из ближних ко Двору — князя Никиту Одоевского, окольник Родiona Стрешнева и думного дьяка Алмаза Иванова.

Русийская православная церква вдовела при живом патриархе. И все уперлось в Никона.

* * *

Знайте, сердешные, лишь искреннее послушание в поте лица своего и соскабливает всякий суетный прах с томящейся души.

Не ходя в келию, подождав, пока оттрапезуют трудники, Никон после проповеди тут же в ризнице Воскресенской церкви с помощью причетников облачился в рясу трудника и кожаный фартук с наплечниками, натуго перепоясался, будто воин, широким лосиным ремнем. Потом отправил всех от себя, достал из-под рубахи тяжелый медный складень, который с недавнего времени возложил на грудь рядом с веригами, и усердно помолился в тиши, часто лобызая образ Богородицы умиленной. И вдруг, беспечальный, забылся. И привиделось ему, что он летит легко и свободно, вытянув вперед правую руку с крестом, а навстречу приступает огромная сизая туча, с подочвы черная, как вар, и этой тучи ему не миновать. И Никон решительно пробил эту клубящуюся гору сквозь, но больно зашибся головою... И с этим проснулся. Лоб действительно болел, но какой-то иной истомою. Патриарх подошел, любопытствуя, к зеркальцу, опущенному синим сукном, всмотрелся в мятое лицо. Над правой височной костью неожиданно увидел багровое пятно, будто опалило чем. Но Никон не встревожился, но, потеряв ожог, широко, радостно улыбнулся. Знамение... Вестку дал Вседержитель. Ведь не отчаялся, не струсил, не поддался вражьи́м наущениям, но пробился сквозь тучу навстречу лазурному покою. Лишь молоньи, как змеи, шипя и

рыгоча, искручивались вокруг золотого креста. Так и не страшны все препоны земные, ежели пасет Никона сам Творец. Пусть межуют, пусть нищат, обрезают земли по самую церкву, пусть лишают жизни: на каждую проторю и убыток станет достатку вдесятеро. ...О, светоносная Заря, держащая истинного Света! Целую тебя, плача от счастья! — Никон облобызал образ Пречистой, опустил складенек за ворот. Тут на улице ударили в било, сзывая на дневное послушание, и патриарх поспешил на выход.

Небо было белесое от жары. Солнце ярилось. Никон словно бы угодил ненароком в мыльню, только не хватало веника побаниться. Сразу пробил пот, исподница прилипла к лопаткам. Никон отправился в череде приписанных и послушников за монастырскую стену к ямам с глиною. Около штабелей сырца он нашел и свою, патриаршую козу, к которой никто не ревновал: такая скамейка была лишь по плечам Никона.

Сегодня после обжига выгружали очередную печь, наладив свое кирпичное дело. Такой промысел был куда выгодней и приемистей для монастыря, не надо было лишку тратиться казною и сплавлять материал на насадах по реке из-под Москвы. Занимался обжигом наймит, квадратный закоренелый мужик, немтыря с легкой блуждающей ухмылкой на чугунном лице. Он чуял глину с пристрастием и настолько глубоко понимал ее, как ведает свое закадычное ремесло всякий искренний русский знаток; так ревностный пастырь без слов целит душу прихожанина, слыша его зов.

Никон не однажды наблюдал со стороны, как этакий шатун-медведь, не зная устали, легко таскает березовые неподъемные чураки, будто кабаньи туши, зажав их подмышками, и, открывая в очередь кованые заслоны, сует дрова в чрево денно и ночью горячей печи. Этот божий человек вроде бы и не ведал сна; Никон и середка ночи почасту обходил монастырь, проверял, ладно ли затворены ворота, не дремлет ли вахта, и когда возвращался в Отходную Пустынь на молитву, то невольно миновал и обжиг, над которым постоянно висело полночное зарево. Тьма клубилась, клекотала, переливалась багрово, там бродили сполохи, летали огненные птицы и звери, метались человечьи призраки, словно бы сам Вельзевул тащил маятных грешников и погружал на вечное страдание в Ваалову пещь. Окрученный кожаным запоном, наймит легко орудовал длинным, в сажень, ко-котом, до самых жабер печи протаскивая ровный жар; порой немтырь оборачивался в полночную глухую темь, как бы позванный кем, навастривал ухо и что-то гугнил. Потом обливался водой из бадейки, так что поднимался над ним клуб пара, и снова принимался волочить железный крюк. Никон видел веселое лицо наймита, прозрачное от пляшущего жара, но ничем не выдавал своего присутствия; патриарх возлюбил бессловесного гугню, как сотоварища по общему устройению святыни. Это был стоящий одноделец, поровенка, одного склада и лада с Никоном, так казалось патриарху; от его норова в той же степени зависела крепость и вечность Нового Иерусалима, чтобы никакие наустители и развратители не смогли проточить его святые стены и проникнуть в горнее место.

...Завидев патриарха, немтыря торопливо вытер руки о кожаный запон, содрал с головы войлочный колпак, черные, изсиня, волосы свились в курчавый пропотевший ком. Обжигальщик подошел под благословение, загребая чунями с загнутыми носами. Сейчас в жаркий солнечный день он казался отлитым из железа, и только на темном, как у агарянина, лице просверкивали голубые, хмельной радости озеночки. Немтыря упал на колени, голова, будто подрубленная, скатилась податливо к ногам святителя, к деревянной козе с отглаженными до блеска ручками, сейчас поставленной возле ног.

“Подымися, Божий человек”, — мягко сказал Никон, слегка наклонившись. “Встань, патриарх велит! Заснул чего ли? Разлегся, как боров под ножиком. Аль умер?” — закричали приписанные. Немтыря неуловимо, наверное духом святым осознал просьбу патриарха, легко поднялся, потянулся к руке Никона. Никон же, перекрестив мужика, вдруг приобнял его за тяжелые плечи, густо запорошенные кирпичной окалиной, поцеловал в прокопченный, прокаленный лоб, пахнувший огнем и глиной. Монахи-трудники охнули и расцвели, еще пуще возлюбив владыку. Ударили колокола Воскресенской церкви, Никону поднесли серебряную чашу со святой водою, и он неторопко пошел к заслонам, окропил каждую топку, где недавно гуляло пламя.

Обжигальщик с вечера распаковал печь, и она, остывая, еще обдавала патриарха ровным избяным жаром. Глиняное дело, вроде бы самое низкое, домашнее, а из него-то и вырастали устои Нового Иерусалима. Никон задрал голову, немтыря был уже наверху, под небом, и выламывал крышу печи. По сходням спешили носильщики. Никон вскинул козу за плечи и вступил на шаткие сходни. Кирпич звенел, как стеклянный, цепляясь острыми, еще горячими ребрами за заусенки и мозоли толстых закоснелых ладоней патриарха, когда он грузил ношу.

...От стола Иезавели, жены Ахава, питались четыреста пятьдесят бесстыдных вааловых пророков и пятьсот жрецов Астарты, упивающихся кровью жертвенных младенцев. Сколько же их кормится при царевой службе, что тесно допекают меня? Да тьма тем... Пускай предрезостные изгильники, хулители веры хотят унижить меня, — еще пронеслось в голове напоследях. — А я не дамся. Им меня не укусить. Четвергова соль, да святая вода, молитва, да оржаной кус еще добро держат меня на земле...

* * *

...Аще забуду тебя, Иерусалиме, забвенная буди десница моя...

Едва доволочся Никон до Отходной Пустыни, так умятый послушанием. Келейные служки довели святителя под локти и оставили возле уединенной каменной башни на берегу Истры. Далее доступ был заказан даже самым верным монахам. В четыре яруса кирпичный столп, откуда далеко виделся окрестный мир во всех красотах, обозванный Никоном Палестиной, был достроен и освящен пять лет тому, когда еще не сошел с патриаршьей стулки; каждый кирпич был обнянчен руками святителя, перенесен на загорбке, и оттого пустынька и была, наверное, особенно близка его сердцу. Входя витой, еще неистертой подошвами лестницей, опираясь рукою на шероховатые от извести стены, как бы раздвигая плечами каменный кокон, Никон миновал тесную церковку Благовещения, где обычно служил в одиночестве литургию (да второму молитвеннику и при всем желании не протиснуться бы в алтарь), горбясь, поднялся выше на третий ярус в крохотную келейцу, и тут разоблолся в желанной прохладе, и долго отмякал, приходил в себя от июльской жары, откинувшись к стене, слыша каждый стонущий мосолик, тупо разглядывал посеченные кирпичной крошкой ладони, так и эдак разворачивая их на коленях, словно бы считывал с них судьбу. Стены, обшитые тесом, были так близко от лица, будто поместили патриарха в деревянное влагалище, напоминающее домовину. Чулан, куда патриарх скинул работную справу, широкая лавка с рундуком, да стол простой работы под небольшим оконцем, выходящим на реку, занимали все пространство монашеского житья. На столешне в проеме распахнутой оконницы стоял храм, доставленный с Востока монахом Арсением Сухановым.

Не глядя, Никон достал с полки кувшин, налил в кубок романей. С утра маковой крошки не было во рту, да столько тусу и волнений пришлось пережить за день, потом изматывающее послушание, что для молодых лишь впору, — и когда патриарх лишь пару раз отхлебнул из кубка вино, оно, растекшись по жилам, сразу ударило в голову; патриарх как бы оплыл громоздким телом по лавке, и вся жизненная сила, казалось, разом покинула его. Но мысли потекли вялые, без горечи и прежнего возбуждения... Спосыланные царевы слуги, эти ухорезы, небось все еще бродят по монастырским землям, урезают уголья; потом, натворив греха, потрапезуют монашеской едой, улягутся спать в келье до утреницы, а с рассветом помчат верхи на Москву, чтобы доложить о справленном деле. Ушемили, укоротили, де, патриарха. Бедные, они не ведают, что творят, отринув Бога в душе. Пусть упокоят вас мирные кельи Нового Иерусалима... А может, они, улещенные Романкой Боборыкиным, встали на постой в его дому и сейчас упиваются медаами из кругового ковша, и последними словами поносят патриарха..? Это ж какого такого мира хочет государь, если вместе с каторжными и раскольниками пятнает и меня, Отца отцев, и волокет в Разбойный приказ. И как далеко в Верху плетут паутину, ежели даже Устюжский волхователь, сбегший из монастырской темнички, этот науститель, возомнивший в себе святого, прилюдно плюет в лицо, а ты утрись и не выдай гнева. Не напрасно ли я, сторяча, отшатнулся от кафедры, дал простору шпыням и верхоглядам, кто под видом

истинного ревнителя бродит по Руси и растрясает по стогнам и весям последние цветы православия, стаптывает их под ноги потешникам, расстригам и обавникам. Господи, помози! — вдруг воскликнул Никон. И тут заходящий солнечный луч, коснувшись заречного леса, скользнул в косячатое оконце и осветил игрушечный храм.

...Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, Иерусалим...

Только что Никон вроде бы совсем разжижнул, как перекислая камбала печерского засола, и, казалось, никакими силами не собрать его для победительных молитв и борьбы с козлищем окаянным; а тут воспрянул, словно и не было тяжкого послушания, и с гудящих рамен спала истома, и ноги, страдающие нудю, сами повели монаха к окну, к Храму кипарисового дерева, крохотному подобию вместилища Спасителя неумирающего Духа.

Скоро, скоро Сладчайший вернется в земные пределы свои, чтобы свершить суд, и спросит, низринув меня из гроба: а в чем ты содействовал мне, Никон, чем потрафил? и с надлежащею ли верой пас ови моих, на время завещанных тебе? И горько восплачу я: грешен, грешен, Иисусе, пораспустил-порастерял паству, окаянный, и нету мне прощения. Шакалы возомнили себя львами, залезли в притворы церковные и амвоны, и давай рыкать, пугать истинных христиан; и запустошились храмы, а безверный, потерянный народ твой ушел в разбой и нети. Ой, и греметь мне тогда в тартары триста лет, сосчитывая ребрами каждый камешек преисподней горы...

Ни один лист не колебнулся на воле от нестихающего и ввечеру июльского зноя; весь мир, казалось, принакрылся желтоватой слюдою, и сквозь марево просвечивала Руськая земля с застывшим в своем беге Иорданом, со святыми, немеркнущими приметами Палестины; зачем ехать, попадать куда-то за тридцать земель, стаптывая ноги, чтобы узреть скудельницу священника Бога вышнего Мельхиседека, коли здесь, под сердцем Руси, есть своя Палестина, свое село Скудельничье, и Назарет, и Рама, и Урииная роща, и священные горы Элеон и Эрмон. Кто осмелится негодуяще возразить, де не здесь шествовал с проповедью Христос, не отсюда призвал его к себе Отец небесный. Нет, здесь! ибо на каждой пяди северной страны светятся следы Искупителя...

Храм Иерусалимский в крохотном своем подобии прибыл в Московию и сейчас воплощался в камне, мраморе, золоте. Как славно бы повторить его в малейших подробностях, чтобы всяк, пришедший из дальних палестин, узрел бы внезапно благословенное жилище Христа и со священным трепетом вступил в него. Храм стоял на столе, как чудная гора из куполов и глав, усеянная золотыми крестами, напоминающая крестное восхождение по пути Искупителя. Сколько часов провел Никон с молитвенно-сладкими чувствами подле него, изучая колонны и капители, и многие переходы, и ротонду святого гроба, пещеру рождества и место яслей, где появился младенец на свет, престолы на память обрезания Господня и бегства в Египет, поклонения волхвов и избиения младенцев, самый гроб Господень и камень пред ним, на коем когда-то лежало божественное тело. Всякая малая подробность — хоров и куполов, пилястров и приделов — оседала в памятной глубине, отпечатывалась надежно, как в воске...

Никон бережно снял с храма крышу с двумя главными куполами и мысленно отправился в жалостный путь в южный притвор, а оттуль в темную церковь Предтечи под Голгофою, где погребен Мельхиседек; по сторонам же двери царственная стража — гробы Готфреда и Балдуина. Этот искупительный утес одолел врата ада. На уступе его кипарисовый крест и расселина Голгофы. Как сладко бы, чтобы в этой пещерице под Голгофою, в церкви Предтечи и найти мне вечное успокоение. Боже, об одном прошу, чтобы исполнилось мое мечтание!..

И Никон вдруг заплакал, не устыдясь легких слез. И не ведал молитвенник, что к монастырю уже приближаются царевы посыланные, торопливо текущие с грозою по навету Романа Боборыкина.

Никон рукавом подрясника осушил глаза. Телесная немощь исчезла, как бы выпил он редкой силы нектара. И отправился патриарх в келейную церковку на одинокое ночное стояние, снова позабыв трапезу. А в распахнутое окно, сопровождая Никона, пронизал Отходную Пустынь небесный псалм:

...Прильпни язык мой гортани моему, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего...

И тут на лестнице встретил его вестник, монах Серафим.

Как ты смел, незванный, заявиться в святое место в неурочный час? — чуть не сорвалось с языка. Никон вздрогнул, на повороте лестницы неожиданно увидел монаха, и отчаянно всполошилось его сердце: так далеко от земли кочевала сейчас его душа. Вспыхнул, покраснел патриарх. Слава Богу, не успел надерзить келейному старцу, с коим уж пятый год в наперсниках. Но и жесткого взгляда было довольно, чтобы увял старец.

“Чего прискочил..?”

“Прости, Свет. Гости до тебя, господине. Со многотой воинской спирой нагрянули вдруг. Незамедля принять велят...”

Вот и сон в руку. Опять все не слава Богу. Пришлось вернуться. Поднялся с одышкой, невольно торопясь. От государя, поди, спосыланные? с какою вестью? Облачился в архиерейскую мантию с источниками, вздел обе панатии, покрыл голову черным байбарекowym клобуком с золотым херувимом, взял в руки двурогий наборный посох из слоновой кости. Серафим суетливо оправил воскрилия на плечах патриарха, расчесал волосы гребнем, украдкой поцеловал тяжелую прядь, словно бы сдул сорину. Патриарх услышал мимолетное неслышное прикосновение, обернулся, мелко окстил Серафима, погладил по щеке. Взгляд его потеплел. Старец расцвел, будто Спасителя вдруг узрел. Много ли тут ласки? но от сурового господина, коего любишь безотчетно не вем за что, и одного взгляда хватит, чтобы им надолго утешиться.

У патриаршей кельи в монастыре толпилась братия; конные стрельцы с мушкетами и бердышами, числом с полсотни, окружали скопку, наверное отжимали молчаливых чернцов в урочное место, чтобы полонить и оковать их. Толпа разом расступилась; даже пред пригорблым Никоном всяк умалился в эту минуту. “Пусть заходят”, — бросил за спину патриарх, наверное, велел архимандриту Герману, и исчез в сенях. Незванные гости с явно худыми вестями чередой вошли следом. Никон дважды поклонился, выказывая смирение, прочел по обычаю литию, но о здоровье государевой семьи впервые не справился. Князь Одоевский подошел под благословение, духовные же воспротивились, остались у входной двери. Иосифу-то астраханскому тоже кобениться! из-под руки Никоновой на власть зашел, из его горсти ел, невзгильник! Никон побагровел, молча удалился в келию, спосыланные заторопились за ним. Первым переступил порог митрополичьего звания гость в красной мантии; зоревой отблеск ложился на тонкое бледное лицо его с внутренней смутностью, едва проступающей сквозь лакированную, туго натянутую кожу; скуля и брыля обросли паутинчатой, почти невесомой шерстью, огрубляясь на клиньях бороды. Глаза навывкате, с кофейными зенками, зеницы же голубой окалиной; бесстыжие, немигающие глаза. Гость был, пожалуй, одного росту с патриархом, и просторной, ниспадающей многими складками мантией, как языками ровно текущего пламени, заслонил, затмил послов.

...Зри пуще, Никон, наостри очи и сердце, и стойко встретить вражину своего, но прими без гнева, как ближнего и желанного гостя. Не ты ли зазывал его на Русь, всяких благолепных похвальных слов сыскал, и вот он явился по твоей воле, чтобы подобно Кайафе предать тебя на последнее мучение. Паисий Лигарид степенно заговорил на латинском, слегка отставив вперед ногу в красном сафьянном башмаке с высеребренной пряжкой; пальцы, спокойно сжимавшие простую дорожную ключку, были унижены перстнями. “Разоделся, как баба”, — вдруг подумал Никон, с пристрастностью озирая незваного гостя; поначалу он худо понимал, о чем толкует милостынщик, в гордыне нарушивший обычай, не принявший благословение Отца отцев. И какой толк пустословить, ежели уязвлено сердце патриарха.

Толмачил царский драгоман Симеон, с подобострастной угодливостью снимая слова прямо с губ митрополита. Паисий же говорил неспешно, будто бисер и жемчуга выстилал пред собою. Знать, дорого ценил себя.

— Царя сам Бог помазывает на власть. Тебе ли не знать. И всяк на земле, каким бы почетом ни был отмечен, он всегда лишь слуга государю и всеми благами земными ему одному обязан. И кто на владыку своего лишь посмотрит косо... Посмотрит лишь! — Паисий вздел палец, — того из сана извергнуть можно.

Большой палец сразу рубить надо, без промедления. Чтобы не загнила вся рука. Чтобы иным не повадно. Ответь мне по-евангельски: проклинал ли ты царя? Да-да, нет-нет. И не уклоняйся, прошу, от чистоты признания.

— Я служу за царя молебен, я здоровья и долгих лет ему прошу, а не проклиная на погибель, — сдерживаясь, ответил Никон и с какой-то мольбою во взоре, не от растерянности даже иль негодования, с тоскою и вопрошением перевел взгляд на спутников, ожидая хоть от духовных какой-то поддержки и объяснения, чтобы разрешить недоумение: де, с каких земель, каким ветром принесло на Русь этого предтечу, сатанинского шиша, что взялся судить Отца отцев. Афанасий, архиепископ астраханский, встретил взгляд Никона строго и торжествующе, на впалых, изможденных щеках его проступили клоквенные пятна.

— Как же не проклинаешь? — воскликнул Паисий, с возмущением повышая голос, и развел руками. Червчатый шелк мантии с аспидно-черным подкладом зловеше всплеснулся, как крыла. “Таким и явится на похвалу грешникам козлище Вельзевул”, — подумал Никон; сердце его заиграло. У него ныли истомленные за день ноги. Патриарх подпер себя посохом. — Царю ведомо! От царя не укрыться и в мыслях. Ты привел ужасное проклятие псалма на самодержца, чтобы супруга его стала вдовою, чтобы законные дети их осиротели...

— Слушай, зачем не говоришь со мною по-гречески, на родном своем наречии, а по латыни, на проклятом козлином блеянии еретиков? — спросил неожиданно Никон, чтобы сбить судейский тон.

— Но ты и сам услышишь этот язык от папы, когда приедешь в Рим для оправдания себя по делам своим. Скажи, пожалуй, что общего между тобой и папой, от которого ты не получил ни патриаршества, ни благословения? И теперь переходишь к нему, ищешь у него суда по апелляции. Языки же не прокляты, когда в виде огненных языков сошел на апостолов Дух Утешитель. Не говорю по-гречески, потому что ты совсем не знаешь этого золотого языка. Но скажу тебе на ухо шепотом по-ромейски: ты, великий законник, откуда научился облекать в иноческое одеяние безбородых мальчиков?

И тут Никона допекло такое небрежение к нему наезжего смутителя, и он закричал, только чтобы оборвать мерный сладкий голос:

— Вор! нехристь! собака! самоставленник! мужик! Есть ли у тебя от вселенских патриархов ко мне грамоты? Не впервой тебе ездить, лжесловесник, по чужим государствам и мутить воду! Вот и здесь хочешь сделать то же! Зачем носишь красную мантию вопреки правил?

— Затем, что я из настоящего Иерусалима, где пролил пречистую кровь свою Спаситель мира, а вовсе не из твоего лживого Иерусалима, который не есть ни новый, ни древний, но третий, грядущего антихриста.

— Вор! Вор! Свой престол оставя, скитаешься, яко волк. — Никон застучал посохом, в аспидно-темных глазах его зажглись кровавые искры, косматые брови встали торчком. Он надвинулся на Паисия, сделал решительный шаг навстречу, будто собрался пригвоздить строптивца железным осном. — Окаянный человече! Что ты, как свинья, рыгочешь на Божии законы ради скверны своей...

Паисий Лигарид побледнел, но голос его не дрогнул, оставался язвительным, медоточивым:

— Меня напрасно ты обзываешь вором. Ты бесчестишь не меня, а великого государя и весь освященный собор. Я отпишу о том вселенским патриархам. Я бы тебе ставленную грамоту показал, но теперь ты не патриарх. Ты достоинство и престол самовольно оставил, а другого патриарха на Москве нет, потому и грамоты к Московскому патриарху у меня нет.

— Я с тобой, вором, ни о чем говорить более не стану! — перебил Никон. Паисий улыбнулся язвительно, как бы плотнее запахнулся в мантию и, отойдя в угол келии, с пристальностью впериł взгляд на патриарха, удивляясь его телесной мощи. “Господи, — думал Лигарид, — какое чудище, безумец, прямо какой-то одноглазый циклоп из финикийских пещер. Бедный, бедный царь, каково ему досталось”.

Лигарид покачал головою.

А тем временем приступил к Никону князь Одоевский с тем же пристрастным вопросом: де, пошто, святитель, положил на государя клятвенные слова.

— Клятву я произнес на обидящего меня Романа Боборыкина...

— Тогда зачем клал жалованную государеву грамоту под крест?

— Клятву произнес на Романа. И поделом, — стоял на своем Никон. — А если вам мнится, что я лгу, так пусть буду я анафема. Вам мало этого свидетельства? — снова поднял голос Никон, так что и на воле, наверное, было слышать. — Вам сладко меня допирать, как немилостивец Кайафа Спасителя. Хотите меня унижить при этом блудодее, воре и святотатце? Так вы, немилосердные, почитаете Отца своего?

— Отца-то мы прежде крепко почитали. Да нынче нету для нас его. Ты сошел с места, так и живи в тишости, как простой монах, а не мути землю. И вот опять на царя клятву положил. И чего неймется?

— Не клал я обидящей клятвы. Я за великого государя на молебствии Бога молил. Вот я какую молитву читал во здравие. — Никон скрылся в опочивальне, вернулся с тетрадкой и начал было читать моление за царя.

— Вольно тебе показывать иное. Ты на молебне говорил из псалмов. Все слышали, — настаивали бояре. — Негоже, не к лицу патриарху блудословить.

И тут Никона допекли, и с горячкой в сердце вскричал он:

— А хотя бы к лицу государя и говорил! — вдруг признался Никон. — Да за такие обиды я и теперь не стану молиться! Приложи, Господи, зла славным земли.

От этих козун свет многих елейниц под образами изогнулся в тоске, готовый захлебнуться, и чужие тени невразумительных существ, проникнув в распахнутое косящее окно, поползли по мошным стенам келейки, изгибаясь в пазьях. Пронзи молонья в эту минуту потолок, то и она бы настолько не ужаснула послов, как поразили внезапные слова Никона. Одоевский на время вроде бы потерял голос, его отечное дряблое лицо, принакрытое плоской рыжей бородою, налилось мгновенным сизым румянцем, как от удушья. Наконец справился с собою и хриплым шепотом спросил, думая, что ослышался:

— Так ли тебя понял, Никон? Ты великого государя готов ныне проклясть?

— Да-да... Он закона Божьего не исполняет, он в духовные дела учительские вступается..!

— Ой-ой, — покачал головою боярин, искренне жалея Никона. — Ведь ты, неблагодарный, забыл премногую милость к себе и почтение государя. И ты не боишься праведного суда Божия за такие непристойные речи?

— Не тебе меня лаять! Мне бы дожидаться лишь собора, и я великого государя оточту от христианства. У меня на письме уже все изготовлено!

Бояре переглянулись с духовными. Потерял Никон разум, не ведает, оглашенный, что творит. Вот и лицом счернел, как басурманин, и губы в накипи, а на висках набухли вены, как червие. Из-за плеча князя Одоевского вскричал зло и надсадно окольничий Родион Стрешнев:

— Да за такие-то речи, знаешь, что? Ежли б не чин твой, мы б тебя нынче живым не спустили!..

— Тьфу на тебя, потаковник прелюбодеям, — ровно, без ярости осадил Никон окольничьего и, небрежно отвернувшись, спросил у архиепископа Афанасия: — Какой у вас теперь собор, и кто приказывал без меня его созывать?

— Этот собор мы учинили ради твоего неистовства. А тебе до собора и дела нет. Ты достоинство свое и патриаршество оставил.

— Я патриаршества не оставлял! — вновь вспыхнул Никон, наполняясь гневом.

— Да как не оставлял? — настаивал Афанасий. — Не ты ль писал царю, что как пес на свою блевотину не пойдешь, и назвал себя бывшим патриархом.

— Я и теперь великому государю не патриарх! — загремел Никон.

— Тогда и нам ты не патриарх, — потухнувшим голосом заключил князь Одоевский. Уж три часа шла пря, поизустили послы с дороги, а это словесное торжище и вовсе выбило из сил. А чего коториться? коли бежал из мира, сошел со стулки, так и живи по себе, не торгуя безумным словом, чтоб не досадить невинным. Князь с жалостью смотрел на Никона и говорил напоследок, как решенное. — Достойн ты, Никон, за свое неистовство ссылки и подначальства крепкого, потому что делаешь многие досады и в мире смуту...

— Вы к Отцу пришли, к исповеднику! Вы поклонитесь до земли, испросите духа моего. А вы не-е... Вы пришли на меня, как жида на Христа! — Никон застучал посохом. Князь Одоевский еще хотел что-то добавить, но не мог пере-

несть патриаршьего крика, повернулся к двери и пошел прочь. Последним поднялся с лавки Паисий Лигарид. Он миновал Никона, как мертвое дерево, и словно бы призакрыл красной мантией выходящих послов. Никон опустил в креслице, призамгнул очи, в глазах еще стояли алые сполохи. Наконец-то, обвеивая лицо, в окно потянуло ночной спелой прохладой, и так неожиданно заблажили, подали весть в монастырском птичнике первые петухи...

* * *

Другой день был воскресенье. Прибывшие власти пошли в церковь помолиться. Никон служил у себя в приделе Распятия молебен и, читая Евангелие, стал толковать шестую песнь: “Роман Боборыкин, иуда и злодей, привел на мя злого митрополита, аки Каиафу. — И вся братия поняла, что имеется в виду Паисий Лигарид. — Вчера этот Каиафа явился ко мне в келию, выраженный в платье, как немка, и многие фарисейские слова на меня воздвиг и хотел ударить меня в ланиту. Занес было руку на вашего патриарха!.. Настал последний срок! Вот уж пришла воинская спира, явились в суд Ирод и Пилат, а с ними и Иуда предатель, приблизились также архиереи Анна и Каиафа...”

Речи эти были записаны послами и немедленно отправлены в Москву с нарочным. Вечером вокруг монастыря была поставлена стража, ибо Никон задумал было бежать и уж приготовил себе самую легкую повозку; но бегство заметили, и вокруг кельи Никона встали московские стрельцы с мушкетами и бердышами.

Утром двадцать первого июля, когда ударили в монастырский колокол, призывающий братию на послушание вынимать из печей обожженный кирпич, и Никон собрался по обыкновению идти туда на работу, к нему явился думный дьяк Алмаз Иванов и сказал: “Тебе, Никон, из монастыря отныне никуда не ходить, а сидеть бы в келье”. И с того времени куда бы ни шел Никон — в церковь ли, иль к каменному делу для осмотра, за ним следовали десять человек стрельцов с ослопьем.

Вернувшись из Воскресенского монастыря, послы представлялись государю, и Алексей Михайлович, взглянув с улыбкою на Паисия, вдруг спросил: “Ну что, видел Никона?” — “Поистине лучше бы мне не видеть такого чудовища! — отвечал газский митрополит. — Лучше бы я хотел быть слепым и глухим, чтобы не слышать его циклопских криков и громкой болтовни”.

Тем же днем Паисий Лигарид писал в Рим близкому другу: “Никон любит снимать с себя портреты и всегда в великолепном виде. Прежде чем пришлось увидеть мне пресловутого Никона, я чрезвычайно любопытствовал насладиться своими глазами его образом, и искал увидеть его хотя бы в обманчивом портрете. И когда увидел портрет его, написанный одним отличным немецким художником Иоанном, моим приятелем, то онемел, подумав, что вижу исполина, иль циклопа, и почел счастливыми слепорожденных за то, что они не могут видеть такого зверообразного человека. Если бы кто внезапно увидел Никона, ему почудилось бы, что видит дикого волка... Посмотри, ради граций, на голову Никона: какая она огромная и толстокожая! Кстати было бы надписать: какая голова, а мозгу в ней нет! Посмотри, как чернеются волосы его, словно у ворона или у борова! Посмотри, как узко и морщинисто чело его — признак ограниченности и подозрительности. Длина его тела свидетельствует о его безрассудности; нависшие брови показывают жестокость; длинные веки — бесстыдство и болтливость; длинные уши — горечь речи...”

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утешься, братец: без стыда рожи не износишь.

Со святым словом шел на патриарха, как на демона, ног под собой не чуял, и думалось: все устюжское петье наявливает благовест лишь тебе одному, и тароватый стозвонный город скрутился в один судный свиток, чтобы предтечу антихристов, как малую мушку, замкнуть в себе. Пусть, де, засохнет на веки вечные.

Целитель Пантелеймоша спровадил: иди, Феодор, и врачуй, изцеляй души,

покрытые ступьями. Сам сатана до тебя со всей стражею, а ты на него с молитвою. Дерзай и не трусь. А пал под коньки копыта, как гриб трухлый, и никто не спохватился, не заблажил, и бесам отдав на потраву, как вола под ярмом, вздевши за губу, потянули они тебя ко аду... Бросайте камение-то! Тащите смолье в костер и бересту, валите усердней сушинник, чтоб пламя взнялось до самых небес, чтобы облизало плюсны Господни, и чтоб душа моя, очищенная огнем, растеклась слезою подле престола...

...У-ух! Вроде как сердце вынули из груди. Какая-то непроглядь крутом, волна, как вар, черная, с белою оторочкой на гребне; она сволакивает Феодора в кипящую жуть, на дно провалища, и в том проране, как на дне колодца, просвечивает лицо Никона, еще молодое, не пригрубое от натекших морщин, но с мягким умиротворением в глазницах, какое бывает у мертвых... Вот и славно! прибрал Господь шиша, прихлопнул крышею и ужом с-под нее не всползть, так тесно припечатал.

...Но со дна морского молит монах: "Спа-си-и и спасен будеши". И тут вдруг ангелы слетелися, словно майские тугие шмели, покрытые золотистой пылью, и что-то радостное, не передать, слитно воспели над самым ухом. Один жалостник уселся на горле и давай деловито точить, прободать хоботьем кожу, норовя вынуть сердце...

От этой истомы и очнулся Феодор и сам себе подивился. Лежал он у ограды на горсти соломы, как пес подзаборный. Хотел воспрянуть, сбрыкали цепи: оковали бедолагу, приторочили к входному крюку, будто речную насаду к прибегищу; ни вскочить, ни побежать, но всякая живулинка по тебе, и всякая дождевая потока под твой бок. Сам себя пообсмотрел юрод в сумерках, худо соображая, где он, и подивился, с каким тщанием обюзили его; на шее кожаное огорлие с железными плащами плотным хомутом, на запястьях кованые браслеты и на щиколотках прихваты на заклепках. Эк опеленали. Старался кузнец, прикодолил блаженного к матери-сырой земле. Общупал себя Феодор — и не взволновался; помнится, как впервые на Мезени оковали, сколько горя тогда перенес; стыдоба, как ржа, долго ела сердце, все мыслилось, что каждый пальцем вослед насмешливо тычет и позоры той не снести. А нынче все путы проверил, и цепи на три раза поднял и рассыпал с шумом, стоя на коленях. Потом поднял лицо в небо и с улыбкою тонко проскулил. Вверху тучи сбивались в станицы, там волочились влажные космы, сбирались в копны, в валы, предутренний ветер шерстил деревья, сыпал на страдальца пригоршни листьев и редкие дождевые капли. Как лодейный фонарь, просверкивала редкая утренняя звезда и вновь западала в серую наволочь, будто упрятанная в зепь неведомого алчного бродяги. Но здесь, над землею, тонкий свет стлался, сочился из глубин; то над каждою травиною, как над безгрешным небесным созданием, Господь возжег потаенные плошки.

За оградой вдруг пролился на камешнике студенец, слышалась невнятица глухих голосов, сырых, сиповатых с ночи, кто-то из неведомых подорожников пил из святого кладезя; скрипнула на реке уключина, ударилось о днище посуды кинутое весло; наверное рыбарь проверял снасть. Народ оживал, торопил новый день. Но черные копны скитских изб были еще настороженно темны, волоковые окна наглухо задвинуты досками, и лишь в келеице настоятеля звериным глазом тлела свеча в стоянце, иль забытая уснувшим монахом, иль поставленная в проем для особой вести.

...Притомились быки от блуда. Забывши Бога, почивают страмники. А закоим меня-то на Суну-реку притартали? Что за экая нужда приперла? — вдруг поразился Феодор, наконец-то оразумев, где он. — Что за промысл меня, такую падаль, сюда волочить? Притянули для мести, не иначе. Ну да, распять хотят. Иль сердце мое истолочь да выпить в вине. Иль обавник Никон, осердясь, епитимью на меня возложил. — Юрод напярэг память, но спор с патриархом вспоминался туго. Как бы в набухшую шишку на темечке утекла вся прежняя жизнь. В маквице пульсировало, желвак рос, словно дерево. Феодор подполз к стене, притерся спиной и головою, протянул ноги. От еловых палей в затылок натягивало сырью; голова превратилась в студень, и боль отступила.

...Топором, что ли? Мучители! Иродово семя! Ишь ли, восхитили чужую славу и устроили хлевище. Сколько железа вздели, а мне не в тягость. Давно ли пел: "Научи меня, мать-пустыня, как Божью волю творить..." А попал в котовье

блудилище. Где овцы были прежде, там свиньи стоят. Допрежь Никон им — первый потаковщик и смутитель. Ишь ли, вбил в бедные головы, де, по гнилой старой вере жили. Де, старики наши с ума посходили, кстась двумя персты. Вот и заторопились исхитники, поскочили во ад, обгоняя друг дружку да похваляясь пред сатаною, кто предрзостнее Господа нашего искастит. Этим-то еретникам, что Иуду признали за батьку своего, нынче вовсе малина; не жизнь, а сахарная голова с медом, да вишенья в патоке. Блажи да греши на пуховиках с девками — и так славно; одно слово — свиньи лесовые.

...Почто не убил-то? Промзил бы шилом гортань его, чтобы не вскрикнул боров! — вдруг кто-то невидимый дал совет. От такого внезапного желания юрод застонал. Под него неслышно подтек ручеек; уже налило с неба. Феодор поелозил ладонью в лужице и провел пятернею по лицу, размазал грязь; жидкая земляца вместе с травяным сором застряла на бровях.

— Почто не убил-то? — повторил вслух. Слова горчили отравою, были красными, как бычья кровь. Случилось же однажды, что оживил. Знатье бы, дак... Ну и что? Бог услышал мое оветное слово — и оживил. Из мертвых поднял нам в испытание. Бог-то знал, кого спосылывал на Русь с того света... Ведь не ты Никона оживил, Феодорушко, а Господь Бог! Эк ты вызнялся, полоумный. Чай ошалел? Хорошо по башке опавили. Кто ты такой, чтобы казнить? Самого Отца небесного заместить восхотел? Прыгнула лягушка на кадушку, да очутилась в квашне... Знать, не время было прибирать. Создатель рассудил... Вот отец Александр за волосье и вытянул из воды. Бес беса выглядел — и спарились. Сейчас пиво-брагу пьют из своих лагунов, да одного дьявола чтут. Ах, как бы ладно их в жаркую баенку завести, да на огненную лавицу разложить, да раскаленным веничком по бачинам хорошенько попотчевать, чтоб один день показался за тыщу лет.

...Дождь пошел ровный, с натягом, без ветра, и скоро на дворе налились лужи с пеною и пузырями, похожими на лягушьи глаза. Пусть запоздало, но сумерки раздернулись, скит ожил, захлопали двери, на волю выскакивали простоволосые босые монашены с подоткнутыми рясами, спешили в дальний угол двора к заходу, накрывая голову рогозными кулями. К юроду, потупив взор, подошла монашена, по самые брови повязанная черным платом, молча поклонилась, поставила на землю подле ног Феодора оловянную мису с гречишной кашей. Недолго постояла — и ушла. Феодор сидел, плотно замгнув глаза; по лицу лились дождевые потоки, а он улыбался, и сквозь извоженную грязью серую кожу, плотно присохшую к скулям, проступило вдруг что-то от давнего поморского отрока Минейки, так любимого матерью...

Дождь полоскал монаха-страдника, а он внезапно вспомнил баню впервые за многие годы, но не ту, адову, что обещивал Никону и всем слугам его, а домашнюю, в подугорье, возле шарка. Жарко и блаженно стало утробе юродивого. И себя в мыльне увидел, поди, лет трех, иль чуть поболее? ему стало страшно оставаться в сенцах одному в приступающем осеннем вечеру, когда вся нежить скопилась в углах предбанника, урча, попискивая, скаля зубы, сверкая красными глазищами; и вслед за бабушкой Марьей вполз в мыльню и Он, мохнатый, как рукавица, ростом, поди, с редьку, и сивая борода волочилась сзади хвостом. Бабушка плотно, с потягом прихлопнула дверь и прищемила бороду баннушки, но старичишко не вскричал, не завопил истошно от боли, но оборвал остатошний волосатый вехотек, и он поначалу свалился под порогом, а после просочился сквозь плахи. И вдруг в мыльне зашипело, зауркало, заскворчало, будто сковорода со шкварками, жаркий туман пробился длинными жгутами возле дверной колоды в пазье и с намокшего потолка закапало. Забывшись, Минейко подставил ладошку и, набрав в горстку баенного дождя, выпил: вода была пресной, горьковато-дымной и не походила на квас. И тут за дверью всхлопало, как бы взгромоздилась на нашесть огромная тундровая птица-сокол, коих не раз принашивал из походов татко, и они подолгу жили в ящиках на повети до поздней осени, и принялась эта птица махать крылами, взвизгивать, ойкать и что-то ужасное покрикивать. Ой, поди, нетопырь ужасный бабушку клюет, да крылами подначивает, да к глазонькам ее приступает, норовя выжалить. Представил Минейко в густеющих сумерках свою несчастную бабоньку Марью, как демоны-то ее охаживают бессердечно, и заторопился отпахнуть набухшую дверь. Но она не поддавалась. За стеной же страшно так завозились, знать, друг друга кулаками потчивали и, значит, бедную бабусю с ее

тряпошными ручонками вовсе выпотрошили. И Минейко, жалея стареньку, горько заплакал, елозя ладошками по глазам. “Родненькая, родненькая ты моя”, — всхлипывал он в уже полной темноте, и сердечко его заходило от страха и любви. Но тут мама Улита спасла: она вошла в предбанник с зажженной лучиной, воткнула в светец и, охая, поспешила в мыльню. Бабушка, эта великая парильщица, эта столетняя кычка, лежала на полу, с нее была содрана вся кожа, а тело сплошь обито кровию, словно бы это была освежёванная оленья туша. Старенькая, присогнутая к земле, как кочедык, она была властно поставлена дочерью на ноги и выведена в сенцы. У бабушки на голове нахлобучена высокая оленья шапка с завязанными ушками, на руках кожаные верхонки. Она едва переставляла ноги. В распахнутую дверь Минейку окатило непродышливым жаром, но он устоял и с нетерпением уставился в сумеречные углы, едва освещенные фонарем, отыскивая баннушку, но тот затаился в своем схороне.

“Спасибо тебе, баенко, на доброй банечке”, — ласково, истомленно прошамкала бабушка Марья и от порога поклонилась невидимому хозяину, которому совсем недавно ненароком прищемила бороду. О бабушку можно было обжечься, словно бы раскаленную кочергу протащили мимо. Но старушка отчего-то не вопила от боли, а улыбалась во все крохотное личико, собранное в грудку, и приголубые глазки с бордовыми веками сияли, как у младенца. Обвиснув в дочерних руках, она вдруг игриво захихикала, ущипнула внука за щеку и поцеловала в лобик. “Ягодиночка ... белеюшко ты мое”, — добавила она и прижала головенку его к пылающему животу, с которого баенный хозяин только что содрал кожу. “Ты что, малипонная? От старая, — боршала маменька Улита, обряжая бабушку в холщевую исподницу до пят и заворачивая в баранью шубу. — У тебя, поди, не сердце в груди, а железный шкворень... Сколь же сильны есть люди. Нам-то эким не бывать. Мы глиняны”, — протянула Улита с неожиданной грустью и, как малое дитя, поцеловала старую мать в мокрое темечко со слившимися редкими волосенками...

“Спасибо, баенный, на доброй банечке, — прошептал юродивый, скитаясь памятью в далеком далеке; и там, в прежней откатившейся жизни, он — уже отрок, распаренный изрядно, с нежно-разгоревшимся лицом, розовым, как цвет шипичника, выходя из мыльни, кланяется баенному хозяину, как, бывало, бабушка Марья, покоенка, и ставит под полук плошку щёлоку горячего, да бадейку воды и веника березового охвостыш. — Как нас ты урядил сердешно, не затая злобы, так и себя охичь, жадобный”.

* * *

— Чего не ешь-то? Иль брезгуешь? — спросил настоятель и носком сапога придвинул мису; посудина уже всклень налилась потокой, из нее выплеснулось на плюсны юродивого, исклеванные проточинами и язвами; в прорехах изветшавшего посконного кабата виднелась пупырчатая гусиная кожа, лиловая от постоянного озноба. Феодор приоткрыл застывшие неживые глаза, плавающие в памороке, и смолчал. — Слышь, ты? Глухня? Иль помер, братец? Иль отца духовного уже ни в чих? Де, поди, куда пошел! Проваливай, слуга Иудин! — Настоятель, с медоточивой, плавающей усмешкой на багряных напухших губах, снова подтолкнул мису с гречишной кашей.

Взгляд юродивого слегка оживел, осмыслился, и голос провещал, как из земляной норы:

— Свиньям своим скорми, бес. Лучше камение глотать за житни колобы, чем твою еству от твоего жабьего жестокого сердца.

— Они таковские. Их дело свинское. Они съедят. Что же ты на меня ополчился, сынок? — Голос отца Александра дрогнул. Настоятель зябко запахнул кафтан с овчинной опушкой, задержал руку на воротах; на указательном пальце лежал черный жук из камня-аспида с рубиновым взглядом.

— Спусти! Чего приторочил меня, как собаку, к будке?

— Не я тебя приторочил, а твой язык. Кого судишь? — Настоятель приопустился пред юродом, взгляделся в мрелое лицо духовного сына, снедаемого чахоткой. Не жилец, голубой, как снятое молоко; еще и не старый, а в бороде морозные струи. На губах парша... Чего ерестится без нужды? Явился к отцу, незванный

блудный сын, так поклонися, пади в ноги! А он вещает по весям, как пророк. — Ты пошто про меня дурную славу носишь? Я тебя пригрел, я тебя с младых лет пути наставил, а ты, как черный кобель, по площадям на меня лаешь. Дай слово, что не станешь дерзить?

— Славил и буду славить... Тебя бы на стогнах дубьем лупить, да не по разу. Тебя бы с цепью на шее, как медведя, водить на показ, — прохрипел Феодор. Осклизлое огорлие подсыхало и сейчас натирало кожу, выдавливало язык изо рта. Сглотнуть бы пену, да нет мочи. Слюна сочилась из углов губ, как у бесноватого. Феодор протиснул пальцы, хотел ослабить ошейник. Зазвенели, пролившись вдоль тела, цепи. — Спусти, мучитель. Я думал, ты Кайафа, а ты бес. Пакостник. Свою бесстыжую душу спровадил к чертям на гору, так и людей поманываешь за собою блудом. Эх ты-ы! Я тебя, бывало, батькой кликал. Родного отца на тебя променял. Я к тебе за тыщу поприщ сердцем рвался, как верные ученики за Спасителем. А ты вон что... Блудилище вырыл, да девок невинных в помойку ту окунаешь, будто в купель.

— Молчи, неистовый!

— А ты мне горло заткни кляпом, — пуще поднял голос юродивый, загремел на всю пустынь. — Иль язык отрежь. Мне и сладко!

— Загунь, ехидна. Еще успеется. Кого учишь, пророк? Ум потерявши, чего о себе возомнил? Я тебе ум-то скоро вправлю. Самое место на цепи. Цепь, да епитимья тебе во здоровье. Чтоб тыщу поклонов земных пред всякой трапезой! Слышь? Я велю будильщику за тобою считать...

Настоятель поднялся и, будто случайно, опрокинул ногою мису с брашном. Ему бы уйти, а он чего-то медлил, уставясь поверх остроконечных палей, где по небесному свинцово-серому прорану, очистившемуся от хмари, вольно гуляли вершины деревьев. Совладай вот с ними.. Топором лишь ссечь. Настоятель перевел взгляд на юрода: червь ничтожный растекся у ног. Юрод потерял опору и сейчас лежал на земле, исхлестанный дождями; вериги выпростались из-под кабата и свалились на клоч соломы, пригнетая к долу, как становой якорь, словно бы они, а не цепи, и приторочили Феодора Мезенца к входным воротам в кельи. Что-то завистливое кольнуло настоятеля, болезненно ущемило сердце. И червь, вроде бы, распятый у ног, а с крылами; душу-то Божью не распнешь, она у Господа под дозором. Настоятель брезгливо выпятил тяжелую губу, складки брыльев, как у старого скимена, обметанные седой волосней, опали на ворот кафтана. Он зачем-то деловито заправил конец длинной, в измороси, бороды за поясной ремень и, теребя седой завиток, вдруг спросил сурово, отвлекшись от тайных дум:

— Почто не убил-то? Рядом же был с каретой, дурень... Засапожником, абы шильцем. Потом спроси с юрода... Ткнул в проточинку, с ягодку крови, поди. Царю-то бы как угодил! И я бы простил за ирода.

...Сатана, ой сатана, — чуть не вскричал Феодор, удивляясь ведовской силе настоятеля. — Он тайные мысли мои прочел, ведьмак.

Но отец Александр уже потерял интерес к блаженному; подобрав руками длинный подол рясы, чтобы не заволочить в грязи, он неторопливо отправился в обход скита. “Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его”, — грозился настоятель, мысленно облакаясь в государевы багряницы.

* * *

Всю седмицу монашена Хиония приносила Феодору еду, но юрод не притронулся к выти. “Псу смрадному не подобает из мисы ести”, — отказывался он.

Однажды в ночи Феодор встряхнул руками, пытаясь унять телесную немочь, и железа сами опали с него. Феодор не удивился чуду, но шума испугался и, торопливо свалившись под стену, просунул руки в кованые браслеты.

...Признал меня Спаситель и не отдал на растерзание блудодеям... — От одной мысли блаженное тепло растеклось по измозгнутым чреслам... — Господь подскажет, лишь твори заветы Его. Однако выхудал я, как собачий мосол, стал тощей, что тебе бабье веретено. Осталось душу мою скверную, псиную вытряхнуть из груди. Каковьски еще надобно молить Всевышнего, чтобы прибрал? Все

нутро изболело, живого места нет. Иного человека хворями всего выдует, и станет он, что полая дудка-падреница, и примется он, плачучись, ежедневно просить смерти.

Бабушка-то Марья век дожила, и вся покрылась шишками, как старое дерево. Сначала приослепла, приоглохла, потом память всю растеряла, а после и вовсе слегла в запечье, как сушина. И об одном лишь плакалась: “Пошто я такая проклятая? Все подружки давно перемерли, а я живу, как заколдованная. Ма-монька, почто ты меня позабыла, за мной нейдешь?” А дочь Улита ей: “Нет у нас бессмертных, чего смерть торопишь?” Старенькая же напряжет оскудевший взор и жалобно восплачет: “Ой, мамонька, дай водицы испить”. — “На воды, мамонька”, — скажет дочь.

Воистину: что старой, что малой...

Вышаяла, вытлела бабушка еще при жизни, как уголек. В ямку-то снесли, а там и гнить нечему: восковые, нетленные косточки у таких благоверных. Они-то и встанут при Господе в первый день воскрешения. Бабушка в ночь померла, а утром пошли старухи со свечами душу ее провожать. И отрок Минейко, никем не званный, позади поплелся. Вывернули христовенькие из-за угла, а навстречу Еремей Окладников. И откуда взялся? Ой-ой, быть покойнику. Заберет бабушка Марья с собой спопутчика. С кем в юности колядовала, с тем и тайными заповеданными тропами по загробной жизни блуждать.

Все так и случилось.

...А мою-то душу кто придет провожать? Кто отчитает, кто воспоеет погребальные псалмы? Камень-яспис — основание Иерусалима: смирение и долготерпение краше драгих каменней. Бабушка, миленькая, пошли сил! родник мой заилился, нету прежней сладкой водицы промочить гортань. Весь исчервился, а в байну хочется. Тошно-то мне как, ой!

Тихо заскулил юрод, зачерпнул из лужи горстку воды, плеснул за ворот рубища.

Признайся, печальник! не пост томит, но стыд. Ноги — что копыта, и тело твое — как кость. Чему болеть? Но сердце же твое точит гордыня: де, приторочили пророка к собачьей конуре. Значит, и святой Пантелеймоша подал ложную вестку?

Притек однажды к воротам наперсник настоятеля Ефимко Скобелев; светился толстой красной рожей; будто ларешник. Ему бы за стойкой кружечного двора царить, а он, вот, в монастыре дьявола тепшит. Долго торчал молча, считал поклоны юрода, а сам качался с носка на пятку; нос багровел с сиза, словно гузно дятла; видно приложился намедни к рюмке, и вот оттаивал мужик. Глаза мутные, соловые, в них блуждала потаенная невысказанная мысль. Зипун расхристан, в проеме ворота бурая шея еловым окомелком. Дремотный человек, но при своей блажи живет, а норовом — лесовой волк. Борода смолевая, расчесана костяным гребнем на два рога, волосок к волоску. Забодать может. Для девок старался. Знать, любовался собою, блудодей, перед зеркалом. Считывая поклоны Феодора и перекидывая на четках зерно к зерну, чтобы не ошибиться, и сам вторил Иисусову молитву. Ах, проказник, Иудов поклонник...

Кланялся Феодор Мезенец, с усилием ломая хребтину, едва подымая пудовые железа, опутавшие его тщедушные мяса. Пасть бы, растечься в землю, как сладко! Господи, прими и не отринь. Феодор украдкой прикидывал за Ефимкой и шибко не любил его.

Малодушный, не жесточи сердце, ибо этим умаляешь себя. Твоя жизнь — праздник во имя Господне!

Праздник, праздник, — смиренно соглашался с кем-то юрод, с крайним усилием подымаясь с колен. — Но вижу, тяжело мне то веселье.

...Уже утренники пали, земля заколела, и мерзлые катыши, как сибирские орехи, точили с исподу мертвые плюсны. Вовсе негодящ стал человечешко, вовсе скорбен, сплошная жидь и невзглядь.

И вдруг, не дождавшись конца епитимьи, тихо молвил Ефимко:

— Несчастный... Тяжко тебе? Чего мучаешься, чего ради? Единова живем. Сладости не раскушал, а уж проклял ее заради горечи. Экий ты, право, гордец. Сам себе замутил голову, да тем и тешишься, дурень. Себя сломал и других томишь.

— Испугались? — злорадно засмеялся Феодор, и цепи, оковавшие его, показались вдруг пухом.

— Тебя, что ли? Ты тень, — равнодушно ответил Ефимко, но взгляд увел.

— Тени-то и боятся. Тени-то нету, дак мертвый. Иль не слышал? — с трудом ворочал языком юрод; ошейник пережимал гортань, язык не вмещался во рту. — Вот и ты, вроде жив, а уж без тени. Тень-то украли черти...

— Дурак... Экий дурак. Мы тебя учим, чтоб втемяшилось...

— Коли не страшитесь меня, дак сыми ярмо. Не пес ведь я. И я человек, — смиренно попросил Феодор, стоя на коленях. — О двух ногах, о двух руках и при живой душе.

— Ты смердишь гордынею. Перестань учить. Чего вбил в голову? Ходишь, блудишь, людей с пути сымаешь. Кто тебе дал право? Христос, что ли? — вдруг тепло заговорил Ефимко, без обычной злобы, и в лице, по самые глаза обросшем смоляным волосьем, проявилось участие.

— Ну, дак сыми ярмо, — вновь попросил Феодор. — Куда денусь? Седьмицу не ел, язык распух. Как гиря.

— Да и то верно... Убежишь, дак слуги Никона обратают. Велено сыскать, — согласился Ефимко. — Ну, дак поклонись нам?

— Поклонюся. Чего заради на пути стоять, — легко согласился Феодор, веря своим словам.

Ефимко распил сыромятный ошейник, взвесил в руке отросток цепи, словно бы собирался перепоясать ею зловредного супротивника. Но бережно повесил его на крюк и пошел прочь. Феодор, стоя на коленях, жалобно подвыл ему вослед. Монах-приворотник погрозил юроду ослопом: де, не балуй, пес. Как странно! он, Феодор, явился в мир учить людей Божьей правде, но все шпыняют его, как последнего опойцу иль тварь безответную... Ой-ой, безумные слепцы, спешащие за слепым пастырем.

Ночью, светя слюдяным фонарем, монаха-привратника сменила Хиония. Помедлила у ворот и вдруг подошла к юроду, шурша мерзлой травой; свет качался по земле, и юроду, лежащему возле стены, виднелись лишь чоботы и подол длинного зипуна, подбитого овчиною. Феодор не знал верно, что идет Хиония, но по вкрадчивому стелющемуся шагу и по тому неисповедимому духу, что отслаивается от всякого человека, он уже признал монашену и против воли разблажился сердцем...

Ой, монасе, монасе, ты же, как ярая восковая свеча, испускающая свет, остаешься хладным изнутри, потиху истаивая в стоянце. Тело твое мертво, как нагая кость, но отчего кровь твоя ярится, как стоялый мед?

Хиония приблизилась к юроду, поставила на землю фонарь, сказала тало, смущенно: “Братец, подвинься”. Господи, чего просит? Да разве мало кругом земли, уже принакрытой легкой порошею, настуженной до самого чрева? крохотной западинки хватит человеку, чтобы улечься в ней, как в зыбке. Так нет же, явилась, притворщица, с неведомым умыслом и вкрадчиво прошелестела: “Братец, подвинься”. И еще не успел отозваться Феодор, как монашена самовольно легла рядом.

Ой, вавилонская блудница о восьми сосцах, ты и самого лютого праведника вгонишь во грех. Закоим травишь душу страдника, что одною ногою уже в могиле? какие соки пробуждаешь в его жилах, чтобы они воспрянули и заиграли? мало тебе Ефимки, сатанина подручника, что всякую ночь играет на твоих губах, как на флейте, испуская котовьи стоны. Ах ты, блядка, блядка...

Меловой, изжелта, круг лежал на земле, в зыбком свете фонаря дрожали, опадая, белые мухи; теряя крылья, они ложились льняным саваном, обряжали мир в погребальную исподницу. Юрод молчал, затаившись. Ах, как бы и сердце зальдить? Феодору казалось, что стук неустанного дятла слышен на сто попрещ вокруг. Темь полунощная звенела, играла, как свирель. И вдруг грошик луны выскребся из-за хмари, проредил облако, серебристо разжижил ночь, и почти вплотную юрод увидел мертвенной белизны лицо Хионии.

“Пусти, братец, погреться”, — прошептала монашена, вроде бы не размыкая губ. Глаза в синих обочьях казались провалищами, будто у покойника, и из них истекали пустота и холод. Такие привидения на погостах пугают христовеньких, слабых сердцем, и доводят до падучего обморока. “Блазнит? мерешит? иль черти

явились меня вязать, подослав подговорщицу? иль с того света явилась неприкаянная, чтобы схитить чужую душу и поменять на свою, пропащую?"

Но Феодор не почуял ни страха; ни отчаяния, и та толока, что, как пыль, пронеслась в голове, успокоила его сердце, уже давно готовое к самому худшему. Это другим мог бы воскликнуть Христос: де, крепись, монасе, до смертного сна брести тебе дорогою испытаний.

Звения цепями, чувствуя, как они ускользают с запястий, юрод протянул руку и коряво провел по лицу монашены, по упругим, как репа, еще неиздрябшим щекам, по напухшим губам: он как бы размазал ладонью обличье и брезгливо отпихнул обратно в ночь. "Изыди, распутница! — выкрикнул злобно. — Сгинь, бесстудная блядка. Всех котов приветила в сем соромном месте". Монашена вновь настойчиво подалась из темени навстречу, глаза уже были гуще чернил, блестящие, налитые слезою.

"Не гони, братец, глупую бабу. Прости падшую. Ты не простишь, дак кто простит. Смилуйся, праведный, и спаси", — бормотала монашена, торопливо наискивая истерзанную руку Феодора с кровоточащим запястьем, и вдруг прижалась губами к его запаршивленным пальцам, похожим на древесные коренья, и стала целовать их. Юрод вздрогнул, но руки не отнял. Сердце его онемело, остановилось.

"Что же ты, блудница, а? Нареклась же Христовой невестою, в белую срачицу облеклась, бесстудница, и всю испачкала гноищем своим. Лучше бы ты прижгла каленым железом срамные места, как делают скопцы, дак те-то муки в благо. Они бы зачлись на Страшном суде, — уже с жалостью увещевал Феодор страдалицу. Он не видел лица Хионии, но слышал, что монашена плачет, и слезы ее были искреннее всяких обещаний. — Лучше в омут, чем так-то. Слышь? Господь простит. Сразу чтоб. Дыханье запрудь — и вознесешься..."

"Грех-то какой..."

"А эдак-то не грех? Любодеи никогда не переступят врат небесного града. — И вдруг открылся Феодор: — Пойдем со мною, сестра".

"Братец мой! Ты же, как собачка, в юзах. Бедненький мой".

"А гляди-кось!" — весело воскликнул Феодор, вспрыгнул на ноги и встряхнулся. Железа опали на землю к ногам, монах переступил ковы и пошел к воротам. Хиония и не удивилась, но, как в опое, послушно отправилась следом, светя фонарем, вынула из проушин толстую заворину, отворила ворота. Тут ветер откуда-то взялся, крутя порошу, и задул фонарь. Темь объяла и скит, и чернцов; и аспидное небо дресвяной плитою призахлопнуло землю, так что ни просяного зернышка света не источалось с небес. Мелкий ледяной снег хлестал, больно нажигал лицо монашены. Она прислушалась, не зная, куда идти. Ей стало страшно. Хиония ухватила за колоду ворот, но ветер выпехивал ее со двора. "Господи, просвети меня!" — взмолилась она. Внезапно просверк голубоватый разъял небо, и на сиреневом лугу появилась Госпожа в белом и поманила к себе рукою...

"Сестра, где ты?" — донеслось глухо.

Хиония торопливо захлопнула дверь, затаилась. Она слышала, как скребся в полотно юрод, гремел веригами. Монашена плакала. Госпожа в белом медленной ступью спускалась с небес к земле. Хиония переждала, отворила ворота, благословила в ночь: "Братец... Господь с тобою".

Снежная крупа иссякла. "Лучше в омут, чем так-то", — утверждаясь, воскликнула Хиония и, нащупывая чоботками тропу к реке, пошла навстречу неудержимому упругому накату полой предзимней воды. Хрустнул под чоботком тонкий закраинный ледок. Госпожа в белом протянула Хионии ласковую руку и повела за собой.

...Господи, помилуй, Гос-по-ди-и, по-ми...

* * *

Легче верблюду пролезть в игольное ушко, нежели христовенькому угодить во врата Града небесного. Зачтутся ли мне все страдания в будущем веке, те тесноты и лихости, что перемог я во имя Искупителя нашего? Не околел вот, не

измозгнул, не истлел под крестом в острогах и на ямах, и на поречных сибирских становьях под казачьей вахтою, в осеннюю мозглеть и в снеговую паделу, и под палящим солнцем, и семью доволоков со всеми чадами и домочадцами, — значит, пасет меня Сладчайший, благоволит, терпит нуду, и грехи мои, и слезы.

...Как славно, однако, в зимнем Устюге, уряженном голубыми снегами, где золотые купола в небесном водополье будто незамутненные солнца горят; стряпнею пахнет, кулебяками с палтосиной и сигаами, печным дымом и саламатой; пред Филипповками вроде бы в последний раз в жизни утоляется русский человек всякой искусной снедью, празднует плоть, удовлетворяет прихоти сердечные, чтобы до Рождества уж не искушаться более земными радостями.

...Оставил Аввакум семью свою на подворье соборного протопопа Ивана, а сам в город побежал вприпрыжку, словно и не сломал из сибирей адов путь; ноздри хищно раздувал, и, заломивши на затылок овчинную еломку, топорщил котовьи, с рыжиною, усы, и бороду вострил, грозя пронзить всякого встречного. Ах, Русь-Русь! — со слезою, умильно думал, — здесь и воздух-то пахнет репою, здесь и тени-то бегут по забоям живые, неразлучные от человека, тут и снег-то скрипит, как погудка гусяра. Жив, Петро-вич! про-ку-рат!

У собора на паперти юрод гремит веригами, колотит задубевшими пятками по ледяным колобашкам, из сопревшего вретища, накинутаго на нагое тело и вставшего на морозе коробом, выглядывают сизые костوماхи; и изжитые ручонки — будто ивовые прутья; над рогатиной ключиц — густая снежная бахрома ожерельем.

Святая Русь, пасут тебя неустанные Христовы воины.

Возле юрода толкуются несколько зевак; бабы в зипунах, да прошаки в тряпье. Кричит юрод, призамгнувши больные глаза: “Толкуют жидовине, продавшие Христа, де, Господь Бог един и трое в одном. Не верьте, православные! Ту блевотину изрыгнул из поганных уст своих треклятый Никон, пес подпазушный, верный сатанин угодник. Сами обмозгуйте! Толкуют, де, сидит Вседержитель на престоле, а в утробе его сын Исус. Абы в печенках сяде, иль в коленках, иль в другом каком непотребном месте, — того не говорят. Сами, еретники, извращились, да и нас, верных рабов Божиих, толкают в тую погибель. Сами впадают в огонь и серу, да и нам тую постелю адову постилают. Видел, христовенькие! Сам видел, как вот вас! Сидят на стульях Творец наш и Сын его, и Дух Святой, сидят и беседуют, как детки любезные подле батеньки. И никто ни в кого не пехается, но детки батеньку своего слушают и во всем ему потакают...”

Воистину, устами блаженного Господь доносит истину, отвращает благоврных от пути погибельного. Вдоль и поперек не по разу пересек Аввакум святое писание и всякий раз на одном спотыкался, и не мог принять в толк: как это Святая Троица, будто зверь некий диковинный, сочиняется в одном, воплощается в одно естество. Ежли на икону богомаза Рублева глянуть, то и слепым очам видно: сидят Отец с детками за столом и беседуют о духовном, помышляют о рабичишках своих, как бы их вернее поспасти.

...Взошел Аввакум на паперть, строго ухватил юрода за плечо, приказал властно, будто рабу своему: “Пойдешь со мною!” — “Это ты ступай за мною, — ответил Феодор Мезенец. — Ты восстал от гнева и гордыни, а я от жалости и печали”.

...Через двенадцать лет после ссылки опальный Аввакум с семьею в середине декабря возвращался в Москву. В одних санях с ним ехал и Феодор Мезенец.

ГЛАВА ПЯТАЯ

“Виноград церкви русской”

“...В пределах олонецких и архангельских учили: епископ коломенский Павел, сосланный в Палеостровский м-рь; Досифей, бывший игумен Никольского Беседовского м-ря неподалеку от Тихвина, скитавшийся с проповедью о расколе по разным местам; в г. Олонце богатый купец Александр Гуттоев; клирик Елеазар; в Каргополе безграмотный поселянин Леонтий, его дети Авраамий и Андрей; Иоанн Иулианин; писарь прикупной палаты в Каргополе Козма Прокопьев; вы-

шедшие из Соловецкого м-ря иноки Епифаний, Савватий, Герман, Иосиф, по прозванию Сухой, диакон Игнатий; в заонежском Поморье скитался по пустыням с некоторой братией бывший Шумского погоста дьячок Данила Викулин; далее на севере в соловецкой обители кроме сосланных с князем Львовым иеромонах Феоктист, старец Герасим Фирсов, старец Епифаний; бродил с проповедью в окрестностях соловецких Иоанн по прозванию Пахабный; старцы Сила, Алексей и Федор, на их проповеди стекалось множество народа; игумен Бизюковского м-ря Сергей Салтыков, монах Ефрем Потемкин, иеромонах Авраам из села Лыскова, того же имени старец; монах Соловецкого м-ря Софонтий, бежавший оттуда во время осады и потом посвятившийся в попы, учение которого распространилось в скитах оленевском, ростовском, рахилиновом, фотиинском; Онуфрий, преемник бежавшего из соловецкого м-ря Арсения, основавший скит близ города Семенова...”

1

Полвека не прошло с охальников-самозванцев и польских костельников, позарившихся на московский престол, как снова на Руси все смешалось, пала на землю угрозливая тень смуты. Десять лет войны с переменным успехом с Польшей и Швецией испроточили державу, изубыточили ее. Да и народ как-то исподволь испроказился: иные привыкли воевать и уже не тянулись к домостроительству, ибо чужая кровь, воинские потехи и постоянный риск веселят иную душу пуще вина; другие же в неволю угодили. К Царьграду ежедневно приставали по три и четыре корабля, наполненные русскими пленниками; на торговых площадях стояли в оковах священники и девицы, монахи и юноши, — отсюда их толпами отвозили в Египет на продажу; некоторые добровольно отрекались от христианства, других принуждали насильем. Тысячи православных легли под крест на чужой земле. Вереницы калек тянулись по дорогам, попадая в свои селитбы, где зачастую уж никто и не ждал их: колченогие и косорукие, слепые вовсе и кривые, питаясь подаяннем, они заполнили стогны больших городов и паперти церквей, и богадельни; увечные, кинутые на тихое утасание, еще долго напоминали войну, были всеобщей “медленно усыхающей слезою” и тяжким сердечным гнетом для жалостников.

...Дворяне, познавшие прелести тамошней жизни, увидавшие роскошь польских вотчинников, на Русь вместе с трофеями повезли и привычки пановой-костельников, требующие, однако, денег, и немалых; и тут в своих поместьях и усадьбах стали вытягивать жилы из холопей, выстраивая усадьбы на иноземный лад; они приучились пить табáку, носить несвычные одежды и брить бороды, презирать свою землю за ее косность, и своих мужиков за примелькавшийся вид и непоклончивость натуры, обставлять покои иноземной утварью и выстилать полы дубовыми паркетными досками.

Война осиротила избы, а непомерное тягло изнасило мужика; и он, ропща, исполнясь злобою, побежал от государевой налоти, куда глаза глядят, лишь бы от своих мест подальше, кинулся туда, где не сыскать никакому сыску; тронулся с насиженных родовых мест вместе с семьею, тайно, ночами загрузившись в возы, кинув на произвол судьбы нажитой дворишко и запустошив землю; и многие деревни, еще в долгих летах изобильные, ныне поросли травяной дурниною; обезлюдели погосты и выселки; и церкви без христорадной копейки заветшали и покосились, не стало денег, чтоб свеч купить и выстроить священнику ризы. На кощя и смерда, холопа и бобыля, на казака и вольного хрестьянина навалился тяжкий крест; и побежал народ на Дон и в Сибири, запросился в монастыри. Кабальные жгли барские усадьбы, чтобы навсегда вместе с хозяевами похерить записи и дарованные царевы грамоты; они уходили из-под руки помещика на украины, сбивались в разбойные ватаги и вплотную осаждали престольную по всем дорогам. Беглых ловили, возвращая господам, рвали ноздри, резали уши, ставили клейма; смерд терял свободу, хотя старики еще помнили ее. Воля беспокоила воображение: она стерегла за порогом родимой избы во всю ширь Руси. Лишь побе-ги-и! а ноги сами дорогу знают. Разве есть что в мире слаже воли и свободы? Но к иным хрестьянам столь люто приступала нуждишка, так прихватывала за горло, что они, лишь бы спасти от голодной смерти жену и дитешонок своих, за

пять, иль десять рублей записывались в вечную кабалу, надевали холопское ярмо, навегда расставаясь с вольною. А тут еще новины в церкви; вот и креститься велят по-иному; и пополз по Руси слух, де настает последнее время антихристово, исполняется звериное число 666, и скоро будет сатана ставить на православных печати своим нечестивым перышком...

Дороже воли и свободы оказывалась душа.

* * *

Царь-государь, давно ли, искренне плачучи, как ребенок, ты на коленях умолял Никона встать на патриаршью кафедру, обещался слушаться его во всем; нынче ты не знаешь, как приличнее, соблюдая церковный обычай, отделаться от своедумца.

И послал Алексей Михайлович в Царьград иеродиакона Мелетия звать на Москву вселенских патриархов, чтобы те судили самовольщика и низвергли с патриаршества большим собором и поставили нового Отца отцев. Нектарий Иерусалимский обещался идти в Русь. "Пойду, хотя бы и смерть мне принять, — будто бы сказал он Мелетию. — Я считаю великого государя вселенским царем. Это единственный христианский царь, надежда наша и хвала". Но, однако, слова своего не сдержал.

И у Никона была сильная сторона среди греков. От приверженцев его пошли из Москвы в Константинополь тайные письма, де Никон — это второй Златоуст, царь его любит, ночами приходит к нему для беседы; но бояре ненавидят патриарха за то, что он уговаривает государя выступить на войну против татар, пленящих москвичей и казаков, а боярам не хочется идти в поход и расставаться с покойным житьем; писали, де, Никон любит греков, он ревностный защитник догматов восточной церкви, и что грамоты, привезенные Мелетием, сочинены Лигаридом, папешником и лукавым человеком, которого бояре подкупили деньгами и почетом; де, Мелетию дано восемь тысяч золотых, чтобы ответы были даны патриархом против Никона. А Мелетий со своей стороны уведомлял Лигарида, что какой-то Еммануил Машвель тайно обещал двоим восточным патриархам пятнадцать тысяч золотых, чтоб только не давали ответов, осуждавших Никона, а не преуспев в этом, искал иеродиакона, чтобы убить его...

Сведав о попытках государя сместить его с престола, Никон написал с угрозою: "Зри, христианнейший царь! Если собор хочет меня осудить за один уход наш, то подобает и самого Христа извергнуть, потому что много раз уходил он зависти ради иудейской. Ты послал Мелетия, а он злой человек, на все руки подписывается и печати подделывает; и здесь такое дело за ним было, думаю и теперь есть в Патриаршьем приказе; есть у тебя, великого государя, и своих много, кроме этого воришки. Когда твое благородие с нами в добром совете были, мы писали, что нельзя нам предстательствовать в церкви..."

Но ответа Никон не получил, и тогда отправил новую вестку; новый храм требовал денег, да и народишко монастырский приоскудал, сколькой год настигали то замоки, то зябели, хлеб пропадал на корню, да и литовские и польские люди томили смерда, сгоняли с пашни; знать, совсем отвернулось от Алексея Михайловича военное счастье. Да и закидывал опальный патриарх тайную удочку, держит ли на него гнев государь, иль сменил на милость: "Пришли вести, что польские и литовские люди идут в твои государевы города и стоят недалеко от Вязьмы, пойдут и дальше. А мы живем в пустом месте, приоскудали до конца, хлеба и денег нет. Милосердый, великий государь! Выдай милостивый твой указ, чем нам пропитаться и защититься на пустом месте. Помни святое свое слово, как присылал ко мне сельничего своего Афанасия Ивановича Матюшкина, и он говорил пред Христовым образом много раз: великий государь велел тебе сказать, что не покинет тебя вовеки. А когда в прошлых годах объявили о татарском нашествии, и я приходил в Москву, то думный дьяк Алмаз Иванов сказывал мне твоим государевым словом: ступай, живи в своих монастырях и великий государь не покинет тебя, велит уберечь. Вспомнив все это, обратись на милость. А что тебе лихие люди клеветуют на меня, ей лгут. А я нынче за твоим государевым словом хотя и умереть рад

здесь. Если не попомнишь слова и обещания твоего, то на тебе Бог взыщет, а мне смерть-покой по писанному...”

Челобитье государю Никон передал через Феодора Ртищева, к тому же в письме напомнил постельничьему давние его заверения: “Пишем, надеясь на твое незлобие и вспомнив, как ты был здесь после отъезда нашего из Москвы, и слово свое дал быть нашим братом и строить о всяких монастырских нуждах. Да и в прошлом году, как ты присылал брата своего Феодора Соковнина, а в другой раз Порфирия, то приказывал, чтоб нам тебя иметь в любви своей, как и прежде...”

2

Недолго пасли Никона нарочные московские стрельцы. Недели через две съехали они с Воскресенского монастыря, и снова Никон вышел из затвора и стал великим господином; и всякий раз, когда отправлялся патриарх на службу в церковь, то впереди шла монастырская стража с ослопьем, а самого святителя вели под руки двое дьяконов, словно бы патриарший дворец со многими службами и древним чином перекочевал на Истру. То и дело, минуя царевы запреты и сторожи, в обход государеву дозволению пробирались к Никону в монастырь его поклонники с Афона и Царьграда, с престольной и иных русских городов и епархий, и всяк приносил свои вести, слезы и скорби, и тем тешили сердце Никона, уже зачастую упадающее в горести.

Как убегал с престола в гневе и гордыни, то полагал в душе, что государь непременно кинется в ноги и примется умолять в слезах, просить прощения, чтоб остался; но вышло по всему так, что царь-то дожидался от патриарха этой вспышки, он вызывал ее изтиха всякими дворцовыми сплетнями, коим порою и сам был искусный затейщик, а ныне об одном мучается, как бы сподручнее посадить на стулку нового Отца отцев, ручного и покорного, как дворцовый спальник. Никон полагал по времени воротиться в Москву под колокольные звоны на всеобщую радость; а выходило по всему, что не сам он слез с белого ослика, но его силком ссадили с бархатного креслица, да и кинули под копыта, коварно поджидая, когда топчет дракон семиглавый...

Одному лишь путивльскому воеводе Никите Зюзину был безмерно рад нынче Никон, и когда навещал тот затворника на Истре, то патриарх постоянно жаловался, де ничего ему не осталось на этом свете, кроме болезней и скорбей многих, де государь готовит подкопы под него и многими чаровствами и кознями норовит свести в могилу, и нашлись у него подручники митрополит Крутицкий Павел, да чудовский архимандрит, что собирались его отравить, да Господь помиловал: безумем камнем и индроговым песком отпился.

А Зюзин одно нудил в ответ, де, зачем шел с кафедры дерзновенно, смирись, Никон; уверял, де, пора в Москву, там ждут истинные богомольники, и государь лишь для виду супится, а сердцем-то уж давно простил и минуты той с радостью ждет, когда Никон вернется и паству свою словесную примется опять достойно пасти; и еще говорил, де, сотрясают престольную напасты, лихие люди бегают по городу, яко волки, ища невинных жертв, и бродят раскольники средь бела дня, отвергая святую Троицу, а иные Иудой величаются; де, костельники плотно окружили трон и всякие скверны источают на православных, а царь им отпора достойного не дает и тем лжам всяко потрафляет.

“Один немец Ганс Гельмес мне сказывал в торговых рядах по секрету. Говорит, де, все русские бояре держат у себя яд на случай. Как скоро узнают, что государь сердится, так и глотают. Де, боярин, что проиграл бой под Каменцем, принял яд в Киеве. А другой, бывший сыщиком на Украине по делу ограбленной казны, де, показывал мне свой яд и говорил: “Посмотри, в каком мы живем рабстве...”

“А ты-то где хранишь яд? — спросил испытующе Никон и усмехнулся. — Ко мне ездишь тайком, дак не боишься государевой опалы?”

“Я православный. Пуцай на дыбу вздернут на три встряски, пуцай сквозь раскаленный хомут протащат, но яду я не приму. Потому как гнусное то дело. Гнусные сплетни распускают про нас еретники... Да и что мне до государева гнева. Вины за собою я не ведаю. Я ль, батюшко, преступник какой? Иль ты меня не знаешь? Да

я за тебя, Отец, и заради церкви православной готов всяко пострадать”.

Отъехал Зюзин и после несколько писем посылал тайком к Никону, сперва с Аароном старцем, потом с попом Сысоем, чтоб смирял себя Никон, готовился к возвращению. Письма Никон сжигал. А однажды в начале декабря с Зюзиным встретился думный дворянин Ордин-Нащокин и между прочим в разговоре передал Никите Зюзину, де, седьмого декабря при короткой встрече говорил ему великий государь, что приезжал от патриарха воскресенский архимандрит, бил челом и со слезами уверял, чтобы смуте не верить никакой, и он, государь, сказал, что смуте не верит и гнева его на патриарха нет; де, приезжал к нему в Хорошево протопоп Иван Неронов и всяко поносил патриарха, но он, государь, де, тому не поверил...

И боярин Зюзин утвердился в решении, что время пришло, и послал тайную вестку с попом новгородским Сысоем Андреевым, чтоб патриарх возвращался в Москву. Но Никон ответил: “Мне без письма великого государя нельзя быть”.

И Зюзин, недолго думая, сочинил грамотку от имени царь-света и тринадцатого декабря отправил ее с иподиаконом Никитой, верным слугой патриарха, а тот в ту же ночь прибыл на Истру. Никон находился в своем скиту и, не мешкая, принял тайного вестника и прочел письмо: “Являлись ко мне Афанасий Ордин-Нащокин и Артемон Матвеев и сказывали: седьмого декабря у Евдокии в заутреню наедине говорил с ними царь: ”Прислал ко мне патриарх своего архимандрита, я его совету обрадовался. Сидел я с ним наедине, и он со слезами говорил, чтоб нам ссоре никакой не верить, и я с клятвою говорил, что никакой ссоре отнюдь не верю и душою своею от патриарха не отступлюсь. Да духовенства и синклита ради, по нашему царскому обычаю собою мне патриарха звать нельзя, потому что он ведает для чего ушел, а ныне в церкви и во всем кто ему бранит? Как пошел, так и назад придет — его воля, я ей-ей в том ему не противен. А мне к нему о том отписать нельзя, ведая его нрав. В сердцах на архиереев и бояр не удержится, скажет, что я ему велел приехать, или по письму мне откажет — и мне то будет конечно стыд, в совете нашем будет препона.

Сколько уж времени между нами продолжается несогласие! Врагу лишь в том радость, да неприятелям нашим, которые для своих прихотей не хотят, чтоб нам в совете быть; это я узнал досконально. Только бы пожаловал, изволил патриарх придти к девятнадцатому декабрю к заутрени в соборную церковь, прежде памяти чудотворца Петра, и он, чудотворец и посредник любви нашей, всех врагов наших отженит: для того пришел бы, чтобы кровь христианскую остановил вместе с нами, и его слово надобно будет во всенародное множество. И ты, Афанасий, моим словом прикажи Никите Зюзину отписать ему все это тайно; а вот мне к тому дню надобно с ним вместе порешить, с чем отпустить тебя на посольское дело, посо-боровать о том со всеми чинами и пост заповедать. Но опять молю, чтобы в тишине, без больших выговоров, чтоб не ожесточил всех, все опасаются, ждут от него жестокости. Покинул он меня в таких напастях одного, а не на том мы между собою обещались, что до смерти друг друга не покинуть, и клятва в том есть между нами”.

Пробежал Никон письмо взглядом, сразу вдруг уверился в его правде, как бы голос Алексея Михайловича въяви услышал, словно бы в Крестовой полате снова встретились наедине в ночной молитвенной тишине; и воскликнул, загораясь, патриарх, отринув прежние свои клятвы и воздев очи горе: “Буди воля Божия, сердце царево в руце Божией”.

И пред образами отбил земной поклон.

А утром послал Зюзину отписку, что будет на Москву, как того велит государь, но лишь просил уведомить подлинно, в какой день придти, как въехать, чтобы свет-царю не случилось никакого урону. Пятнадцатого декабря Зюзин вновь послал с тем же Никитой подробнейшее известие, что ехать ему, патриарху, велено под воскресенье восемнадцатого прямо в Успенский собор к заутрене; извещалось, что надобно сказать при въезде в Москву у градских ворот, чтоб пропустили, когда и как войти в церковь, чтоб отворили дверь. Получив последнюю весть, Никон сказал кротко: “Не буду противиться воле Божией и государеву указу!”

...Кир Никон, не ты ли грозился прилюдно, отрясая прах со своих ступней у паперти Успенской соборной церкви при всем народе: я слова своего не переменю, никогда не вернусь к власти, как пес к своей блевотине; а коли решу воротиться, так пусть будет мне анафема. Так что же примстилось тебе в Отходной келии, что помыслилось вдруг в тиши, какая грозовая трещина разъяла твое сердце, и вновь зажглася в нем буря? Святитель, ты так желал уединения, так стремился к нему во все годы монашества, потому и уходил в пустынь и в Соловецкой обители, и в Кожеозерском монастыре за Онегою. И неуж мир суетный все-таки слаже тихой молельни? Подвиг иноческий ты поставил в основание своего духовного пути; но зачем же тогда, милостивец, ты подтачиваешь его сердечными страстями? Ах как самозабвенно до сладкого восторга отрясал ты, убегая из Москвы, прах со своих подочв, и как тяжело нынче тоскующий ум освободить от минувших хмельных картин дворцовой власти. Сколько же, оказывается, в ней мелочей, что напрочно пришивают тебя к примелькавшейся, зачерстневшей в своей обыденности жизни; они-то, наплывая чередою, как искус и блазнь, и не дают желанного покоя. Оттого и молитва не дает крепости, будто кто ее подтачивает извне. Кабы питье такое испить, чтобы позабыть все, вытряхнуть из памяти, как полосу и высебки. Но даже самые верные страдники не могут подать тебе лекарского редкого снадобья, кое бы враз утишило сердце, так глубоко испроточенное, изъясненное безмерной властью...

Еще до заговенья убрался Никон в свой монашеский столп, затворился наглухо, делся от братии, ушел от монастырских забот. С тех пор келейное слюдяное оконце, обросшее бронею наледи, уже не пропускало света, и день перетекал в ночь неприметно, как бы время остановилось вдруг для Никона, ничем не напоминая о бренном мире. Зима сразу встала прочно, обложила патриаршью пустынь снегами, и только след, натоптанный келейным служкою от монастыря к пустыни, напоминал братии, что их Отец жив.

Затемно подымается келейник Шушера витой лестницей с беременем дров, и, слыша гулкий топ и скрип настуженных ступеней, Никон отрывается от молитвы и, мысленно перечеркивая еще одну бессонную ночь, присторбясь, молча отпахивает дверь, опущенную синим сукном. Шушера с грохотом, вроде бы нарочито шумно, сваливает вязанку мерзлых березовых поленьев на пол; на плечах монаха сухая искрящаяся кухта сугробиками, словно бы он только что вернулся из ближнего бора, где с еловых прогнувшихся лап напорошило его снегом. От овчинного тулупчика напахивает морозом, душную келью пробивает воздухом с воли, и Никон против желания вдруг представляет убравшийся в снег русский Новый Иерусалим. Река уже окоченела, вода замирилась, окротела, и прибрежные ледяные закраины, полые изнутри, оседа, пугающе гулко стреляют; в промоинах на быстери, где кипят ключи, подымается пар, оседа на свежую порошу желтоватым куржаком; лисьи, голубые изнутри следки насквозь прошивают реку, строчками соединяя берега; у пролуби, стоя на коленях, полощут белье монахи-мовники, руки у них багровые от ознобной воды, словно бы с кистей до запястий сползла обожженная кожа. С востока уже пробрызнуло брусничной водою по шелковым нежным зеленым, солнце еще не прободило вершины елиника, но уже просверкивает сквозь лапник, оторачивая его огненным позументом. Господи, как осязательна память, сколь впечатлительна и беспокойна она, коли безо всякой нужды вдруг вбирает все до каждой соринки, надежно помещая в свою долголетнюю кладезь.

...У Шушеры лицо раскаленное, набитое стужею, спокойные темные глазки — будто черничины, бороденка клином обнизана сосулями, усы закуржавели, как у моржа, и плотно уконопатили рот. Никон ласково, с прищуром оглядел искреннего духовного сына, хотел тому что-то молвить сердечное, но махнул рукою: де, ступай прочь, сам справлюсь. В душе заматель была; такая нуда томила нутро, такая сумятица толкалась в голове, таким каленым обручем сжимало затылок и позывало на тошноты, что вся сила уходила на умирение громадной плоти; потому и молитва текла бесплодная и безотзывная; чернильный сумрак ночи втекал в патриаршьё сердце, сливался с черными вихрями его, потому и весь мир казался захлопнутой домовиной, и Божий глас не мог достучаться сквозь

плотно заколоченную крышу. И вдруг неисповедимо отчего так легко стало, мрак сдвинулся, и все суетные помыслы стали очевидны и освещаемы Духом Святым насквозь. И те посылки Зюзина, приваживаемые тайными гонцами, показались кощунствами, дьявольской игрою. Никон достал последнее письмо, еще не преданное огню, зачем-то понюхал его. От бумаги пахло блудом и нечистыми затеями. И Никон, кляня себя за слабость, встал на колени и заплакал. Читая молитву и постоянно плача, патриарх и печь истопил, глядя бездумно, как пламя пожирает древесный прах, и сам вроде бы сожигаясь в тех огненных вихорях; а закрыв вьюшку, распластался на рундуке возле печи, подложив под голову подушку, набитую шерстью, и решил предаться полному посту и бдению настолько долго, пока Сладчайший не подаст достоверной вести.

И приложил Никон молитву к молитве, бдение к бдению, пост к посту и вовсе не принимал выти, ничего не ел и не пил во всю неделю; так и лежал на рундуке на голой доске, лишь однажды подымаясь с одра, чтобы подправить елейницы под образами и возжечь новые свечи, взамен истаявших. И келейнику Шушере заказал ходьбу, и печь не топил, спасался от стужи бараньей шубою. Да и жарко было ему от нескончаемых молитв и слез. Но однажды в полунощи сел Никон на рундуке, обвалился спиною к настывшей печи, только чтобы размять изнывшие ребра и расправить мяса от пролежней, как внезапно впал в недолгий тонкий сон. И вдруг увидел себя в Успенской соборной церкви.

...Свет был в ней необычайный, как бы само солнце опустилось с небес. И сначала Никон ослеп. А когда приоблек, то в этом золотом свете увидал по сторонам церкви усопших святителей и священников, где гробы митрополитов и патриархов, почивших в бозе. И какой-то святолепный муж, украшенный сединами, в святительских одеждах, обходит незнаемых прежде Никоном богомольников, подает им хартию с киноварницей, и все подписываются. Никон со страхом приблизился к нему и спросил: что вы подписываете? Святолепный муж ответил: о твоём пришествии на престол. И показал хартию. Никон спросил еще: а ты подпишешь? Уже подписал, — ответил незнакомец. Никон взглянул в хартию и прочел: смиренный Иона, Божьей милостию митрополит. Никон направился к своему месту, как увидел на нем чудотворца Петра и устрасился. Но тот сказал Никону: не ужасайся, брате, такова воля Божия; взыди на стол свой и паси словесные Христовы овцы. И вдруг сделался невидим. И Никон, насмелев, утвердившись в правоте своей, взошел на патриаршее место и простер руку с крестом. И тут очнулся...

“Слава тебе, Господи. Искусил еси сердце мое, посетил еси ношью и не обретеса во мне неправда, — взмолился Никон, очнувшись. — Подал ты мне вестку, образумил...”

И когда семнадцатого декабря часов за пять до света Иоанн Шушера навестил патриарха, Никон торопливо отомкнул чернцу дверь и велел с порога: “Братец! Ступай! Налаживай поезд, не мешкая. Нынче пойдем на Москву!”

Впервые за седмицу похлебал патриарх жиденькой ушицы из сушеных сметков, чтобы умирить черева, и с необыкновенно легким сердцем лег опочнуть. И спал он, как младенец. А проснувшись, снова с иным уже чувством прочел посылку от боярина Зюзина с государевой волей, ровно скрутил свиток, перевязал тесьмою и, зачем-то поцеловав угол письма, не сжег его по обыкновению, но, изменив обычной осторожности, положил в походную кису из нерпичьей кожи.

Во втором часу ночи тронулись в путь на десяти санях. Голубоватый месяц почти лежал на спине, протыкивая крутыми рогами серебристое небесное облачко, и предвещал мороз. Никон вошел в избушку, Шушера укутал ноги патриарха медвежьей полстью, верховые служивые окружили обоз, освещая фонарями путь. Звякнули бубенцы, и поезд тронулся на Москву. Лошади бежали ровной рысью, покачивая кибитку, словно зыбку на очепе, протяжно скрипели полозья, заливи-сто булькали колокольцы; спина Шушеры в объемном армяке, подбитом ватою, широкая словно печь, заслоняла для Никона обзор, но и оберегала от студеного ветра. Редкая звезда вдруг упадывала с неба и ярко укалывала патриаршью зеницу. По молочным снегам, будто неотвязные волки, безмолвно скользили

темно-синие тени. Меркло, смиренó, блаженно. Никон призакрыл глаза, отрешенно отплыл в тепло меховой одеяльницы. Чвакали копыта, разбрызгивая комья снега, хлопали в передний щит саней: “До-мой, до-мой”. Полозья заливи-сто вторили им: “Господи, помилуй, Гос-по-ди, поми-луй...”

За последний месяц впервые снизошел на Никона какой-то особенный покой: вроде бы все замысленное исполнилось, можно и помирать. Но отчего тогда сердце так неровно и гулко пурхает, и ровно бы кто подтыкивает в бока и спину, не дает с толком обдумать будущие часы? Никон почасту ворошится в мехах, откидывает край тяжелой одеяльницы, достает из лисьей шубы медный неотлучный складень и молит у Матери прощения всяческих грехов. Потом долго запикивает образ обратно под шубу и мантию, и дорожную теплую рясу на беличьих мехах на шерстнатую грудь, во всполошливое подвздошье рядом с верижным крестом. Туда вспархивает ледяная струя, обжигает тело, Никон ненадолго отвлекается, как-то молодо выпрастывается из покровца и пытается, по-орлиному крутя головою, пристально смотреть на призрачную дорогу и на черный елиник в снежной кухне, и на ближнего вершника, покрытого инеем. Не так ли когда-то Никон попадал из заштатного Кожеозерского монастырька, никому неведомый иеромонах, выбранный волею северной братии в настоятели, спешил на Москву, чтобы выбить там для братии спасительную в тяжелой нужде милостыньку. Боже ж ты мой! Двадцать лет минуло, и все случившееся не сон ли? Ткнуть бы посохом в спину Шушере и велеть, де, поворачивай назад. Чего втемяшилось? ведь возвращаешься, извратник, на власть, забыв гордость, как пес на свою блевотину.

...Полноте судить: государь мне милость положил, молит собинного друга забыть обиду. Ну, погорячились, втемяшилось дурное в башку, с кем не бывает? Но опомнились ради православной Руси, позабыли неразумную прю. И Спас наш тому свидетель и покровитель...

Тишина стояла неземная, словно бы сам Вседержитель, наклонившись с небесного престола, с любовью и терпением вглядывался в лежащую у его стоп неразумную землю. К утру стужа окрепла, и монахи, что помоложе, не сдержавшись, побежали вслед за розвальнями, ухватившись за задний щит. Морозный пар завис над дорогою. И вдруг как бы потеплело: это верст за десять уже послышалась престольная; малиновый, не пресекающийся звон заколыбался в воздухе, разлился, растворяясь в каждой струе его. Под колокольный гуд и попали в Москву где-то часа за полпята до света. Постучали в запертые Никитские ворота, и архимандрит Герасим объявил часовому стрельцу в смотровое оконце, де, едет звенигородская власть из Саввина монастыря. И были пропущены без пререковы. Так же, исхитрясь, сказали и у Смоленских ворот, и у Троицких, и у Отводной башни, а влезши обманом в Кремль, быстро направились к Успенскому собору.

На Ивановской площади костры горели прямым трескучим пламенем. Луна стасла, сошла на нет, и в дегтярной предутренней темени иссиня-багровые огни казались угрожающими, призывающими к смуте. Никон откинул медвежью полсть, сбросил с плеч шубу, молодо выпростался из кибитки, размял ноги, пристукивая в хрусткий снег батоном. Костры пламенели в ночи, как диковинные звери. Никон зачарованно уставился; на миг ему показалось, что они, подмаргивая из тьмы, сулили верный успех ему. Тут незваное посольство с Истры сбилось в ватагу по должному монашьему чину, и Шушера, испросив благословения, вывел патриарха из задумчивости...

Москва молилась, и никто, пожалуй, кроме боярина Зюзина, не знал о появлении Отца.

В соборе шла заутреня, читалась вторая кафисма: “Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крове крилу Твоего покроеши ми...” При этих словах загревели крюки, распахнулись, протяжно скрипя, северные двери, и в церковь мимо ключаря с шумом и дерзостью, нарушая молитвенную тишину службы, двинулось множество людей, словно бы храм Господен взяла осадой ватага оружных разбойников; впереди шли напролом патриаршьи стрельцы в служилом платье, за ними старцы, за старцами молодые чернцы несли крест, а за крестом широкими шагами, с застывшим суровым взглядом на окоченелом до бледности лице, как некий “велицей истукан”, вздымающийся главою до сводов храма, следовал патриарх Никон, вбивая клюку в железные плиты пола. Крест поставили у Спа-

сова образа. Никон взошел на патриаршее место и, отдав дорожную ключку одному из старцев, взял стоящий на заповедном месте посох святителя Петра. Никону показалось, что он никогда и не покидал собора, и даже в колыбашемся жидком свете мерцающих свечей сразу разглядел и узнал прежних богомольников, коих пас неустанно шесть лет тому. Никон оправил панагии на груди и, решившись, наконец взглянул на царскую сень, ожидая увидеть там улыбающегося собинного друга. Но за тканым золотом тяжелым запоном, прикрывающим вход в цареву место, свет-Алексеюшки не было. Смутно закралось предчувствие, но патриарх решительно прогнал его. Старцы запели: “Ис полла эти деспота...” Никон с посохом Петра, не глядя на прихожан, пошел прикладываться к святым иконам, к мощам чудотворцев; он хотел увидеть, как случилось в тонком сне, их согласные, ободряющие светлые лица в златокованных ковчежцах, но нашел лишь мрак, тягучей стылостью, как кованными юзами, стянувший его занемевшие чресла. Никон устранился и на деревянных ногах вернулся на патриаршее место, велел звать митрополита Иону, что был блюстителем пустующего патриаршего престола. Иона оказался в церкви, он испугался гнева, он не посмел ослушаться грозного Никона и поспешил явиться к благословению. Слава Богу! — вздохнула церковь почти едино. — Отец вернулся в сиротеющую церковь. Святейший по зову государя прискакал в Москву, и нынче мир воцарится по всей Руси! Да и доколе колоколоть худое? закоим растрясать по всям лиху и смуту? ибо где затеется несогласие меж великими мира сего, как тут же летучие семена немирия, скоро разлетясь, пустят богатые всходы вражды по всей земле. Дьякон Михаил басом воспел ектинию, славя и Никона. Но старцы в теплых рясах и зипунах, одетые по-дорожному, отчего-то не покидали солею; опершись на ключки, они строго взирали на народ, и словно бы черными крылами с обеих сторон принакрывали патриарха, стерегли от неожиданной напасти. И то, что иноки отпихивали церковных служек, заслоняли от паствы и перебивали заутреню, тем самым и службу они перекрыли вконец. Моление как бы скрутилось вдруг, само по себе прекратилось и перешло в томительное ожидание, какое случается при всяком неожиданном происшествии. Как-то там государь решит? какое слово молвит и не стать бы худу?

Никон спровадил митрополита Иону во Дворец с известием.

Царь стоял заутреню в церкви преподобной мученицы Евдокии, что у него на сенях, и, получив новость, изумленный, тотчас же велел истопникам звать к себе думных бояр и архиереев. Весь Двор, до того погруженный во тьму, как бы разом очнулся и ожил, осветился тысячами свещ, фонарей, в многочисленных переходах, покоях и службах, в клетях, во множестве сеней и горенок, повалуш и светлиц, жарко натопленных к ночи, случилось всеобщее смятение, беготня и шум, словно бы крымский хан внезапно приступил под стены крома. Скоро собрались бояре, и после недолгих криков и негодований отправились в собор с государевой волею митрополит Крутицкий Павел, князя Никита Одоевский и Юрья Долгорукий...

...Зная верно, что государь не придет, Никон надеялся где-то, что все в руке Божией и самое невероятное может случиться, ежели того захочет Творец. Но явились лишь недруги. И все же патриарх отбросил сомнения; он понимал собинного друга, мягкого душою, что тот не хочет лишнего шума, боится проявить слабость при дворцовых. С солеи, подпершись святым посохом Петра, подслеповато щурясь в полумрак в сторону двери, где едва проступали лица прихожан, патриарх с пристрастием вглядывался в шествующих к нему посланников. Никон заранее хотел угадать весть, с какою явились послы. Но весь их суровый, заспанный вид не предвещал добра. Никита Одоевский никогда не прихаживал с радостью. И в этот раз, задрав лопату рыжей бороды кверху, не тая голоса, князь возгласил приказным тоном, чтобы слышали и богомольники: “Никон! Ты самовольно оставил патриарший престол, обещался не быть впредь патриархом, съехал жить в монастырь, и о том писано вселенским патриархам. Зачем же ты ныне приехал в Москву и вошел в соборную церковь без ведома великого государя? Поезжай-ка опять в свой монастырь”.

Никон, помня, что прибыл на Москву с тихостию, как того тайно хотел государь, переломил негодование и ответил кротко, смиренно: “Сошел я с престола никем не гонимый и пришел ныне на престол свой никем не званный,

чтобы великий государь кровь утолил и мир учинил. От суда же вселенских патриархов я не бегаю, а вернулся на свой престол по бывшему мне явлению. Вот, возьмите письмо к великому государю”.

Но князь Одоевский без ведома великого государя письма Никона не принял, вернулся обратно во Дворец, и Алексей Михайлович, выслушав его, велел идти в другой раз к Никону и повторить прежнее приказание; а письмо у него взять. Никон, отдавая грамотку, сказал с горечью: “Если великому государю приезд мой в Москву ненадобен, я пойду в монастырь назад. Но пока от государя не будет отповеди на мое письмо, соборной церкви не покину”.

Попадал Никон на Москву, как победитель, а прибыл в престольную, будто простой милостынщик. От патриаршьего обжитого двора отделяло Никона лишь Золотое крыльцо, но путь на него был заказан. Никон удалился в патриаршью сень, чтобы не торчать на виду у паствы, и, опершись на посох, стал ждать. Прихожане просили благословения, но святейший стоял, от всех отворотясь. Он был бледен, как полотно, и всяко бранил себя за слабость, что вот вернулся, изменив слову, как пес на свою блевотину. Он снял клобук и наострил слух: ему почудилось, что в соборе приглушенно, злорадно смеются. Чего нейдут в дома, чего дожидаются? Видеть хотят, как вдруг загремит патриарх, будто языческий идол... Служба совершенно прекратилась, старцы удрученно дожидались у царских врат и не находили себе места. Они прибыли поездом чествовать великого государя, Никона патриарха, они пели ему победительную осанну во весь путь от Истры до Москвы и, казалось, небесные ангельские крыла подпирали их, так легко перемогался ночной морозный путь; и вот их Отца остановили у запертой государственной двери и теперь домогаются каких-то посулов от него...

...Письмо было доставлено в Верх и думный дьяк Алмаз Иванов зачитал его: “Я нахожусь теперь в святой великой соборной церкви Пресвятой Богородицы и пришел видеть пресветлые лица ваши, и поклониться пресветлой славе царствия вашего. Пришли мы в кротости и смирении, как научил нас Господь: научитесь от мене, яко кроток есмь и смиренен сердцем и несем с собою мир, завещанный нам Господом. А если и больше того восхощет царское величество услышать, мы не отречемся сказать: желаешь ли принять самого Христа? Мы твоему благородию покажем, как это сделать по слову Господа: приемляй вас мене приемлет. Приими нас во имя Господне и отверзи нам двери дома твоего...”

Когда письмо дочитали до конца, где патриарх поведал о бывшем ему видении, бояре ужаснулись сей дерзости беглеца и отступника, и воскликнули: “Ангел сатаны послан был к Никону, преобразившись в ангела света!”

...С кротким сердцем Никон постучался в дверь государя и не был услышан. И это было горше всего. Митрополиты гурьбою вошли в церковь, и при виде одутловатого, грубо скроенного лица Павла Крутицкого, коего когда-то Никон вытащил из простых попов, Никон сразу понял, что поддался в пустыни на посулы коварного черта, коей в ночи предстал пред ним в ангельском виде. И известил Павел Крутицкий тоном, не допускающим возражений, словно бы он-то уж верно метил на патриарший престол: “Письмо твое государю донесено, и ты, патриарх, из соборной церкви поезжай в Воскресенский монастырь по-прежнему, да поспеши до восхода солнца, чтобы не случилось потом неприятного”.

Услышав предательские слова, Никон вспыхнул и, схватив посох святителя Петра, едва поклонился иконам и пустился прочь из храма почти бегом. Павел Крутицкий еще закричал вослед с паперти: “Святейший! Посох-то оставь! Не гоже переимывать на себя чужую славу!”

“Отнимите у меня силой, коли сможете!” — огрызнулся Никон. До света оставался час. На небе горела хвостатая комета. Садясь в сани, Никон начал трясти ноги, произнося Евангельские слова: “Идеже аще не приемлют вас, исходя из града того, и прах прилипший к ногам вашим, отрясите во свидетельство на ня”.

Стрелецкий полковник, наряженный провожать Никона, сказал: “Мы этот прах подметим”. — “Да разметет Господь вас иною божественной метлой, иже является на дни многи!” — отвечал Никон, указывая на комету.

Сани двинулись. Князь Дмитрий Долгорукий и любимец царский Артемон Матвеев провожали патриарха за Скородом. Выехав за Земляной город, поезд остановился. Долгорукий подошел к патриарху и сказал: “Великий государь велел

у тебя, святейшего патриарха, благословения и прощения просить”.

“Бог его простит, если не от него смута”, — задумчиво ответил Никон, закутываясь в медвежью полсть.

“Какая смута?” — спросил Долгорукий.

“Ведь я по вести приезжал...”

И, прекращая разговор, Никон толкнул Шушеру в спину.

Лошади тронулись.

Никон зарылся в одеяльницу, смежил глаза и отупело окунулся внутрь себя. Там скопилась тоска и клубящийся мрак; сквозь вязкое смоляное варево проступали чьи-то мерзкие скалящиеся рожи и вновь погружались на дно. В ушах тонко гудело, и высокий лисий треух, туго нахлобученный, будто бы сам собою подымался на волосах. Отчего-то и кожа на голове нестерпимо заныла, и эта боль извлекла Никона из тягучего безвольного беспамятства, куда он желанно утопал, запружив дыханье. От ломотья в голове патриарх и вернулся в мир здешний, на бренную землю.

Назад лошади бежали неровно, спотычливо, крехтая селезенкой; сани встряхивало на ухабах, избушку кидало по мерзлым оковалкам, словно бы патриарший поезд свернул на иную дорогу, исхрястанную тяжелыми возами. Много ли времени минуло, когда патриарх, алкая власти, растревожил службу в Успенской церкви; и вот еще солнце не выпросталось из постелей, а уж он, будто вор порубежный, мчит в обрат.

Как бы причудилось все, словно в дивном сне наснилось; стоит лишь повернуться на рундуке на другой бок, отворить глаза — и ты по-прежнему в Отходной пустыни возле печи, истовый молебник, лишь на мгновение замгнувший очи.

...Да нет, правда все, правда. Вот и пальцы в меховой рукавке отерпли, сжимая в отчаянии двурогий посох святого Петра.

“Отымите! Попробуйте, схитники! Так вам и дался!..”

От внезапного гнева кровь кинулась в голову, и Никон почувствовал, как загорелись щеки. “Господи, пусть отзовется ему на этом и том свете!” — мстительно воззвал патриарх, проклиная государя.

...Эх, Никон, Никон! Опять загордился, однако, приняв вдруг лживую молвь за сердечные речи. Вот и вспух от радости, как вулкан на чужой лядвии... Но ведь зазывал же?! И письмо не заснилось же мне, что лежит сейчас в дорожной кисе. Де, приезжай, собинный друг, мириться надобно.

И вдруг, как просверк молоньи, догадка осенила Никона. “Но зван ли верно? Не сыграл ли Никита Зюзин со мною злую шутку, чтобы вовсе погубить меня? Иль по ребячьей душе завлек меня в сети? Любовию своей погубил, злодей”.

* * *

В монастырском селе Черневе, где остановился патриарх на отдых, догнали его царские гонцы Павел митрополит Крутицкий, да окольничий Родион Стрешнев, да дьяк Алмаз Иванов; прибыли они по государевой посылке, чтобы пополучить посох святого Петра.

Митрополит Павел принялся уговаривать Никона, но патриарх ответил: “Тебя я знаю в полах, а в митрополитах не знаю и посоха тебе не отдам. Хоть и приступае вы ко мне, как воинская спира до Христа, но я вас не боюсь. Ступайте обратно и доложите государю, де, Никон патриарх посоха не отдаст, потому что некому отдать... А к Москве я приезжал не самовольно, но по вести...”

Воистину, слово не воробей. Выпорхнуло из губ — и поймай теперь; его бы утоloch куда в затай, поскорее спрятать в зепь, но, увы, оно уже в иной власти. Слово сказанное само по себе существует.

Со зла, с горячки, с недоумения и обиды промолвился. И предал боярина Зюзина. “А что! сам хорош! Задумал с патриархом в прятки играть. Смирением и любовью вкрался в сердце инока, как шпынь, и замутил его. Экую штуку удрал”. Еще сгоряча-то бился со спосыланными, вроде бы хранил тайну, но внутри-то уже сдался. Уцепились послы, что гончие псы, что английские британы, и до той поры не слезали с патриарха, пока не ослаб он: “Вам не скажу, а открою тем, кому великий государь укажет”.

Срочно погнали весть царю и тот велел вновь допрашивать патриарха, и если посох не отдаст и про весть доподлинно не скажет, то они, царские посланные, в ту же ночь отписали бы к государю, а сами до указа не выезжали бы из Чернева и Никона не выпускали.

Услышав об этом, Никон значительно сдался, полез в дорожную кису, достал письмо и принялся сам читать. И лишь после долгих уговоров, с пятого часа дня до одиннадцати ночи, объявил, что и посох, и письмо пошлет к государю со своим архимандритом Герасимом. И уже с совершеннейшим смирением добавил: “Я обещаю, что на патриарший престол великой России не возвращусь, у меня и в мысли того не было. Только повелел бы великий государь быть мне в монастыре, и новопоставленный патриарх не имел бы надо мной никакой власти, а имел бы меня за брата; да мне бы ведать Воскресенский, Иверский и иные приписанные к ним монастыри; да не оставил бы государь своей милости ко мне в потребных вещах, чем бы мне пропитаться до смерти, а век мне уже недолог, и теперь мне уже близко шестидесяти лет...”

И в ту же ночь девятнадцатого декабря за два часа до света царские посланные прибыли в Москву и поднесли государю посох чудотворца Петра и письмо, писанное к Никону. Посох был тут же отнесен в соборную церковь и поставлен в прежнее место, а письмо прочитано пред всем священным собором. Оказалось, что послал его преданный Никону боярин Никита Алексеевич Зюзин. От имени царя и его семейства приглашал он Никона приехать в Москву. Зюзин, которому показали письмо, тут же сознался во всем...

Третьего февраля Никиту Зюзина потребовали для допросов на пытку, и жена его Мария, только услышав об этом, вскрикнула и тот же час скончалась. На пытке Зюзин повторил прежние свои речи, что писал Никону сам собою, ни с кем не мысля, и никому про то не ведомо.

И бояре приговорили Зюзина к смертной казни. Но государь по просьбе детей своих Алексея и Федора отменил приговор, и велел сослать Зюзина в Казань на службу, а поместья его и вотчины отдать в раздачу.

Выдал Никон преданного ему человека безо всякой нужды; и боярина погубил, и себя тем не оправдал.

(Продолжение следует)

МАРГАРИТА СОСНИЦКАЯ



РАССКАЗЫ ИЗ ИТАЛИИ

ГАЛА-ОБЕД

К нам едет ревизор.

Н. В. Гоголь

Славянское имя Галина совершенно неприемлемо на романских языках и превращает его обладательницу, Галю, Галочку, Галинку, в курицу, мокрую, щипаную, жирную¹. Нужны мужество или полная бесчувственность к слову, чтобы жить в Европах среди Марлен, Мерлин, Мадлен и быть курицей. Нужны подмостки и макбетовская осанка певицы Вишневской, чтобы превзойти собственное имя. А если ты никакого отношения к опере не имеешь, если и простенький романс соврешь, если каждое утро нужно вскочить по звонку и через серый Милан ехать в какое-нибудь немыслимое Ассаго или Чинизелло и знать, что ты впридачу еще и курица?! Сухая курица, мокрая и общипанная!

Этого не вынести. И подножка трамвая это тебе не подмостки Ла Скалы. Можно было бы придумать любое другое имя, заманчивое, как название духов или кинокартины середины века, вроде Лолы, Лулу или... да впрочем, бабу, вырастившую ее, тоже звали Галиной, Галиной Алексеевной Асенковой. Из-за бабушки, из-за того, что в честь ее и внучку называли, никак нельзя обернуться в Лолу, Беллу, Виолу. Поменять имя — все равно что изменить надпись на бабушкиной могиле и вместо Галины Асенковой выгравировать Лола. Мы пойдем путем супруги и подруги тонкоусого спасительного² Дали и будем называться Галой. Gala. Просто, с шиком и подлинно.

Гала работала переводчицей по контракту на фирме “Каламит-сталь” полный рабочий день, кроме выходных и праздников. Работа собачья: то сопровождай специалистов из Союза по предприятиям фирмы, раскиданным по всему полуострову, то, наоборот, езжай в Союз, то неделями не разгибайся над компьютером,

¹ Galina — курица (лат.).

² Salvador — Спаситель (исп.).

переводя документацию, то в свое святое свободное время тащись на деловой ужин. Правда, платили как следует. Но, что имеем — не ценим. И единственным утешением и просветом был...

Ну да, конечно, был друг. Не в кожаной куртке с карманами на молниях, не в черном развевающемся плаще и уж подавно не в шляпе с пером, наоборот, лысоват, немного в годах, в жесткой бородке с проседью, всегда при галстукке, с портфелем, и единственное, что в нем было от кинокишного героя-любовника, — это манера курить сигару. Что, впрочем, было открыто потом. А тогда, в тот осенний, непасмурный, несолнечный день...

Гала приехала на Домскую площадь с добытым на “Каламит-стале” факелом. Гала зажгла факел, подняла вверх и пошла вокруг Собора. Она слышала за собой шелест шепота, разрывы хохота, видела, как люди останавливались и кивали в ее сторону. Возле Галереи полицейские в треуголках с красными кокардами не остановили ее, а дружно повернули головы по ходу ее движения.

Гала чувствовала себя в порядке. С тех пор как она ушла от своего безупречного и чужого мужа, она была одна в чужом городе, в чужой стране. Одна и одинока. Она много раз пускалась бродить по улицам в поисках человека. Человека во всех смыслах. Но его не было. Не было человека. И она вспомнила, что Диоген еще до нашей эры ходил с фонарем в поисках человека. Не очень-то разбогатело с тех пор человечество.

И вот она шла по Домской площади, вокруг собора, напоминающего гигантский торт, и уже никто не смеялся, не шушукал вдогонку. Все замолкали. Молчание. Шаги. Журчание воды в колонке на углу собора перед началом Корсо Витторио Эмануэле. И голос:

— Что ты делаешь?

Она взглянула: очки, усики, галстук.

— Ищу человека.

— Я тот человек.

И он не солгал.

Сейчас Гала знала о нем все, помнила наизусть все его даты и номера телефонов. Могла звонить по любому поводу, но звонила только по уважительному.

Утром она пришла на работу, в белые стены “Каламит-сталя”, и шеф, глотая кофе, протянул ей папку с документацией о прибывающей послезавтра группе специалистов. Гала вздохнула и открыла папку. Первое, на что упал ее взгляд, было слово Менделеевск. Само собой, Менделеевск; длинные улицы, много зелени (не как здесь, в кадках, за нехваткой места), стадионы под желтоватым навесом заводского дыма. Менделеевск, родной, незабываемый. Но! — среди прибывающих Сошкина Алла Петровна. Алла Петровна Сошкина. Коллега матери и еще не на пенсии. Она придет, узнает Галю, вспомнит, как на руках ее носила, попросит денег в займы, попросит сводить ее в музей-театры, захочет повидать ее дом, семью. Пустяки, все нормально. Да только они с матерью под семью замками хранят Галочкино развалившееся замужество. Чтоб злым языкам поводу не давать. В маленьком городе ведь жизни не дадут разговоры, разговорчики подружкины. А товарищ Сошкина, тетя Алла, как звала ее Гала с детства, была в подружьем авангарде. И прощай, мамин покой. Теперь откроется их тайна. Мама будет выставлена лгуньей. Выяснится, что Гала не в трехэтажном особняке с прислугой живет, а вот уже год в тесной типовой квартирке и сама моет полы. А мама... наверняка письмо с этой Сошкиной передаст, да еще, додумается, банку варенья.

В одной из чистых, с высокими окнами контор Милана, перед портретом Джузеппе Гарибальди, с желто-лимонным лицом и красной, пожарного цвета фесочке, веселой трелью застрекотал телефон. На лимонном лице уважаемого национального героя не дрогнул ни один мускул. Телефон снова весело застрекотал.

Серьезный мужчина, с бородкой, при галстукке и в пиджаке, но без красной фески, снял трубку и хорошо посаженным, пардон, поставленным голосом сказал:

— Pronto.

Что значит готов, что составляет часть лозунга и обещания пионеров “всегда готов”, а коль так, то и будь готов, и отвечай за свои слова.

— Ciao, tesoro, — донесся через лабиринт телефонной сети звенящий, вкрадчивый, суховатый, глуховатый, зовущий голос.

Постойте, что это? У славного Джузеппе Гарибальди на лимонном лице проблеснул румянец?

Серьезный мужчина, при галстукке, в пиджаке, тут мы окрестим его, наконец: синьор Ферт (так как он стоял фертом во главе своей семьи, предприятия...) опустил глаза и легкая улыбка закралась в его щетинистую бородку:

— Ciao... — оно повисло неразрешившимся аккордом признания и ожидания.
— Come va?¹

Гала рассказала о постигающем ее бедствии в виде Сошкиной, об утраченном покое матери, на который она имела полное и выстраданное право. “Cosa fare? Что делать?” — был последний вопрос. Вопрос, как наведенное дуло двустволки.

Да, да, — синьор Ферт согласен, — очень важно “сделать фигуру”, не ударить лицом в грязь. По-итальянски человек это персона. А по-латыни персона это маска. Значит, человек и маска это одно и то же, никто никогда ничего не узнает, главное, fare una bella figura, — “сделать хорошую фигуру”...

Бесстрашный национальный герой взвел бровь.

— Cosa fare? Cosa fare... Lo so io cosa fare², — синьор Ферт засмеялся, и его облегченный, уверенный, баритоновый, кремнистый смех разрядил двустволку и отвел на место героическую бровь. Все так и случилось, как предвидела Гала. Увидев ее, Алла Петровна, почти нерасположенная, с немного обрюзгшим лицом, воскликнула, подобно раненой газели, и кинулась обнимать, как мать солдата, вернувшегося с фронта. Затем заглядывать в глаза и подмигивать, мол, все мне расскажешь. Гала готова была расплакаться и дать ей под зад пинок. Но улыбалась, переводила, объясняла устройство оборудования и чувствовала, что Аллу Петровну это оборудование интересует, как прошлогодний снег, а в голове у нее вертится вопрос: “Что за прислуга есть у Галы? Надо выяснить, выяснить...”

После визита на предприятие состоялся обед для специалистов, во время которого Алла Петровна странным образом сосредоточилась не на кушаньях, а на одном обстоятельстве:

— Как же так, Галочка, муж-то у тебя богатенький, а ты, бедняжечка, работаешь? На заводе да в учреждении день коротаешь?

— Скучно ведь дома, тетя Алла, — возражала Гала.

— Как так скучно? — сомневалась тетя. — В бассейн пошла, с собачкой погуляла, отобедала, поспала, нарядилась, и вот уже на бал пора.

— На какой такой бал, тетя Алла? — удивлялась Гала. — Никаких балов не существует.

— Как так не существует? В кино показывают...

— Ах, в кино-о...

— Но ведь у тебя муж богатый...

— Что ж вы думаете, он целый день верхом прогуливается? Он тоже работает.

— Богатые не работают, — отрезала Алла Петровна.

— Хм, — пожала плечами Гала. — Они-то как раз и работают.

На следующий день после работы Гала сопровождала земляков по магазинам, предварительно удовлетворив просьбу Аллы Петровны дать ей взаймы: “ведь поменяли-то мало...” После хождения по ослепляющим блеском и ценами магазинам зашли в бар и Гала пригласила ее завтра, в воскресенье, “к себе” на обед.

На следующий день Гала подъехала к пансиону, приютившему инженеров из Менделеевска, на серебристом автомобиле марки БМВ, позаимствованном у синьора Ферта. Серебристая дверца (сезам, откройся) распахнулась перед Аллой Петровной. Она осторожно и небрежно села в автомобиль, но дверцу не закрывала:

— Знаешь, Галочка, я все же позвала остальных товарищей из группы... Ты же понимаешь... Чтоб никто не обиделся, раз-го-во-ров потом не было... И в партком чтоб никто, по обиде или из-за чего еще, чтоб никто не накапал. А так все ж заодно, сам на себя докладывать не пойдешь... — Алла Петровна кидала на Галу влажные взгляды.

— Ну где они, — усмехнулась Гала, — давайте сюда ваших орлов.

— Ах... ах, Галочка, дорогая, прям не знаю...

— Давайте не будем терять времени.

1 Привет... Как дела? (итал.)

2 Что делать? Что делать... Я знаю, что делать (итал.).

Алла Петровна победно махнула рукой, и почти в ту же секунду из-за двери вышли "орлы" — все четверо.

Они присутствовали на наших страницах, когда Гала сопровождала их по предприятию и магазинам. Но тогда они были частью официальной, а значит, где-то вынужденной. Теперь они входили в сферу личную. Все четверо были в темных костюмах, при галстуках и в туфлях. Причесаны гладко, выбриты гладко; у одного волосы немного сваялись и торчали на затылке, а из нагрудного кармана пиджака был выставлен конец бордового платка. Лицо его было круглое, белое, с синеватым румянцем на щеках.

Все четверо полезли на заднее сиденье. Круглолицему, Прокопу ("Жена называет меня Кошей", — подмигнул он Гале), не хватало места. Он решительно забрался на колени к своему товарищу.

— Нет, нет, — запротестовал тот, — за кого меня люди примут?

— Что ж мне, по-твоему, оставаться?

— Ты сядь впереди, а Аллочку Петровну возьми на колени.

— Что вы такое говорите, — поджала губки Алла Петровна.

— Тогда уплотнись, — хлопал Прокоп товарища по ляжке, — уплотнись...

Товарищ, бывший посередине, сел на краешек сиденья, крайний, со стороны Прокопа, подвинулся на освободившееся у спинки место, и Прокоп, благо худой, бочком втиснулся, утрамбовался, захлопнул дверцу.

Никто не представлялся, так как предполагалось, что все знакомы. А Гала ни сном ни духом не помнила их имя-отчества.

Гала заняла место за рулем.

— Как? — произнесла Алла Петровна. — А где ж шофер?

Гала прыснула от смеха и, показывая большим пальцем назад, выдавила:

— За нехваткой места... я его отпустила, — и включила зажигание. Тронулись. — Мы сейчас живем за городом. Поэтому обед будет там. Кстати, муж в командировке. Поэтому прислугу я почти всю отпустила...

Пошел дождь. За стеклом все расплывалось, видимость почти пропала. Гала нервничала и злилась на синьора Ферта, на его безумную затею.

— Включи щетки, — сказала Алла Петровна.

— Ах, — обрадовалась Гала и с улыбкой посмотрела на Аллу Петровну: все-таки не зря ее считают интеллигентной и современной женщиной.

На Алле Петровне был светло-серый костюм в талию, сшитый в менделеевском ателье. Цвет костюма перекликался с матово-серым цветом ее глаз. Из-под пиджака виднелась розовая блуза с бантом, уже производства Италии, ресницы Аллы Петровны были покрашены тушью, лицо напудрено, щеки нарумянены и губы наведены розовой помадой. Была она надушена и в ушах везла тяжелое золото с рубином. Одним словом, выглядела она моложе и стройнее, чем все три предыдущих дня, и лицо ее не казалось обрюзгшим. Да и сама Гала была в мажоре. На ней поблескивал тонкий кожаный плащ, и на шею выбивался фиолетовый кружевной шарф. Между разошедшимися лапами плаща виднелась кружевная черная юбка, проходящая краем ровно по коленям, руки, держащие руль, были пленены кружевными перчатками, а на пальце черным глазом сверкал синий сапфир — последний из выживших после торгсинов. Конечно, для синьора Ферта она бы так дотошно не одевалась — весь парад был устроен для — гип-гип — Аллы Петровны!

Дождь, неожиданный, сильный, кончился. Засветило, разыгралось солнце. "Как ярко светит..." — засвистел кто-то на заднем сиденье. Выехали из Милана. За окном тянулись зеленеющие поля и мелькали проблески берез.

— Как у нас! — восхищалась Алла Петровна. — Ну совсем, как у нас!

Проехали то, что на административном русском называлось бы поселок городского типа, с небольшими особняками и скверами, пересекли мост, возвышающийся над небольшой рекой, и впереди открылся просторный зеленый луг, в глубине которого, за оградой, стоял двухэтажный желтый особняк. У ворот замедлили ход, Гала нажала кнопку автоуправления, и ворота плавно разъехались перед ними в разные стороны, а серебристый автомобиль не менее плавно въехал на белую дорогу, обогнул клумбу с голубым фонтаном и остановился у парадного подъезда особняка.

— В желтом доме чертиков зеленых ловишь ты казенной простыней... — пробормотала тетя Алла.

— Что? — не поняла Гала.

— Да так, ничего, цитата...

Дверь парадного открылась, и по лестнице к гостям, в черных брюках, в черных лаковых туфлях, в белом пиджаке, при бабочке красного цвета, начал спускаться синьор Ферт.

Орлы подтянулись, одернули пиджаки и потрогали галстуки.

— Свинцов, — протянул руку спустившемуся первый из числа гостей, — Ким Лаврентьевич,

— *Piacere*¹, — пожал руку синьор.

— Шелапутько Андрон Макарыч.

— *Piacere*.

— Планида Адам Иваныч.

— *Piacere*.

А Прокоп помахал рукой:

— Чао, меня зовут Коша.

Синьор кивнул ему.

Гала яростно вспоминала все подученные от него инструкции.

— *Salve. Ha telefonato qualcuno?*²

— *No, signora*³.

Земляки дружно повернули в сторону Галы голову.

— Ах, да... это наш мажордом.

— Кто? — воскликнули вместе тетя Алла и Свинцов.

— Мажордом. Бог мой, следит за порядком в доме.

— То есть слуга? — медленно произнес Свинцов.

— Да, — опустила Гала глаза, — вообще-то, слугам не представляются и за руку не...

— Слу-гам... — повторял Свинцов Ким Лаврентьевич.

— Не расстраивайтесь, — смягчилась Гала. — Вы ж коммунист, Ким Лаврентьевич?

— Понятно.

— Значит, слуга народа. И он тоже слуга. Мой. А я — советская гражданка, народ. Получается, вы коллеги. Ладно, прошу в дом.

И Гала резво побежала по лестнице. Она понимала, что немного развязности примут за уверенность в себе.

Гостиная была обставлена множеством диванов, низкими столиками, растениями, и в центре голубел облицованный мрамором камин, над которым... Да, да, ты уже угадал, читатель, как в конторе миланского сити, над ним висел совершенно такой же лимонный и в такой же красно-пожарной фесочке портрет Гарибальди.

Гости устроились на диванах.

Гала позвонила в колокольчик.

Тут же появился синьор Ферт.

— *Si, signora*⁴.

Гала велела включить музыку, принести гостям аперитив, предложить сигары.

Она встала.

— Чувствуйте себя как дома.

И вышла в одну из боковых дверей: нужен был туалет. Но это оказалась небольшая комната непонятного назначения. Оббита она была голубой тканью, имела окно во всю стену с тяжелой бархатной шторой с кистями. Перед окном стояли столик на гнутых ножках и кресло. На стенах висели три овальные миниатюры.

— Пряма какая-то мечтательская, а не комната, — подумала вслух Гала и прошла в следующую дверь. Это было понятно: спальня. Настоящая супружеская спальня. На кровати поместилось бы человек двенадцать. Гала осторожно присела на краешек атласного покрывала.

1 Очень приятно (*итал.*).

2 Добрый день. Никто не звонил? (*итал.*).

3 Нет, синьора (*итал.*).

4 Да, синьора (*итал.*).

— Что это они, только пятерых детей произвели... Тут можно и больше.

Она зажгла ночник на тумбочке. И тут она увидела на белой полке под окном ряд разноцветных, расписных странных сосудов. То есть форма их была самая банальная: горшки. Но это-то и было странно, так как совершенно не вязалось с узорами на них. Гала взяла один, кремового цвета. И в подражание краснофигурным греческим вазам на них были изображены нагие мужчины в профиль с нитью дугой от паха до земли. На другом горшке, на ножках-лапках, по синему фону летали какие-то археоптериксы, видно, райские птицы, и росла зеленая трава. Над всеми господствовал желтый горшок с ручкой и крышкой. Никакого рисунка. Гала подняла крышку и заглянула внутрь: синий глаз. Она отпрянула. Со дна горшка на нее смотрел синий глаз с черным зрачком посередине, опущенный бахромой ресниц и заключенный в равносторонний треугольник. То ли были нарисованы, то ли в самом деле от него исходили лучи. Гала закрыла крышку и дверь спальни за собой. Увидела себя в огромном зеркале на противоположной стене. Наконец-то: отходя.

Она мерцала кафелем, паркетом, ванной и, естественно, ватер-клозетом. Гала долго не задерживалась и повернула черную ручку в зеркале. Часть его открылась в длинный коридор. Слева — лестница на второй этаж, справа — дверь. Ей, явно, не наверх. Она открыла дверь в конце коридора и оказалась в гостиной, среди гостей. Они пили нежно-розовый напиток, звенящий льдом в высоких бокалах. Кто-то курил сигару. Играла легкая джазовая музыка.

Увидев Галу, Алла Петровна встала и пошла ей навстречу, разводя руки со стаканом.

— Галочка! Что ж вы все нас покинули. И ты и твой камергер.

— Мажордом.

— Ну, разумеется.

Алла Петровна склонилась к Галиному уху и зашептала.

— Сюда, — показала Гала на дверь, из которой только что вышла. — Единственная дверь в коридоре, это и будет...

— Спасибо, спасибо, — с чрезмерной любезностью благодарила Алла Петровна, проходя мимо. Глаза ее искрились. Видно, нежно-розовый напиток был с крепостью.

Гала раскинулась на диване. Потянулась, взяла со столика бокал. Опять раскинулась. Отпила глоток.

— М-м...

— Кхы-кхы, — сказал Планида.

— Кгы, — сказал Коша.

Вздыхнул Свинцов.

Гала отпила еще глоток. Действительно, нежно-розовый напиток был с градусами.

— Что это мы слушаем? — резко поднялась с дивана Гала. — Давайте-ка поставим мою любимую, милую-премилую песенку. А-ба-жа-ю ее сейчас.

Она поменяла пластинку и пулей выскочила к “мажордому”.

— Carrello, — горячо, алкогольно выдохнула в его сторону. — Carrello!¹

Заиграла музыка, гармошки и скрипки.

“Мажордом” подал шляпу. Гала надела ее, щелчком сбила набок, подмигнула и вышла.

Песня была “Лили Марлен”. Пела Марлен Дитрих. Гала начала синхронно подпевать и подтанцовывать. Она ритмично прошлась по гостиной, закинув голову оперлась на спинку одного из диванов, подошла к товарищу Свинцову, потрогала лацкан его пиджака и сделала жест, как будто в вытянутых пальцах держала сигарету, товарищу Коше она смело села на колени и встала, заметив, что в притворенную дверь с улыбкой за ней следит “мажордом”. Музыка кончалась, и Гала кружилась до последнего звука.

— Bravo, — захлопали Планида, Коша, синьор Ферт. У Гарибальди разгладились морщины на губах. А товарищ Свинцов встал:

— Постойте, это же, я вспомнил, песня фашистская. Гитлеровская песня...

Гала сняла шляпу, подкинула и поймала:

1 Шляпу! (итал.)

— Знаю, Ким Лаврентич. Из нашей семьи трое, дед и два его брата, еще не вернулись с той войны. Но позвольте мне заметить, песня рассказывает о немецкой девушке, которая ждет своего друга. И женские слезы, будь они русских или немецких жен и матерей, одинаково соленые. К тому же поет ее Дитрих, которая не приняла фашизм. Это можно расценивать как протест тех, кто должен ждать и плакать... Да что там! Споем “Катюшу”, — и Гала завела.

Все подхватили. Товарищ Свинцов смягчился. А песня оказалась кстати: нежно-розовый напиток давал себя чувствовать. Чеканный, бодрый мотив и пять не жалеющих себя глоток создавали такой воинственный дух, что, пожалуй, храбрый Гарибальди готов был вступить: “*Si scorgon le tombe, si levano i morti...*”¹

Пение вдруг резко оборвалось. Поющие увидели Аллу Петровну, вошедшую в ту дверь, в которую в свое время вышла Гала в поисках туалета. Увидели Аллу Петровну с мертвенным лицом и повисшими, как плети, руками с пустым бокалом.

— Что случилось? — перепуганно кинулась к ней Гала.

Алла Петровна ничего не могла сказать, только жалобно кривила губы.

— Да что с вами? — спрашивали все.

Алла Петровна посмотрела на Галу и вздохнула:

— И это все твое? — кивнула на дверь за собой.

— Это-то? Ах... Да чепуха это все, тлен, не обращайтесь внимания. Еще прапрадедушка по мужу наживать начал.

— На миниатюре который? — указала Алла Петровна пустым стаканом на дверь.

— Ну да.

В эту минуту “мажордом” объявил:

— *Signori, il pranzo e servito.*

— Что он сказал? — беспомощно спросила Алла Петровна.

— Кушать подано, — утешала ее Гала.

Столовая с одной застекленной стеной, за которой зеленел сад, казалась огромной. Белая лестница вела на верхний этаж. Длинный, метров в пять, стол был накрыт на пять персон. Синьор Ферт не уставал объезжать их с сервировочной тележкой, уставленной закусками и винами, и то и дело подкладывать в тарелки да подливать в бокалы. Разговор шел о пустяках, о погоде. Но еда и вино постепенно производили свое смягчающее действие, и кое-кто уже расслабил галстук.

— Ах, Галочка, вот вы живете среди этого обилия, благополучия, без проблем, мажордом ваш, как с эстрады сошел, скажите, скажите, что вы, как вы себя чувствуете? — озабоченно вздыхал Адам Иванович Планида.

Гала пожала плечами, как бы пытаясь распробовать, что она, как она себя чувствует.

— Да ничего. Легко.

— А люди здесь как? — не унимался Адам Иванович.

— Ну, знаете, по моему личному опыту, люди прекрасные. Просто-таки хорошие люди. Детей очень любят. Но...

— Но что но?! — воскликнули в один голос Адам Иванович, Ким Лаврентьевич и Алла Петровна.

— Но-о...

— Что же “но”? — с надеждой настаивал Ким Лаврентьевич.

— В газетах пишут, по телевидению показывают, да и так то и дело слышно, убийства, коррупция, терроризм, мафия, наконец, наркомания. Возле школ так называемые спаччатори, торговцы наркотиками, дают детям конфеты с марихуаной. Ребенок попадает под влияние и становится постоянным клиентом...

— Чудовищно, — ужаснулась Алла Петровна.

— Чего же этим людям не хватает? — спрашивал Адам Иванович.

— Ведь все есть в магазинах, — развел руками Коша. — За маслом, как в Менделеевске, не надо в семь утра вставать. Из одежды, обуви — все есть. Вина вон какие...

— Что ж вы хотите сказать, у нас вина плохие? — строго посмотрел на Кошу товарищ Свинцов.

¹ Открываются могилы, встают мертвые (итал.).

— Вот и я начала думать, — пришла Коше на выручку Гала, — нужна ли людям свобода? На что они ее используют?

— Да? — спросил Адам Иванович.

— Чтобы поесть хорошо, — продолжала Гала, — и потом обговаривать *some si mangia bene*; поразвлечься подороже и этим козырнуть перед знакомыми.

— Что же в этом дурного? — удивился Коша.

— Они не знают цену свободе.

— Действительно, — сказал Адам Иванович, — цену знают тому, чего не имеют.

— Ладно, согласна, — начинала горячиться Гала. — Но за что же тогда страдают, борются, умирают лучшие из людей? Чтобы обыватель спокойно справлял свои нехитрые нужды? Вел ординарную растительную жизнь?

— Что же неестественного, — снова удивился Коша, — в, как ты выразилась, ординарной растительной жизни?

— Рутинка, рутинка, — простила Гала.

— Нет, Галочка, — пожурил ее Коша, — в ней простота. Простота, которая не должна быть деформирована отсутствием свободы. Побольше снисходительности к повседневной жизни, она вырабатывает как раз лучших людей. Не от удара же молнии они являются...

— М-м-да, — произнес Планида.

Гала молчала.

— Не жить же человечеству на баррикадах ради туманного лжеромантизма...

Гала вздохнула:

— Да, видно, ты прав. Я ведь сама такая же, как они. Обожаю, например, Валентино...

— Кто такой? — впервые, если не учитывать “Катюшу”, подал голос молчаливый Шеллапутыко.

— Это знаменитый стилист.

— Как? — переспросил Коша.

— Стилист. Создает фасоны одежды.

— Портной-закройщик, — понял Шеллапутыко.

— Да нет, он владелец крупных предприятий легкой промышленности, которые выпускают одежду по его эскизам.

— Понятно, раз владелец...

— Но, главное, он художник-модельер. Просто художник. Иметь платье от Валентино очень престижно, потому что он знаменитость, известен во всей Европе, Америке...

— Портной, и такая шишка... — переваривал информацию упрямый Шеллапутыко.

— Вот у меня, например, юбка от Валентино, — Гала встала и прошла вдоль застекленной стены. — Цена совершенно немыслимая. Столовый гарнитур можно купить.

Она позвонила в колокольчик. Тут же появился “мажордом”.

— *Diventa bujo. Accendi la luce*¹.

— *Si, signora*².

В электрическом свете на юбке заискрились крохотные росинки.

— Постой, постой, — встал из-за стола Коша и, легонько пошатываясь, подошел к Гале, пощупал юбку. — Это ж... простое кружево... и фасончик, — он за бедра повернул Галу спиной, — фасончик-то простенький, в сборку... Моя Ларочка такую за два вечера смастерит, было бы из чего...

— Ах, вы никак не поймете, — слабо запротестовала Гала и села за стол. — Такая здесь система ценностей. Если на тебе платье от Валентино, честь тебе и почет.

— Понятно, это как у нас канадские дубленки, — заключила Алла Петровна.

— Разницы никакой: что у нас, что здесь, — вынес приговор Шеллапутыко. — Слабости у человека везде одинаковые.

— Это как же? — размышлял товарищ Свинцов. — Ведь у нас революция произошла, а у них нет.

1 Темнеет. Зажги свет (итал.).

2 Хорошо, синьора (итал.).

— А у них революция без революции, — Гала начала уставать и злиться, что ты им про юбку, а они про революцию. — Мы королевского обойщика Поклена Жан-Баттиста знаем только благодаря его сыну. А сейчас бы королевский обойщик назывался дизайнером и... Поклен-Карденом.

Стеклянная стена начала бесшумно раздвигаться, и в столовую вошел мальчик лет десяти, очень аккуратно причесанный, в спортивном костюме.

— Come mai, — обратился он к “мажордому”, — sei in giacca da cameriere?¹

— Lavoro, non lo vedi? E tu come mai sei qui?²

— E’ cominciato a piovere e le mamma ha deciso di tornare. Sono arrivato primo per scommessa, loro saranno qui fra poco.³

— Oddio,⁴ — прошептала Гала и кинула панический взгляд на синьора Ферта. Он спокойно посмотрел в ответ.

— Ciao! — обратился мальчик к гостям.

— Buona sera, — привстала со стула Гала.

— Добрый вечер, — ответили вразнобой Алла Петровна, Ким Лаврентьевич, Коша, Планида и Шелапутько.

— Ma! Siete stranieri! Do you speak English?⁵

— And do you speak Russian?⁶ — в штыки встретила Гала вопрос самоуверенного мальчишки.

— E chi lo conosce?⁷ — возмутился он.

— Appunto. L’inglese, e soprattutto l’italiano, qui lo parlano tutti, mentre il russo solo pochi o eletti. Quindi...⁸

— Va bene, — сказал мальчишка. — Buon proseguimento,⁹ — взбежал по лестнице и скрылся.

— Apri il bar, — обратилась Гала к “мажордому”. — Offri l’amaro agli ospiti, mi pare che cominci a essere tardi...¹⁰

— Sì, signora, — вздохнул он и нажал невидимую кнопку.

С нежной шкатулочной музыкой часть стены отодвинулась, и в розоватом, голубоватом проеме величиной в окно представилось несколько дюжин всевозможных и — о диво! — неначатых бутылок.

По гостям прошел сдавленный выдох.

— Desidera un “Brivido di menta”?¹¹ — начал предлагать “мажордом”.

— No, non quel dentifricio liquido... “Averna...” è meglio.¹²

— Sì, signora, — и он начал разливать.

— Вот что, — обратилась Гала к землякам, — в качестве сувенира возьмите себе по бутылке, какая нравится, из этого бара.

“Да что ты”, “Не надо”, “Спасибо, но”, — отвечали гости.

— Ну же, — не терпелось Гале, — прошу вас. — И к “мажордому”: — Lascia passare signori ospiti. Gli regalo una bottiglia a ciascuno come omaggio.¹³

“Мажордом”, который совсем не стоял поперек дороги, отошел в сторону.

— Sì, signora.

Гости не вставали с места.

— Ну же! — повторила Гала.

Алла Петровна взялась за подлокотники и хотела было вставать, как ее остановила рука Свинцова, и он ей что-то зашептал.

— ...что подумают, — расслышала Гала.

Она рассмеялась.

— Ну, ладно... не будем терять время.

1 Почему ты в пиджаке официанта? (итал.).

2 Работаю, не видишь? А ты почему здесь? (итал.).

3 Пошел дождь, и мама решила вернуться. Я пришел первым на спор, а они скоро будут (итал.).

4 О, Боже! (итал.).

5 Да вы же иностранцы! Вы говорите по-английски?

6 А вы по-русски? (англ.).

7 Да кто его знает? (итал.).

8 Вот именно. По-английски, а тем более по-итальянски здесь говорят все, между тем как по-русски немногие или избранные. Так что... (итал.).

9 Ладно. Приятного продолжения (итал.).

10 Открой бар. Предложи гостям бальзаму, кажется, становится поздно... (итал.).

11 Желаете “Судороги мяты”?

12 О нет, только не этот эликсир для зубов... Лучше “Аверна” (итал.).

13 Пропусти господ гостей. Я им дарю по бутылке в качестве сувенира (итал.).

Она взяла и каждому, Алле Петровне, Киму Лаврентьевичу, Коше, Шелапутько и Планиде, дала по две полных, красивых, тяжелых бутылки.

— Вот сувенир. Не обижайте хозяйку. А то я подумаю, что сувенир слишком скромный...

— Да что вы, — облизнул губы Планида.

— Да как вы...

В эту минуту погас свет и оборвалась нежная, улащающая шкатулочная музыка. Что-то стеклянное, вероятно бутылка, упало на пол и разбилось.

— Ох! — голос, кажется, Планиды.

И вдруг раздался идиотский, страшный, пиратский хохот дурных пьяных глоток; вслед за ним слабое противное жужжание и вверху появилась безобразная, немыслимая рожа — смесь динозавра с наркоманом, какой-то удушенник Змей Горыныч. Рожа фосфоресцировала, из глаз валил дым, из пасти, ритмически открывающейся, высывались языки пламени и искры его летели вниз.

— А-а-а! — раздался безумный крик Аллы Петровны. А за ним бешеный крик синьора Ферта:

— Smettila, Alberto, senno ti rompo...¹

И пиратский хохот динозавро-наркоманской рожи покрыл дерзкий и веселый смех мальчишки.

Зажегся свет, то есть его зажег синьор. Рожа потеряла всю прелесть, и ужимки ее при свете показались смешными. Остановить ее было невозможно: она питалась от батарейки и с хохотом носилась по столовой.

— Техника, — выругался Свинцов Ким Лаврентьевич.

А Коша скорчил гримасу и стал с хохотом подражать теперь уже жалкому страшилищу. При этом он приседал и подпрыгивал.

— Ха-ха-ха, — снова слышался смех мальчишки, и все подняли головы вверх, где он стоял на лестнице.

— Ха-ха-ха, — чтоб не разрыдаться, захохотала Гала.

— Ха-ха, — отозвался Планида. За ним начали смеяться Шелапутько и “мажордом”. Шелапутько ухватился за спинку стула и за свой живот. “Мажордом” упал на стул за столом и закрыл лицо руками. Мальчишка повис на перилах. Свинцов икал от смеха. Рожа продолжала носиться, а Коша ее догонять. Шелапутько ухватился обеими руками за живот и его вырвало. Смех оборвался.

Коша, наконец, поймал рожу, стукнул ее об пол, и она затихла. У Шелапутько по щекам текли слезы.

— А где же Алла Петровна? E dov'è Alla Petrovna? — произнесла Гала, и все забыли о Шелапутько.

— Где?

— Dove'è?

— Где?

Алла Петровна пропала. В доме ее не было. Обшарили весь.

Свинцов Ким Лаврентьевич побелел и осел на стул:

— Я пропал. Я же отвечаю...

— Боже, — держалась за лоб Гала, — что же она теперь маминым подружкам расскажет...

Синьор Ферт зашептал ей что-то на ухо. Потом исчез. И через минуту подъехал к стеклянной стене на “Ланча-Теме” верблюжьего цвета. Гала крикнула:

— Товарищи, возвращаемся в Милан. Может быть, Алла Петровна уже вернулась в пансион. Может... В крайнем случае, заявим в полицию.

— О-о-о! — простонал Свинцов и схватился за сердце.

Тем не менее сели в машину.

— Бутылки, бутылки, — напоминала Гала гостям, без того сующим подарки в карманы.

— Pulisci bene!² — махнула она рукой “мажордому”.

— Sì, sì...³

Гала начала смеяться и включила зажигание.

Поворачивая за угол дома, она увидела в зеркальце, как хохотал, схватив-

1 Прекрати, Альберто, не то я тебе... (итал.).

2 Прибери хорошенько! (итал.).

3 Хорошо, хорошо... (итал.).

шись за стену, синьор Ферт. Гала перестала смеяться и показала зеркальцу язык.

При выезде из ворот они встретили группу людей: очень моложавую и весьма интересную даму и четверых молодых людей и девушек от тринадцати до двадцати лет.

— Семейство возвращается, — пробормотала Гала.

— Чье семейство? — подмигнул сидевший рядом Коша.

— Прислуга с детьми после выходного...

— Пра-авда, — сказал сзади Шелапутько, — сегодня воскресенье.

Через пару километров настигли на дороге Аллу Петровну, шагающую по обочине решительным шагом. Почти насильно втащили ее в машину. Она молчала и не отвечала на вопросы и на восклицания, только кивала головой и иногда поворачивала ее к Гале.

КНЯЗЬ

В большой комнате, несмотря на ее величину, было уютно. В центре стоял круглый стол с вазой, накрытый бархатной скатертью до пола, вдоль стен мягкие старомодные диваны с круглыми подлокотниками, два темных книжных шкафа, на картинах вечерние и предгрозовые пейзажи в добротных рамах в тон потускневшей васильковой обивке из ситца на стенах. Над столом горела лампа в плафоне зеленоватого матового стекла. Этот зеленоватый, неспелого яблока отлив лежал на всем: на пейзажах, обивке, даже лицах, — не только из-за лампы: на окнах висели негнувшиеся зеленые шторы.

На диване сидели несколько молодых людей и о чем-то беседовали. Посмотрите на портреты Бунина, Булгакова, Блока, Рахманинова, Хлебникова, Уайльда, кн. Вл. Трубецкого и им подобных, и вы увидите, что у всех у них удлинённый овал лица, высокий лоб, длинный, но пропорциональный овалу нос, пристальный и спокойный или напряженный взгляд. Вы увидите, что у всех у них одно лицо, со своими отклонениями в разрезе глаз, изгибе губ, горбинке. Все молодые люди, которые встали при появлении Воздухосветова и Асенковой, принадлежали к этому типу, несмотря на разницу в цвете глаз и волос.

— Только хозяина и дожидаемся, — сказал один из них.

— Здравия желаю, господа, — поздоровался Воздухосветов. — Пришлось отлучиться за новым гостем. Разрешите представить, мадемуазель Асенкова.

Она улыбнулась блуждающей улыбкой и еле сдержалась, чтобы не сделать реверанс. Внутри ее напряглась и сжалась какая-то пружина.

— Счастливчик ты, князь, — пошутил тот, кто представился бароном Мирбахом, и приложился к ее ручке: не поцеловал, а только взял ее руку и в легком поклоне приложил к своей щеке.

То же самое проделал

и

— Князь Оболенский;

и

— Князь Волконский. Добро пожаловать в наши пенаты;

и

— Князь Трубецкой. Признайтесь, вы имеете что-нибудь общее с *той* Асенковой?

— Разумеется, князь. Фамилию.

— Но сегодня не все в сборе, — пояснял Воздухосветов, или уместно вспомнить, князь Воздухосветов. — Мы не являемся каким-либо обществом. Мы просто любим пить чай в кругу своих. Из правил, кроме хорошего тона, есть только одно: говорить по-русски. Разумеется, не с горничной — она француженка.

Он позвонил в колокольчик.

Появилась пожилая женщина в опрятном переднике и наколке с сервировочным столиком на колесах и быстрыми, точными движениями покрыла бархатную скатерть белой, расставила приборы, подала чай, сладости к нему и пирожки.

Тем временем все внимание было направлено на новенькую. Разумеется, никаких вопросов, но ожидание стояло в воздухе.

— Что ж вам рассказать о себе? — развела она руками. — Мне не в чем покаяться. Я даже первородного греха не чувствую за собой.

— Он есть за всеми, — сказал барон Мирбах.

— В том-то и дело. В остальном я советская студентка...

— А в Европу как попала? — вставил князь Оболенский.

Асенкова запнулась.

— По приглашению, как я, — пришел ей на выручку князь Воздухосветов.

Асенкова метнула ему благодарный взгляд.

— Работала переводчицей, — заключила она кратко и холодно, — работаю в рекламе.

— Чай остывает, господа, — пригласил Воздухосветов к столу.

Все сели за стол, налили себе в чашки, но никто не пил: сидели, молча опустив глаза.

Молятся, что ли? Но не слишком ли длинно для молитвы?

— Я себе заварки добавлю, — не выдержала Асенкова.

— Каждый поминает своих невинноубиенных, — посмотрел на нее князь Трубецкой. — Разве у тебя их нет?

— О, да... — смутилась она. И перебрала в памяти и дядю Семена, и дядю Константина, и деда Ивана, и бабушку Марию, и младенца дядю Вячеслава.

— Виновных нет, — произнес князь Трубецкой. — Никто ни в чем не виновен, ни убившие, ни убиенные.

— Это слишком удобно, — возразил барон Мирбах. — Кто-то же виноват, что мы сидим за столом в Париже, а могли бы сидеть в Гатчине.

— Ну, сидеть за столом в Париже мы могли бы в любом случае, — положил себе сахару князь Воздухосветов. — Наши прабабушки отсюда не выезжали, здесь проживали доходы с имений, а иногда и сами имения.

— Да, — вспомнила Асенкова, — Мари Башкирцева, а значит, все семейство, последние четырнадцать лет жизни почти безвыездно провела во Франции.

— И не только она, — кивнул князь Оболенский.

— Виноват Кутузов, — заключил барон Мирбах.

Его не поняли.

— Если бы он не поджег Москвы, то победа была бы за Наполеоном и вся Россия сейчас была бы Парижем.

— Упоительный, вавилонский город! — хлопнула в ладоши единственная здесь женщина и осеклась.

— Это слишком вольная гипотеза, барон, — сказал князь Трубецкой. — А вся наша слава? Денис Давыдов, наш Император, кирасирский полк — славы бы не было.

— Действительно, — удивилась Гала, — это все равно что предположить, что в тот вечер не пошел бы дождь и мой папа не спрятался бы под тем крыльцом, под которым спряталась и моя ма... — она замолчала на полуслове и решила, что лучше, если она будет пить чай.

Ей улыбнулись.

— Как знать, была бы вся Россия Парижем или нет, — вступил князь Волконский, — а Парижской коммуной была.

— Вот именно, — поддержал его князь Оболенский, — и вина наших с вами прадедушек, господа, что они привили французский вирус у себя дома. Ничего другого Европа нам не дала.

— А итальянские зодчие? — прищурился барон.

— Французский вирус разрушает и итальянские зодчества.

— А Бенуа, Фаберже? — не сдавался барон.

— На другой чашке весов Россия — Европе, гири намного больше.

Князь Волконский сдержал вздох:

— Да, да, мучительное донорство. Все лучшие, свежие силы, или почти, поступили в дряхлеющую кровь и культуру Европы.

— Не все, — мрачно улыбнулся князь Трубецкой. — Больше поступило в места более отдаленные...

— Я на днях, — продолжал князь Волконский, — видел "Les lillas de

Charcoff”¹, книгу Мадлен Демонжо. И у нее мать была русской. Я этого не знал, господи! Разве бы ей не нашлось дела в Российской империи? А все потому, что не любили ее, не ценили, прокутили наши с вами, господи, прародители!

— Нет! — привстал князь Трубецкой, — брат моего деда, Владимир, в 37-м остался в сталинских лагерях! А ты — прокутили!

— Ты прав, князь, — поддержал его Воздухосветов, — они не любили ее, а не знали, что любят. А когда узнали, их уже вычеркивали пулеметными очередями в Крыму.

Дверь отворилась, и в комнату вошел высокий, подтянутый человек. Ему было лет восемьдесят, но стариком не назовешь. Седина к нему не подступилась — волосы походили на пепелище. Синие глаза помутнели и смотрели отсутствующе из-под лохматых бровей. Небольшой нос был безукоризненно орлиным. Кто видел его, тот навсегда понял, что орлиные носы — это носы-красавцы. Губы выцвели и были плотно сжаты, бледные холеные щеки обрюзгли, и тонкая сеточка капилляров покрыла их темным румянцем.

При его появлении все встали, как школьники.

— Сидите, сидите! — поднял он белые ладони. — Иначе не побыть мне с молодежью, как равному.

Говорил он негромко, но и в том слышалась привычка приказывать. Голос был крепкий и тронутый не ржавчиной, а тусклостью, как старая позолота.

— Познакомьтесь, дядюшка, — не до конца справлялся со смущением Воздухосветов. — Мадемуазель Асенкова, переводчица, работает в рекламе... А это мой дядя, князь Александр Глебович Воздухосветов.

Старый князь молодо поклонился.

— Что же, — уселся он за стол, давая знак всем садиться, — послушаем, какие крестословицы вы здесь сочиняете? А чай совсем остыл...

Он позвонил горничной и ласково попросил нового чаю и прибор для себя. “Если бы вот так ласково, — подумала Асенкова, — он попросил меня поджечь на себе платье, я бы не задумываясь подожгла...”

Наконец, началось чаепитие.

Дни проходили за днями, а Асенкова снова и снова находилась в этой комнате с зелеными шторами на окнах. Шторы были перевязаны по середине витым шелковым жгутом и походили иногда на снопы, иногда на бабочек, в зависимости от освещения. Были здесь те же лица дворянского собрания, появлялась в пятом колене молодая Пушкина, были и новые имена, знаменитые или случайные, из киноискусства, журналистики, предпринимательства. Не миновал сей чаши и Соффритти. Асенкова всегда держала себя спокойно, голоса не повышала, на вызовы не поддавалась, научилась больше молчать и аккуратно заносила в блокнот все, на ее взгляд, интересное, о чем говорилось. Из этого складывались тезисы, свободные от страстей, повышенных голосов, вспышек смеха, перепалок и вношения чая со сладостями. И несмотря на это, у нее оставался вид человека, в котором взведена пружина. Она давала себя знать в излишнем блеске глаз, в слишком веселом смехе, в нервности некоторых жестов, в излишней порой искренности или в рукопашных, как с молодой Пушкиной.

Молодая Пушкина, чтобы походить на портрет далекой прабабки, носила преувеличенно декольтированные свитера, давая место и жемчужным бусам, и семейным тяжелым локонам.

— Слава Богу, мои родители вовремя эмигрировали, — откидывала она за спину черный завиток. — Конечно, им было нелегко. Но зато моя культура не была прервана.

— Что же, вам не знаком опыт прерванной культуры?

— И какой же он?

Асенкова закрыла глаза и помолчала.

— Как большая усадьба после бомбежки. В стенах зияют черные дыры (кто-то их зовет белые пятна), крыша почти сорвана, фундамент кусками выворочен. А мы бегаем от дыры к дыре — оттуда подуло, там закапало — и пытаемся их заделать. В этом здании нам жить. Так что мы — какие там реставраторы, эти

¹ “Харьковская сирень” (франц.).

после нас придут! — штукатуры мы и маляры, делаем черную работу.

— Вы так говорите, — подняла плечо и склонила к нему голову Пушкина, — как будто упрекаете меня в том, что я в этой черной работе не нуждаюсь.

— Это вы вашим “зато” намекнули на всех нас, там и оттуда, с нашей вырезанной культурой.

В вазе менялись цветы, на столе сменилась скатерть, менялись темы дискуссий, как узоры в калейдоскопе. Но неизменно, за столом ли, на диване, у окна, рядом с плечом Асенковой оказывался Николай Воздухосветов. Каково же было пропускать эти вечера или убегать с них раньше времени! Но успех не щадил. Приходилось улетать то в Нью-Йорк, то в Будапешт, то в Лондон на съемки, показы, гала-приемы. Повсюду ждал сезам гостиниц-люкс и корзины цветов. Это нравилось неисправимо, неизмеримо, не меньше, чем быть мишенью внимания, когда расстреливает очередь фотовспышек или когда просто выходишь на подмостки в темно-синем бархатном платье и зал аплодирует. Мелкое, мелкое тщеславие! Но как от него можно млеть! Там, назовем этот сплошной праздник работой, она неслась, как по течению горной реки!

Совсем иное Воздухосветов. Другой мир. Она входила в него, и горная река разливалась озером. Воздухосветов всегда был спокоен. В Париже он гостил по приглашению дяди Александра Глебовича. Когда-то дядя был женат. Но детей не хотел, думал, вот вернуться в свое имение, под Орел... Так он овдовел, больше не женился, не вернулся и остался один. Детищем его было дело. “Воздухосветовка” его производства — водка, чистая и обжигающая, славилась по всем америкам с европами, не включая отечества. Будущее этого детища волновало дядю Александра Глебовича и заставило призвать из Москвы внучатого племянника Николая. Он полюбил и привязался к молодому человеку. В нем все было таким, как будто он рос в том самом орловском имении. Дядя не мог желать лучшего. Не откладывая в долгий ящик, он сообщил Николаю предварительный текст завещания, по которому он входил во владение не такого уж скромного водочного княжества.

— Вы ведь знаете, я из Москвы никуда, — сказал Николай, выслушав текст завещания. — От наследства не откажусь, но все его для России использую. Понимаю, я один ей не помогу. Может, и меня она перемелет в своей мясорубке. Но и без одной капли чаша не полна. Но если я хочу помочь ей, то должен быть с ней. Только если каждый в своем маленьком кругу будет поступать с ней справедливо, она сможет возродиться.

Дядя прослезился — долго ли старому человеку?

— Ты, как отец мой. Таким его и вижу, как тебя сейчас. Я совсем мальчишкой был...

Потом нахмурился, проворчал.

— Ты не думай, не думай, что я боюсь заключать сделки с Россией, боюсь прогореть. Я бы и сам, но мне уже пора о спасении души подумать, а не о России.

Николай сделал шаг в сторону дяди, хотел сказать: “Разве это не одно?”, но побоялся огорчить старика; тот смотрел исподлобья, тревожно хмурия брови, — и, поведенные одним порывом, Воздухосветовы обнялись.

НАТЮРМОРТ С БЛОКНОТОМ

От белых стен комнаты исходила тишина. Порывы ветра задували наискосок тонкую молочную штору, широкая полоса солнца в пятнах теней от листвы пересекала письменный стол, наливая спелым солнечным золотом забытый шелковый шарф дынного цвета и темно-охровый блокнот, переложенный ручкой. От ветра шарф перекашивался дюнами, а блокнот раскрывал свои страницы, как павлиний хвост. Только суeta теней да обстоятельный, до последнего шороха, грохот этих страниц нарушали тишину и неподвижность комнаты.

Это был тот блокнот, который Асенкова обычно брала с собой на чаепития у Воздухосветова. Если случалось забыть его, писала на отдельном листе, потом переносила в блокнот. Иногда и листа не имела, тогда писала по памяти. Записи были очень аккуратными и сделанными добросовестным каллиграфическим почерком. Мысли, напротив, шли беспорядочно, но постепенно опре-

делялось несколько направлений, кругов, на которые они возвращались. Как стеклышки в калейдоскопе: сколько ни верти, узор меняется, а стеклышки все те же.

Гражданские чувства, если они возникли, созрели и определились, — как любовь. От них никуда не уйдешь, они с тобой в любую минуту, они требуют соединения и служения предмету, вызвавшему их.

Если мы не будем признавать высшей, особой роли России, мы предадим забвению и сделаем бесполезными миллионы жертв, волей или неволей принесенных во имя ее.

Жены декабристов шли за мужьями в Сибирь, на каторгу. Лев Давыдович Троцкий сбежал с каторги, оставив там жену и двух новорожденных дочерей. Из Сибири — прямым путем в Лондон, без паспорта, без визы, и валюту менять не надо было.

У советских людей ампутирован центр счастья. Слишком много преступлений совершено против нас, наших отцов, дедов, братьев, умерших младенцами, чтобы вот так вдруг разлечься на солнышке и почувствовать — вот оно, счастье. Разлечься разляжешься и почувствуешь, что в этой тишине без помехи сильнее, громче вопиет кровь. Вопиет кровь — в каком еще языке есть такое выражение?

Русские могут жить только в России. Но в России стало жить невозможно. В этом весь конфликт.

Рабство лишает внешней свободы, внутреннюю же оно изощряет.

Иллюзия, что человек живет свою судьбу. Человек живет судьбу своей нации. А судьба нации — это уже история. Каждому пора понять, что его личное положение — это положение его страны.

Чем больше впадает в несчастье народ, тем более патетично он говорит о себе.

Русским быть трудно, французом гораздо легче.

Может, они лучше нас, латины, саксы, германцы. Да наверняка, разложив по уму, по явному, — лучше. Всего у них вдосталь, живут, как коты в масленицу, отношения цивилизные, выборы не фарс, жена не рукавичка. Ничего не скажешь. У нас всего этого нет, а что есть — смрад и тоска, и лучше не трогать. Явно — они лучше. Да только мы это мы. И мы хотим и можем быть только собой. Какие есть. И нечего нам мозги вправлять.

Дьявол — это явление коллективное.

Чем больше знакомишься с другими культурами и цивилизациями, тем больше замыкается в себе свое нутро, тем больше становится герметическим. Знание другого, как предмет, которым попользовался и отдал обратно — не нужен, пора к своему.

Несмотря ни на какие изменения, Россия не меняется. И сто, и двести лет назад она по сути своей, по одному и тому же отличию от Запада была такой же. Иначе бы все лучшие люди, которые видят сердцем, не говорили бы, не писали бы о ней одно и то же.

Когда у меня не было прав человека, я считал, что имею на них всяческое человеческое право. А когда получил их на Западе, понял, что не имею на них никакого права. Не мои отцы и деды добились их, пусть даже за них погибли. Я взял их в пользование у чужих. Оч-чень удобно. И пусть я — гуманист, никогда не обману доверия, оказанного мне иностранным государством, но все же натурального, кровного права на его права человека не имею. Во-первых, именно потому что предки за них погибли, а не добились. Кому ж, как не мне, продолжать их битву? На что они вскармливали меня? Во-вторых, потому что я это думаю, а значит, это так и есть...

Ветер снова перелистал страницы и оставил их в покое до следующего порыва. Шелковый шарф дынного цвета медленно сполз со стола и сложился на ковре гармошкой.

ПЕРСТЕНЬ ПРАБАБКИ

В комнате с зелеными шторами была одна Асенкова. Ее встретила горничная, провела сюда и оставила. Она поглядывала на часы и стучала по ним пальцами.

— Николай! — кинулась она к вошедшему Воздухосветову. — Никого нет! Что случилось?

— Я... просил не приходить.

— Почему же я ничего не знала?

— Ты садись. Я, видишь ли, хотел просить у тебя... совета. Или... Слушай,

родители девушки, на которой я хочу жениться, далеко...

Асенкова перестала дышать.

— Я не могу ехать к ним сейчас, чтобы просить ее руки. Все, свадьба и так далее, тогда очень отложится... А я никак не могу ждать.

Сердце у Асенковой остановилось.

— Что мне делать?

— А девушка где? — спросила она.

— Здесь.

— Тогда что за-а, — она хотела сказать, за лицемерие, — за условности? — сказала. — Проси руки у нее. С родителями потом разберешься.

Она приложила руку ко лбу. Рука была ледяной.

Воздухосветов вышел и вернулся с букетом цветов.

— Глупо, глупо, — отложил их в сторону. — Моя мать всегда говорила, что мужа, как родителей, не выбирают. А я хочу просить у тебя руки... и совсем у меня нет этой уверенности. Что же ты молчишь? Хочешь, на колени стану?

Он опустился на колени.

— Я прошу у тебя руки, — проговорил он деревянно. — Не так, не так!

Асенкова кусала губы и молчала. Слышала, как было щекотно оттого, что в желудке сжимается пружина.

Он схватил ее руку, ледяную, и прижал к своему лицу:

— Ну же! Не молчи! — и нетвердо выговорил: — Милая. Я предлагаю тебе сердце, любовь, себя, все свое время. Ты ведь моя! Или...

Асенковой хотелось слушать его и мучить. Она обратилась на "вы":

— И для этого вы вызвали меня в ваш дом? — Отняла руку и встала. — А еще о родителях спрашивали...

Пружина в ней выстрелила, и она выбежала из дома. Вскочила в свой суперпорш, он заржал, взвился на дыбы и понесся.

Когда она остановилась перед своим домом, дверцу ей открыл Воздухосветов с цветами.

— Ну, извини, извини, все вышло не так, попробуем сначала. Ты иди теперь к себе, я позвоню в дверь, ты откроешь, я войду и буду просить руки... взамен на сердце.

— Почему?! — не нашла она ничего лучше спросить.

— Потому, — он посмотрел на букет, рывком обнял ее и стал целовать в губы.

Она бы вырвалась, если бы глаза не закрылись сами, а руки, вместо того чтобы колотить и отталкивать, сами не начали ласкать ему затылок.

— Вот почему! Прямо и сейчас ответь на мое предложение!

От поцелуя губы и щеки Асенковой покраснелись, волосы растрепались. Она прислонилась к машине, чтоб не упасть.

— Как, вы сказали, говорила ваша матушка?

— Мужа, как родителей, не выбирают.

Все вспыхнуло жидким золотом, и она сползла по машине на корточки, теряя ниточку с окружающим миром.

Очнулась у себя дома, на диване. Ветер в приоткрытое окно вздувал штору и шелестел бумагами на столе. Свет был мутным, как будто солнце утонуло в омуте и никак не могло оттуда всплыть. Рядом, на стуле, сидел Воздухосветов.

— Как ты? — склонился он к ней участливо.

Она улыбнулась, хотела отвести прядь, упавшую ему на лоб, но увидела у себя на пальце перстень с прямоугольным сапфиром в малине из бриллиантов.

Он перехватил ее взгляд:

— Моей прабабушки. Дал дядя. Я заикнулся ему про нас, он так обрадовался: "Слава Богу! Услышал мои молитвы! — достал этот перстень. — Теперь, — говорит, — не пропадет". А перстень этот не простой, а... лет триста ему, он переходит жене старшего сына или внука. То есть очередь моей жены... будущей. Дядя ждет нас.

Асенкова приподнялась на локти, сильная кислота в горле парализовала слова; Воздухосветов смотрел на нее с жадным, требовательным ожиданием. Она облегченно закрыла глаза и опустилась на подушку.

Солнце, наконец, выбралось из омута, и наполнило комнату теплом. Горячая рука Воздухосветова покрыла ее теплую перламутровую руку с перстнем на пальце.

Дядя Александр благословил молодых.

Он сказал, что его последнее желание, “пока не призвали к высшему ответу”, — это увидеть внука. А если будет внучка? Все равно, все равно! Только бы прижать младенца к груди! И назовете Александром... или Александрой!

Все хлопоты по устройству свадьбы он взял на себя. А хлопот — полон рот. Прежде всего с мэрией: там нужны бумаги, которые Николай мог получить только в Москве или через долгое ожидание в консульстве, как вот свидетельство о неженатости. Но дядя и слышать не хотел об отсрочке появления внука или об отъезде племянника холостым. Он все добыл, всего добился.

Венчать молодых он хотел непременно в храме своего тезоименника Александра Невского. Но как там венчаться, если с купола отваливаются куски фрески и падают в сетку, которую укрепили специально для них? Вид, как, простите, на стройке... И дядя на свои средства нанял мастеров, чтобы привели купол в вид божеский.

А как только реставрация будет закончена, зазвонят колокола, посыплются лепестки чайных роз, прибегут детишки в белых венках и платьях, кто-нибудь прослезится — будет свадьба. Настоящая, настоящая свадьба! В настоящем подвенечном платье! Длинном, с длинной белой фатой, с венком из нежных белых цветов! Княжеской свадьбе — княжеское платье. Асенкова любовалась перстнем у себя на пальце: как знать, были бы довольны его прежние владелицы новой? Ведь теперь она становится княгиней, Парашей Жемчуговой. Она смотрела на себя в зеркало, боясь вспугнуть счастливые, стыдящиеся счастья глаза, и целовала, прижимала к щеке этот перстень. Вот она, княгиня Галина Воздухосветова, продолжательница рода и его славы. Обидная игра слов со своим именем в романских языках отпала, как шелуха, и не приходила больше на ум. Она смотрела на себя теми же глазами, что и Николенька (так она уже звала его про себя, а вслух стеснялась): с бережностью, вниманием, почти с благоговением, но и с требовательностью. В зеркале перед ней была мать будущего князя. Она рассмеялась тихим, грудным смехом, не в силах сдержать счастья.

С той минуты, когда она стала невестой и поняла, что возвращается в Россию, в ее душу вошел покой. Она выздоровела от горячечной лихорадки своей работы, ушла на взлете, дала посожалеть о себе. Никуда теперь не спешила, не суетилась, не растрчивалась по тщеславным пустякам. Она смотрела на Воздухосветова с ясностью и душевной улыбкой: никакая благодарность не терзала ее. Да и можно ли быть благодарной за воздух и за любовь?

— А не боишься возвращаться? — допытывал ее Воздухосветов, когда они встречались все в той же комнате с зелеными шторами, но теперь вдвоем. — Ты привыкла к удобствам, обилию. А там очереди, ничего нет, ни моек, ни автоматических стиральных машин.

— Знаю, помню. Но только головой. Кожей забыла. Ведь это так просто — быть сытым: не замечаешь и не мешает. Поэтому забыла. Все забывают. Помню только лучшее, язык, друзей. И потом есть ты!

Но виделись они считанные часы: Николай изучал дядино предприятие. Не за горами тот час, когда ему придется взять вожжи в свои руки. Тем более его план сотрудничества с Россией требовал не только детальных знаний, но риска, чутья и смекалки. А лучше рисковать на основе знания. И повсюду, как арап за Петром, за Воздухосветовым следовал Зажаркин: у него тоже был план влиться в предприятие князя. Николай не отказывался перепоручить ему некоторые хлопоты по парижской части, не гнушаясь такими даже, как приобретение авиабилетов. Ему самому пора, пора в Москву! Париж никуда не денется — только бы многая, многая лета дядюшке Александру! Все обрыдло — жену под мышку и домой, в Россию. Ведь ничего не надо, кроме ее ветра, как в иные дни, теплого и плотного, чтобы он трогал щеку и задувал волосы. Кроме ее травы, пахнувшей землей и солнцем, и самого солнца, тусклого, тяжело заходящего в тишине, которая сама себя не выдерживает и рвется в ушах звоном колоколов и криками совы.

СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

ТАЙНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ

ЕВРОЦЕНТРИЗМ И ПРОЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ

Ключевым элементом евроцентризма является миф рыночной экономики. По отношению к “неправильным” обществам он служит идеологическим тараном, разрушающим культурное ядро общества, что в полной мере проявилось в ходе перестройки. Самир Амин пишет о схеме евроцентризма:

“Капитализм в его западной модели превратился в высший образец общественной организации, который может быть воспроизведен в других, отставших, обществах — при условии, что эти общества освободятся от препятствий, воздвигнутых их культурными особенностями и объясняющих их отсталость”.

Культурная подготовка к экономической реформе

Какие клише задают идеологи евроцентризма своим адептам внутри “неправильных” обществ? Прежде всего местной интеллектуальной элите внедряется в голову мысль об абсурдности их нерыночного хозяйства. Затем “авторитеты” распространяют эту мысль через средства массовой информации в широких слоях общества. Различия бывают лишь в степени наглости лжи и подтасовок и ранге тех “духовных лидеров”, которые берут на себя пропаганду этой лжи. СССР породил совершенно уникальную элиту — здесь такую презренную миссию взяли на себя люди, занимавшие самые высокие уровни научной иерархии (вспомним сфабрикованные и распространенные академиками мифы об избыточном производстве в СССР стали и тракторов, об огромных дотациях “убыточному” сельскому хозяйству). Но рассмотрим аргументы западных идеологов евроцентризма, которые “сотрудничали” с идеологами перестройки. Поскольку набор вариаций общей схемы узок, не слишком важно, откуда брать примеры. Я привлеку публикации двух виднейших интеллектуалов Испании, поскольку с ними мне приходилось полемизировать “на их поле”. Это Фернандо Клаудин, в прошлом ведущий идеолог компартии Испании, затем перешедший в число демократов и либералов, и Луис Анхель Рохо — один из видных экономистов Запада, управляющий банком Испании, автор книг, по которым учатся экономисты многих стран. Это люди прогрессивных взглядов, ни в коей мере не бывшие “антисоветскими ястребами”. Они публиковали фундаментальные статьи о перестройке в наиболее престижном в интеллектуальных кругах Испании журнале (с несколько масонским названием “Шифры практического разума”).

Говоря об СССР, оба автора объявляют очевидной “иррациональность его экономической системы, обусловленную отсутствием рыночных механизмов”. И это якобы должно было быть очевидным начиная с первых пятилетних планов¹. Прежде всего бросается в глаза принципиальная несистемность таких утверждений. Она проявляется в сведении сложных явлений к какой-то одной их стороне, обычно — экономике. С такой меркой подходят к важному элементу советской системы — планированию.

¹ Эти утверждения — своеобразная квалификация интеллекта сотен миллионов людей, включая множество западных экономистов, которым иррациональность самой идеи планирования отнюдь не представляется очевидной. Более того, в 60—70-х годах многие видные экономисты Запада считали плановую систему более эффективной и отстаивали сохранение либеральных рыночных механизмов с помощью внеэкономических критериев — утверждая, что эти механизмы гарантируют личные свободы, за которые приходится “платить” относительной экономической неэффективностью.

В прессе (западной и российской) звучат два мотива: глупо было России предпринимать ускоренную индустриализацию и глупо было ввязываться в гонку вооружений с Западом. Но ведь это к экономике никакого отношения не имеет, определяется этическими ценностями, а не логикой, и о ценностях нет смысла спорить. Предположим даже, что советский народ, принявший политику индустриализации, был глуп. Но ведь именно этот реально существовавший фактор и определял приоритеты для планирования — отправлять средства на строительство хранилищ для картофеля или на строительство новой ракеты. Что же касается “качества” самих плановиков, то напомним, что Нобелевский лауреат Василий Леонтьев, прежде чем разработать исключительно важный для западной экономики метод межотраслевого баланса, был советским плановиком. И советским плановиком Канторовичем создан метод линейного программирования (исследование операций), в крупном масштабе примененный при планировании Сталинградской битвы, а впоследствии удостоенный Нобелевской премии.

Говоря о “катастрофах, вызванных ускоренной индустриализацией”, Л. Анхель Рохо сразу же забывает о них, когда надо обругать плановую систему с другой стороны — за отсталость советской технологии в сравнении с западной или за низкий уровень потребления в стране: “Производимое оборудование зачастую включало в себя устаревшие технологии и было низкого качества”. Мол, разве не видна здесь иррациональность планирования? И так, один и тот же экономист в одной и той же статье видит дефект советской системы в том, что она провела форсированную индустриализацию, и одновременно в том, что индустриализация была недостаточно форсированной и не вывела СССР на уровень США. Такова диалектика европейца. Но ее приняли и наши интеллигенты!

Особо наглядна несистемность в трактовке планирования как “гигантского механизма по растрате усилий”. Вспомним реальность России 1920—1930 годов и рассмотрим альтернативу плановой экономике. Предположим заведомо невозможное: после гражданской войны в России установилась экономика свободного капиталистического рынка. Каков был бы результат? Его нетрудно смоделировать, и вряд ли кто-нибудь всерьез сомневается в том, что в реальных условиях разрушения производительных сил, отсутствия капиталов, наличия огромного внешнего долга и хронической нехватки земли первым результатом была бы длительная безработица невиданных масштабов. Вот это впрямь было бы “гигантским механизмом по растрате ресурсов”, несопоставимым по своей разрушительной силе с дефектами планирования.

Этого удалось избежать именно потому, что путем планового распределения ресурсов, не подчиняющегося экономическим критериям, огромные массы людей были вовлечены в строительство заводов, каналов, железных дорог, хотя бы с помощью “неэффективного” ручного труда. Через планирование этим людям было обеспечено очень скромное, но достойное существование и возможность учиться. А затем, опять-таки вопреки критериям рынка, на заводах было установлено самое современное по тем временам оборудование, которое бывшие крестьяне вначале нещадно ломали. Все это с точки зрения рынка совершенно иррационально, а с точки зрения страны в целом было национальным спасением и средством избежать огромных страданий.

Ибо второй после безработицы “механизм уничтожения ресурсов” и генератор страданий — это социальные конфликты и насилие, в пределе — гражданская война. Даже сравнительно небольшой конфликт с применением насилия “пожирает” огромные средства и в целом делает систему, как бы рационально она ни была спроектирована, экономически неэффективной. Какой смысл сегодня говорить о достоинствах разработанной Джеффри Саксом экономической реформы в Югославии (а она стала одним из взрывателей полиэтнической системы) ²?

Могли ли согласиться с безработицей и социальным расслоением в Рос-

2 Вот случай “помягче”, без гражданской войны. В двух соседних странах Латинской Америки использовали либерализм для выхода из кризиса с жестоким подавлением оппозиции — в Перу и Чили. Но Чили — случай скандальный, там чуть не установилась социал-демократия западного типа, и, чтобы было неповадно, США помогли Пиночету (открыв на благоприятных условиях свой рынок и поощрив капиталовложения). Но был еще важный фактор: оппозиция в Чили воспитана в культуре западного марксизма, отрицающего террор. А в Перу возникло маоистское сопротивление. В “Сендеро Луминосо” было всего около 2 тысяч бойцов-террористов. Но в зоне их действий предприниматели были вынуждены нести расходы на охрану, равные производственным расходам. Ну о какой экономической эффективности может идти речь в этих условиях!

сии миллионные массы красноармейцев, воевавших под знаменем уравнилельного идеала? Ни в коем случае. Даже введение нэпа, то есть строго дозированное и контролируемое допущение рыночной экономики, вызвало не только волну самоубийств, но и возникновение вооруженных банд из красных ветеранов гражданской войны. Уместно было бы вспомнить и умерших от голода рабочих и шахтеров закрытых при введении нэпа нерентабельных фабрик и шахт, и тот психологический эффект, который производили эти смерти³.

Нет смысла спорить о нюансах, ошибках и перегибах. Не в них суть. Важно, что в целом принятый при планировании приоритет социальных критериев над экономическими и долгосрочных целей над краткосрочными не был “очевидно иррациональным”. Потому-то эта политика и была поддержана населением.

Делая экстравагантный вывод об очевидной иррациональности какого-то иного, непривычного для тебя способа хозяйства, аналитик (в отличие от идеолога) попытался бы проверить его каким-то независимым методом. В данном случае отсутствие такой проверки тем более красноречиво, что сама история провела объективный экзамен: войну против СССР нацистской Германии, использующей промышленность почти всей Европы. Имеются проверенные немецкими “экспертами” — на собственной шкуре — достаточно точные данные о количестве и качестве советского вооружения и военных материалов. Исходя из этих данных, нетрудно рассчитать реальные темпы роста промышленности, образования и культуры в СССР за 30-е годы. Но ни подсчетов не делается, ни даже война как экзамен не вспоминается (вот она — методологическая скудость евроцентризма).

Значит, речь идет именно об идеологии. Евроцентризм внеисторичен и исключает обязанность объяснить хотя бы недавние высказывания своих признанных лидеров, которые несовместимы с высказываниями сегодняшних. В рамках одного поколения делаются взаимоисключающие утверждения, причем утверждения абсолютные — и ни один из идеологов не теряет при этом авторитета. Вспомним такой фрагмент из статьи духовного лидера интеллигенции Эйнштейна — демократа, гуманиста и отнюдь не сторонника советского режима (май 1949 года):

“Экономическая анархия капиталистического общества, каким мы его знаем сегодня, является, по моему мнению, действительной причиной всех зол. Мы видим перед собой огромное сообщество производителей, которые непрерывно борются друг с другом, ради того чтобы присвоить плоды коллективного труда, причем борются не из объективной необходимости, а подчиняясь законно установленным правилам... Результатом такой эволюции стала олигархия частного капитала, чья колоссальная власть не может быть поставлена под эффективный контроль в демократически организованном политическом обществе. Это тем более верно, что члены законодательных органов подбираются политическими партиями, финансируемыми или во всяком случае находящимися под влиянием частных капиталистов... более того, в нынешних условиях частные капиталисты неизбежно обладают контролем, прямо или косвенно, над основными источниками информации (прессой, радио, образованием). Таким образом, оказывается исключительно трудным, если не невозможным в большинстве случаев, чтобы отдельно взятый гражданин смог сделать объективные выводы и разумно использовал свои политические права. Это выхолащивание личности кажется мне наиболее гнусной чертой капитализма...

Я убежден, что имеется единственная возможность устранить эти тяжелые дефекты — посредством установления социалистической экономики, дополненной системой образования, ориентированной на социальные цели. В этом типе экономики средства производства находятся в руках общества и используются в плановом порядке. Плановая экономика, которая регулирует производство в соответствии с общественными потребностями, распределяет работу между все-

³ Установление основанной на конкуренции рыночной экономики в принципе невозможно после национальных бедствий, особенно гражданских войн. Из них народ выходит с обостренным чувством солидарности и инстинктом “сохранения рода”. Даже если в войне побеждают антисоциалистические силы, они вынуждены подчиниться этому чувству и ищут национального примирения, создавая сильную социальную защиту с большим компонентом “уравниловки”. Так было в Испании, так было и в послевоенной Японии, Западной Германии, Южной Корее. К “рынку” они шли после длительного переходного периода “плановой” экономики. Рыночный либерализм с этим всплеском солидарной психологии несовместим, ибо конкуренция заставляет продолжать войну. Согласно Гоббсу, поскольку все люди борются за власть, никто не может чувствовать себя в безопасности с уже достигнутой им властью, не занимаясь постоянно тем, чтобы “контролировать, силой или обманом, всех людей, каких только может, пока не убедится, что не осталось никакой другой силы достаточно большой, чтобы нанести ему вред” (“Левиафан”).

ми, способными работать, и гарантирует существование всем людям, всем женщинам и детям. Воспитание личности, кроме того чтобы стимулировать развитие ее внутренних способностей, культивирует в ней чувство ответственности перед согражданами, вместо того чтобы прославлять власть и успех, как в нашем нынешнем обществе”.

Сегодня, читая эти и им подобные строки Эйнштейна, либералы-западники, будь то Гайдар, Бурбулис или Л. Анхель Рохо, должны были бы дать одно из возможных объяснений, согласующихся с общим выводом: или Эйнштейн и множество ему подобных, вроде Джона Бернала, Бертрана Рассела или Андрея Дмитриевича Сахарова, являлись людьми настолько невысокого интеллектуального уровня, что вплоть до недавнего времени не видели того очевидного, что должно было быть ясно уже в конце 20-х годов, — или весь проект плановой экономики был рациональным в одних условиях, но оказался негодным сегодня. Но второе утверждение возвращает нас из области слепой идеологической веры и заставляет разбираться в вопросе по существу (в чем проявилась негодность, каковы ее критерии, каковы тенденции разных зол альтернативных систем и т. д.). На такой анализ категорически не согласны идеологи, и всякие попытки начать такой диалог жестко подавлялись и подавляются как в РФ, так и на Западе⁴.

Новое представление о собственности

Сегодня мы постоянно слышим: “Частная собственность — естественное право человека”. Даже в Конституцию хотели записать. Это — сугубо идеологическое положение, оно лежало в обосновании социального порядка буржуазного общества. По отношению к иным обществам этот элемент идеологии евроцентризма служил той информационной матрицей, которую вирус внедряет в клетку, чтобы заставить ее работать на себя (ценой смерти клетки).

Скажут: какая разница, как называть, важно, что разрешена частная собственность. А на деле речь идет о придании силы естественного закона ключевому положению мировоззрения. Э. Фромм подчеркивает: “Особо важной, как в экономическом, так и психологическом плане, является вопрос о собственности. Одним из наиболее распространенных сегодня штампов является утверждение, будто любовь к собственности является врожденным свойством человека. Обычно при этом смешивается собственность на инструменты, нужные человеку для работы, и некоторые личные вещи с собственностью в смысле обладания средствами производства, то есть вещами, исключительное обладание которыми заставляет других людей работать на владельца. В индустриальном обществе такими средствами являются прежде всего машины или капитал, инвестированный в их производство”.

Христианство включило в понятие естественного права равенство людей (перед Богом!) и свободу воли человека. А замысел Творца, то есть законы Природы предстали как познаваемые с помощью разума — но вовсе не записанные в конституциях. О выведении имущественных отношений из Евангелия и речи не было — речь шла о коллективном спасении души (хотя кое-что и признавалось неугодным Богу, например, ростовщичество). Реформация совершила духовную революцию, возведя на пьедестал индивидуума и дав ему право самому трактовать Священное писание, причем делая акцент не на Евангелии, а на некоторых книгах Ветхого завета. Нажива (включая ростовщичество) стала богоугодным делом. Идея религиозного братства была отвергнута. Возникла этическая основа капитализма.

Для католической церкви, активно участвующей в делах земных, отношение к частной собственности оказалось одной из наиболее “неудобных” проблем. В конце прошлого века, озабоченный ростом классовой борьбы, Ватикан стал активно выступать в области социальной политики, и папа Лев XIII выступил с энцикликой *Regum novarum*. К ее столетию Иоанн Павел II, еще более активный

4 Разве не поразительно: ни один из видных экономистов Запада (а их немало среди коммунистов) не попытался проанализировать состояние советской экономики исходя из иных, нежели утверждает монетаризм, постулатов. Вся левая пресса заполнена статьями Аганбегяна, Шаталина и Гайдара, хотя простейший анализ говорит, что эти статьи — сугубо идеологические выступления, построенные именно на основе евроцентризма. Когда беседуешь с западными коммунистами, искренне переживающими крах СССР, порой становится страшно: впечатление такое, будто давно тебе знакомый человек на деле является роботом, вещающим с заложенной в него кассеты. Спрашиваю: ты же не веришь тому, что говорит пресса, ведь у ней концы с концами не вяжутся? — “Конечно, не верю”. — Но ведь ты же повторяешь все сформулированные прессой постулаты. — “Да. Но ничего другого у нас нет”. — Что же ты сам не думаешь? — На этот вопрос ответа уже не бывает.

политик и идеолог, издал энциклику *Centesimus Annus*. В ней он, в частности, говорит: “В *Regum novagum* Лев XIII энергично и аргументированно заявил, вопреки социализму своего времени, естественный характер права частной собственности... В то же время Церковь учит, что собственность не является абсолютным правом, поскольку в ее природе как человеческого права содержится ее собственное ограничение... Частная собственность, по самой своей природе, обладает и социальным характером, основу которого составляет общее предназначение вещей”.

Как видим, очень уклончиво — частная собственность по природе своей носит социальный характер. Ничего себе естественное право! Особенно это касается собственности на землю: “Бог дал землю всему человеческому роду, чтобы она кормила всех своих обитателей, не исключая никого из них и не давая никому из них привилегий. Здесь первый корень всеобщего предназначения земных вещей”. Совершенно очевидно, что частная собственность на землю дает привилегии собственникам и исключает из числа питающихся очень многих — это всем прекрасно известно. И далее в своей энциклике папа римский практически отвергает тезис о естественности права частной собственности, налагая на это право сугубо социальные ограничения: “Собственность на средства производства, как в области промышленности, так и в сельском хозяйстве, является справедливой и законной, когда используется для полезной работы; но является незаконной, когда не ценится или используется для того, чтобы не дать доступа к работе другим или для получения прибыли, которая не является плодом глобального распространения труда и общественного богатства, а скорее для своего накопления, для незаконной эксплуатации, для спекуляции и подрыва солидарности в трудовой среде”.

Тут вообще не только ни о каком естественном праве и речи нет — сама частная собственность ставится под вопрос. Ибо собственность на средства производства только для накопления, получения прибыли и эксплуатации и служит — в этом суть всей политэкономии капитализма, начиная с Рикардо и Адама Смита. Сейчас, пытаясь собрать под свое крыло ту паству, которая разбредается после ликвидации коммунизма, Ватикан осваивает совсем уж социалистический язык. В энциклике 1987 года *Sollicitudo Rei Socialis* папа просто камня на камне не оставляет от естественности частной собственности: “Необходимо еще раз напомнить этот необычный принцип христианской доктрины: вещи этого мира изначально предназначены для всех. Право на частную собственность имеет силу и необходимо, но оно не аннулирует значения этого принципа. Действительно, над частной собственностью довлеет социальный долг, то есть она несет в себе, как свое внутреннее свойство, социальную функцию, основанную как раз на принципе всеобщего предназначения имеющегося добра”.

Так обстоит дело с христианством (не будем уж затрагивать другие, еще более уравнилельные, мировые религии или общинные верования малых народов). Научная революция дала новый способ (и даже новый язык) для обоснования социального порядка. Механистическая картина мироздания была перенесена в представление об экономике. Но никакого “естественного” характера собственности из всего этого еще не вытекало. Понадобилось представить человека как атом — свободный, в непрерывном движении и столкновении с другими атомами. Само слово “а-том” есть греческий эквивалент латинского “ин-дивид” (то есть “неделимый”).

И хотя наука конца XX века преодолела редукционизм и детерминизм, индивидуализм остается философской основой либеральной экономики и обоснованием “естественного” характера частной собственности. Отказаться от индивидуализма западное мышление не может (и в этом смысле оно становится все более и более антинаучным).

Это исходное ощущение неделимости индивида породило новое и глубинное чувство собственности, приложенное прежде всего к собственному телу. Можно сказать, что произошло отчуждение тела от личности и его превращение в собственность. В мироощущении русских, которые не пережили такого переворота, этой проблемы как будто и не стояло — а на Западе это один из постоянно обсуждаемых вопросов. Причем, будучи вопросом фундаментальным, он встает во всех плоскостях общественной жизни, вплоть до политики. Если мое тело — это моя священная частная собственность, то никого не касается, как я им распоряжаюсь. И никто не может в зависимости от того, как я распоряжаюсь этой моей

соотнесенностью, ущемлять меня в гражданских правах — вот, например, логика политических требований гомосексуалистов.

Как и всякая частная собственность, в современном обществе тело становится своеобразным “средством производства”. Э. Фромм, рассматривая человека Запада как новый тип (“человек кибернетический” или “меркантильный характер”), пишет: “Кибернетический человек достигает такой степени отчуждения, что ощущает свое тело только как инструмент успеха. Его тело должно казаться молодым и здоровым, и он относится к нему с глубоким нарциссизмом, как ценнейшей собственности на рынке личностей”.

Конечно, нарциссизм западного человека поражает — ведь бег трусцой стал массовым явлением, а престарелый президент считает своим долгом взбегать по трапу самолета, перепрыгивая через три ступеньки. И когда ученые убедительно заявили, что “курить — здоровью вредить”, половина американцев бросила курить как по волшебству, так что, как говорят, в некоторых городах даже на улице курить запрещено⁵. Хотя, повторяю, эта проблема в России была на периферии философских интересов, можно предположить, что отношение к телу было иным. Оно никак не рассматривалось как частная собственность индивидуума (“Земля — Божья, а люди — царевы”). Об этом говорит и вся концепция здравоохранения при уравнительном социальном порядке⁶.

Исходя из концепции индивида, Гоббс создал философскую основу рыночной экономики. В чем же она? В войне всех против всех, в силе, основанной на собственности, “законным способом” отнятой у ближнего. Гоббс стал, таким образом, провозвестником нынешней социобиологии. В этом смысле все современные отсылки к естественному происхождению того или иного социального порядка не новы — мы их видим четко сформулированными уже у первых философов капитализма. Этот понятный с точки зрения интересов идеологии жреческий трюк с апелляцией к “природному” закону создал методологическую ловушку, из которой не может выйти мышление Запада. Антрополог М. Сахлинс пишет: “С XVII века, похоже, мы попали в этот заколдованный круг, поочередно прилагая модель капиталистического общества к животному миру, а затем используя образ этого “буржуазного” животного мира для объяснения человеческого общества... Похоже, что мы не можем вырваться из этого вечного движения взад-вперед между окультуриванием природы и натурализацией культуры, которое подавляет нашу способность понять как общество, так и органический мир... Эти колебания отражают, насколько современная наука, культура и жизнь в целом пронизаны господствующей идеологией собственнического индивидуализма”.

Итак, первый вывод, который приходится сделать: наша либеральная интеллигенция предлагает положить в основу нашего жизненного устройства самую тоскливую и разрушительную философскую идею Гоббса. Ибо даже фашизм не доходит до идеи войны всех против всех, а предполагает хоть и извращенную, но солидарность части людей. Это, кстати, означает и отказ от демократии: по Гоббсу, предотвратить разрушение общества, заставить вести войну по правилам должно государство-Левиафан. А. Тойнби пишет об этом замещении христианства культом Левиафана: “Ранняя глава в истории христианства была зловещим провозвестником духовных перспектив западного общества XX века... В западном мире в конце концов последовало появление тоталитарного типа государства, сочетающего в себе западный гений организации и механизации с дьявольской способностью порабощения душ, которой могли позавидовать тираны всех времен и народов... В секуляризованном западном мире XX века симптомы

5 Даже грустно бывает читать, в какие нелепые ситуации попадают люди из-за этого отношения к своему телу как инструменту успеха. Летом 1993 года в страшном горе пребывали молодые люди Швеции. В их размеренной жизни была одна большая проблема: распространилось убеждение, будто они совсем разонравились шведским девушкам. И началось повальное увлечение анаболическими препаратами — гормонами, которые позволяют быстро наращивать мускулы и в короткий период белых ночей принимать на пляже позу Геркулеса. Но дела шли все хуже, что лишь увеличивало спрос на анаболики. А недавно от биохимиков пришла печальная весть: прием этих препаратов на 70 процентов подавляет секрецию мужских половых гормонов и делает мальчика еще менее интересным для требовательных блондинок. Совсем испортили инструмент!

6 Помню, в студенческие годы, после XX съезда партии, уже проникнувшись правовым сознанием, я потребовал у стоматолога вырвать мне зуб — хотел избежать долгого и болезненного лечения. Врач отказывался: полечим да полечим. Я возмутился — зуб мой, и мне решать. Но врачиха, дай Бог ей сегодня здоровья, поставила меня на место: “Ишь, какой собственник выискался. Твой зуб — народное достояние!” Как ни гротескно это звучит, этим была выражена суть целой эпохи. И когда сегодня я прихожу в тот же кабинет, и мне совершенно равнодушно вырывают пять зубов зараз — надо только заплатить за анестезию, я чувствую, что в нашей жизни что-то действительно сломано (а при новом строе мое тело без зубов и когтей никаким инструментом успеха уж не будет).

духовного отставания очевидны. Возрождение поклонения Левиафану стало религией, и каждый житель Запада внес в этот процесс свою лепту”.

Но хотя основанная на конкуренции рыночная экономика на деле и следовала заветам Гоббса (а потом добавились мальтузианство, социал-дарвинизм и прочие “научные” обоснования, чтобы топтать ближнего), положить метафору войны в основание права буржуазия не решилась. И накануне французской революции Руссо выступил с новой теорией — общественного договора (или “социального контракта”). Именно идея общественного договора, компромисса, принимающего разные формы в разных культурах, и легла в основу представления о собственности. Из сферы естественного (то есть не зависящего от времени и места, а заданного объективно, вне воли людей) права собственность была выведена. И если вы сегодня откроете какую-нибудь иностранную энциклопедию на слове “собственность”, то первая фраза гласит: “Собственность — социальное явление”. Социальное, а не природное. Конечно, ни Христос, ни Руссо, ни Маркс нашим либералам не указ. Но ведь даже отцы-основатели США считали собственность предметом общественного договора. Неужто и их не уважим?

Сегодня, как и предполагал Достоевский, западная цивилизация окончательно отказалась от Христа и отправила его уже на костер. Радостно тащат свои охапки хвороста и наши бурбулисы. “Бог умер!” — крикнул Ницше. После этого вещать, что для человека естественно, а что неестественно, имеет право только наука. Но она в лице многих поколений антропологов дает четкий ответ. Ну о каком естественном праве частной собственности может идти речь, если период капитализма составляет всего 0,05 процента от жизни человеческой цивилизации, а земледелие, начиная с которого и появилась собственность, — 2 процента? Быть может, человек для наших либералов — *homo economicus*, а все остальные — недочеловеки. Но это уже чистая идеология.

Интеллектуальный инструментарий евроцентристов и экономическая реформа в России

Исходя из механистического представления о мире и человеке, российские демократы предполагали за 500 дней изменить хозяйственный уклад сотни населяющих Россию народов. Насколько они игнорируют сущность культурного гено-типа России и в то же время не уважают культурного своеобразия Запада, говорят их попытки навязать нам совсем уж изощренные плоды западной мысли — как будто это технология разведения порошка “Кока-Колы”, которую можно наладить в два счета в любой точке земного шара. Возьмем для примера одну из концепций политэкономии капитализма — монетаризм, которую экономисты из команды Гайдара, желающие быть святее самой мадам Тэтчер, с таким фанатизмом внедряют в России.

Монетаризм — не просто течение в политэкономии, это философское учение, ставшее одной из культурных опор современного общества Запада. Когда формировалось это общество, осмыслению сущности денег (монеты) посвятили свои труды почти все крупнейшие философы Европы — от Коперника и Ньютона до Гоббса, Монтескье и Юма. Один из виднейших философов наших дней, Мишель Фуко, в своей книге “Слова и вещи”, где он пытается начертить траекторию развития культурной основы западной цивилизации, рассматривает монетаризм и понятие денег как одну из ключевых глав этого развития. Передо мной 21-е издание этой книги на испанском языке, я читаю и перечитываю эту главу. Какой драматический путь философских и духовных исканий прошла Европа, пока монетаризм смог превратиться в сложный и очень рискованный инструмент практической экономики! Сколько отрицаний и инверсий претерпело понимание смысла самого слова “деньги” (а также “золото”, “монета”, “чеканка”)! Какое влияние на экономику и политическую стабильность оказывал выбор того или иного изображения на монете. Не говоря уже о значении количества денег, вводимых в оборот. Читаю о том, как Испания, не включенная в этот интенсивный процесс, но “открытая” европейскому рынку, ввозила из Америки огромную массу золота и серебра — и непрерывно беднела, ибо это золото и серебро уплывало в Англию, созревшую для монетаризма.

И вот на фоне этой картины скрупулезного, в течение трех веков, создания сложнейшей системы (прямо скажем, культуры) является моложавый воспитанник ЦЭМИ АН СССР и, потрясая не имеющими никакого отношения к делу “кривыми Филлипса”, объявляет: со второго января в России вводится монета-

ризм. Начинается какая-то фантасмагория. Деньги то печатаются, то не печатаются. Президент, отправляясь в поездки по стране, на всякий случай везет пару вагонов денег — порадовать подданных. Купюры одного и того же номинала имеют разный размер, об изображении и говорить нечего. Какой монетаризм? Разве Россия, имея тысячелетнюю историю, шла по этому пути? Разве о деньгах думали все ночи напролет Достоевский и Вл. Соловьев? Разве сказали бы они, как европейский философ XVII века, что “золото и серебро — самая чистая субстанция нашей крови, костный мозг наших сил, самые необходимые инструменты человеческой деятельности и нашего существования”? Почему Гоббс с энтузиазмом воспринял открытие кровообращения Гарвеем? Потому что оно давало ему наглядную и “естественную” метафору: деньги по венозной системе налогов стекаются к сердцу государства-Левиафана. Здесь они получают “жизненное начало” — разрешается их выпуск в обращение, и они по артериальному контуру орошают организм общества. Деньги приобрели смысл одной из важнейших знаковых систем Запада, стали представлять людей, явления, общественные институты. Порожденные в ходе этой эволюции культурные стереотипы проявляются на Западе на каждом шагу, в самой обыденной обстановке. Посмотрите, с каким благоговением отсчитывают вам в роскошном американском магазине сдачу — каких-нибудь 24 цента. А когда я, получив свои скромные суточные или гонорар, сую деньги в карман, мои западные друзья чуть не впадают в истерику: ты что же делаешь, ведь это деньги, ты их помнешь!

Я не хочу сказать, что мы не должны осваивать культурный багаж Запада и можем продолжать сминать деньги в комок. Я просто вижу, что в голове наших интеллигентов даже не возникает и мысли о том, что монетаризм, кейнсианство или просто капитализм — это не импортный магнитофон, который включил в розетку (даже с любым напряжением), и он заработал. Это — плод эволюции сложной и специфической цивилизации, под которым покоится целый айсберг культурных и философских образований. И когда в нашу тоже сложную и очень хрупкую культуру вбивается кувалдой верхушка этого айсберга, то ничего, кроме дезорганизации и краха, это породить не может.

Теперь о “кривых Филлипса”, которыми целый год размахивал Гайдар. В чем их суть? Инженер-электрик из Лондона Филлипс занялся экономикой и построил аналоговую машину: три прозрачных резервуара (“производство”, “запасы” и “потребительский спрос”), соединенных трубками, по которым прокачивалась подкрашенная вода. Задача была — найти способ стабилизации этой “экономики”, контролировать инфляцию. В лучших традициях механистического мышления Филлипс рассчитал, что стабилизировать эту систему надо через уменьшение потребительского спроса. Как? Сняв социальные гарантии и отказавшись от идеи полной занятости — через безработицу (и страх оказаться безработным). Это понравилось политикам, хотя первый же министр, предложивший отказаться от принципа полной занятости (в 1957 году), вынужден был подать в отставку. Но затем, хотя экономисты доказывали, что причиной инфляции является прежде всего рост себестоимости производства, а не избыточное благосостояние людей, правительство соблазнилось простотой инженерного подхода и попросило “доказать” выводы статистикой. Филлипс, по его собственному признанию, выполнил “ударную работу” и путем множества упрощений (критики говорят о “подгонках”) показал, что рост безработицы якобы ведет к снижению инфляции. Дебаты в парламенте, для которых были нужны данные, обещали быть долгими, а Филлипс получил выгодное место в Австралии, хотел уехать и посчитал, что “лучше было сделать расчеты попроще, чем долго ждать результатов”, а потом добавил скромно, что руководитель работ “задал эти результаты заранее” — ну прямо как у нас в ЦЭМИ (руководитель, проф. А. Браун, впрочем, от этого отрешивается).

Работа Филлипса — яркий пример того, как математика используется, чтобы придать видимость строгого доказательства заранее заданному выводу. Когда смотришь на реальные данные о безработице и уровне инфляции, нанесенные в виде точек, то очевидно, что Филлипс мог провести через эти точки абсолютно любую кривую. Так, как провел он, постеснялся бы провести самый нахальный студент в практикуме. Вывод, который он сделал из всех этих кривых, был чисто политическим: “При некотором заданном темпе роста производительности труда уменьшить инфляцию можно только за счет роста безработицы”. Этот-то вывод и взял Гайдар за теоретическое основание своей программы. Ведь его советники из МВФ прекрасно знали, что кривые Филлипса на практике не выполняются, что

в ходе кризиса 80-х годов в США инфляция росла параллельно с безработицей (не говоря о том, что к нашей экономике все это вообще не имеет никакого отношения — сначала надо капитализм построить). Ошибки (а то и подтасовки) Филлипса хорошо изучены. В книге “История и методология эконометрики” (Оксфорд, 1989) его кривым посвящена целая глава. Вывод ее таков: “Кривые Филлипса имели большой успех в политических кругах. Показывая постоянную обратную зависимость между инфляцией и безработицей, кривые подтверждали распространенное мнение, будто инфляция в основном вызывается избыточным спросом... Кривые Филлипса снабдили экономику законом стабилизации, который, однако, не имел под собой ни какого-то лучшего метода анализа, ни экономической теории. Более чем двадцать лет последующих исследований не изменяют этого вывода”.

Созданные в западной культуре интеллектуальная конструкция (монетаризм) или даже идеологизированный фантом (“кривые Филлипса”) принимаются за абсолютную реальность, а жизненные условия иной культуры: ландшафт, способ производства и распределения, хозяйственные и национальные отношения, традиции и предрассудки — вся природная и социальная ткань, в которую вплетена экономика, рассматривается как не имеющий ценности и легко демонтируемый объект эксперимента или переделки. Действия реформаторов привели хозяйство народов СССР к краху. А теперь эти реформаторы и их западные единомышленники и покровители распространяют милую формулу, теоретически обосновывающую неизбежность (“правильность”) этого краха:

“СССР в начале 80-х годов переживает острый экономический кризис и не выдерживает гонки вооружений (терпит поражение в “холодной войне”) — Горбачев пытается осуществить модернизацию и демократизацию — вырываются наружу задавленные тоталитарным режимом национальная вражда и сепаратизм — рассыпается колониальная советская империя с разрывом хозяйственных связей — терпит крах экономика”.

Согласно этой формуле, и распад СССР, и этнические войны являются неизбежным продуктом объективных предпосылок, а также некоторых ошибок Горбачева и его неспособности “железной рукой” подавить сопротивление врагов перестройки. Сегодня, основываясь на анализе большого фактического материала и огромного архива высказываний идеологов перестройки (как отечественных, так и западных), мы вынуждены описать события иной формулой:

“Влиятельные круги советского общества (включая часть верхушки КПСС) берут на себя трансцендентальную (выводимую из идеалов) и социальную (выводимую из интересов) миссию разрушения любой ценой “империи зла” и ее “тоталитарного режима” — с использованием всех средств фактической власти производится “революция сверху”, полностью поддержанная Западом, — в качестве инструмента разрушения системы создается острый экономический кризис и разжигаются конфликты во всех срезах общества (в том числе этнические) — кризис углубляется серией согласованных по времени провокаций, становится системным и позволяет осуществить роспуск СССР правящей группировкой”.

Если принять эту схему, то надо признать, что существенных ошибок “реформаторами” допущено не было⁷. Возможно, был “перебор” в разрушении экономической основы СССР, и сегодня процессы, набрав инерцию, вышли из-под контроля. С другой стороны, “революционеров сверху” можно поблагодарить за весьма экономное отношение к человеческой крови — страна понесла пока что лишь около 150 тысяч жертв (и несколько миллионов неродившихся детей) и имеет около трех миллионов беженцев. Впрочем, мы находимся на ранних этапах процесса.

⁷ Искренние демократы часто возражают, что эта схема предполагает наличие “дьявольского заговора”. Я бы сказал, что сама концепция “заговора” — плод сугубо механистического представления об обществе. При сложившейся в мире системе взаимопроникновения элит и мощности средств массовой информации хватит сотни интеллектуалов, чтобы создать и распространить всю систему мифов, лозунгов и лжи для оболванивания “критической массы” населения, достаточной для революции сверху. Поскольку достигнутая цель (разрушение “империи зла”) считается благородной, мы имеем большое число детальных, наполненных гордостью воспоминаний революционеров. Это позволяет сегодня реконструировать хотя бы “чистую”, некриминальную часть проекта. Другое дело, что евроцентристский фильтр в мышлении демократа спасает его от этого анализа. Он уверен, что платить за “демократические революции” всегда будут боснийцы, таджики, азербайджанцы, а он сам — никогда.

Действительно ли Запад предлагает нам перенять свою систему?

Известно, что во всех “чужих” культурах, в которые Запад имел возможность внедриться за последние 300 лет, он старательно подавлял именно структуры производительного капитализма, способные превратить эту культуру в самостоятельный очаг эффективной рыночной экономики. Напротив, везде формировались вспомогательные хозяйственные структуры, дополняющие хозяйство метрополий, но не обладающие самостоятельной жизнеспособностью. Призывая сегодня Россию полностью “открыться” Западу, наши реформаторы, начиная с Горбачева, обосновывают это возможностью “вернуться в мировую цивилизацию”. Горбачев даже говорил о “нашем общем европейском доме” — что уже тогда воспринималось как шутка. Поразительно, однако, что ни при Горбачеве, ни при Ельцине никто из идеологов ни словом не обмолвился, кто и когда обещал “принять” Россию в клуб стран современного капитализма. Такого обещания не только никто никогда не давал, но и напротив, с самого начала России предложили принять схему “оздоровления”, разработанную МВФ именно для формирования дополняющих Запад хозяйственных структур. Ведь этого даже и не скрывали! Разумеется, говорилось о конкуренции, о частной собственности, о свободном рынке — о мифической “империи добра”, как зеркальном отражении огосударствления, центрального планирования и уравниловки не менее мифической “империи зла”. Но на деле и западные, и отечественные евроцентристы предлагали нам идеологическую куклу, ничего общего с реальностью Запада не имеющую.

А реальность эта такова, что “свободный рынок” теоретически представляет собой саморазрушающуюся систему с периодическими кризисами-колебаниями, амплитуда которых возрастает. Для приведения этой системы в состояние равновесия требуются все более крупные изъятия ресурсов из буферной системы (колоний или “третьего мира”) и сбрасывание в эту буферную систему все более крупных порций “кризиса”. Но даже такая помощь “невидимой руки” с начала XX века стала недостаточной⁸. Тяжелейший кризис 1920—1930-х годов породил “кейнсианскую революцию” в политэкономии, и с тех пор хозяйство Запада идет галсами между либерализмом и разными вариантами социал-демократизма, предполагающего “почти социалистическое” вмешательство государства, подправляющее стихию рынка. Историк А. Тойнби констатирует: “Даже в наиболее консервативных странах западного мира милитаристские и полицейские государства начали заниматься вопросами здравоохранения, образования и распределения рабочих мест... Этим самым современные западные государства пытаются затушевать свое неприглядное прошлое”.

Роль “планового” начала в хозяйственной жизни Запада особенно видна в моменты кризисов (как раз когда в России его призывают ликвидировать). Экономисты-классики (теоретики “свободного рынка”) и “неолибералы” видят выход из кризиса в сокращении государственных расходов (сбалансировании бюджета) и доходов трудящихся (снижении реальной зарплаты, а то и безработицы). Кейнс, напротив, считал, что простаивающие фабрики и рабочие руки — признак

⁸ Вся политэкономия евроцентризма тщательно обходит очевидные источники неравновесности и механизмы гашения флуктуаций, возвращения системы в состояние равновесия. Адам Смит, вслед за Ньютоном, говорил о “невидимой руке” (в приложении к космологии Ньютона приходилось предположить наличие Бога-часовщика, “заводящего” механизм Вселенной). Маркс, введя понятие о циклах простого и расширенного воспроизводства, основывался уже на термодинамических концепциях Сади Карно. Но и Карно идеализировал свою равновесную тепловую машину — он не принимал во внимание топку. А это та неотъемлемая часть машины, где расходуются невозобновляемые ресурсы и создаются загрязняющие природу отходы.

ошибочности всей классической политэкономии. Его расчеты показали, что выходить из кризиса надо через массивные капиталовложения государства при росте дефицита бюджета вплоть до достижения полной занятости (беря займы у будущего, но производя)⁹. Он предлагал делать это, например, резко расширяя жилищное строительство за счет государства. То же пытался сделать Рузвельт для преодоления Великой депрессии, несмотря на сопротивление экспертов и частного сектора. Ему удалось увеличить бюджетные расходы лишь на 70 процентов и уже при этом сократить безработицу с 26 процентов в 1933 году до 14 процентов в 1937-м. Тогда он попробовал сбалансировать бюджет — и в 1938 году произошел “самый быстрый спад за всю экономическую историю США”: за год безработица подскочила до 19 процентов, а частные капиталовложения упали наполовину. В 1940 году сам Кейнс с горечью предсказывал: “Похоже, что политические условия не позволяют капиталистической экономике организовать государственные расходы в необходимых масштабах и, таким образом, провести эксперимент, показывающий правильность моих выкладок. Это будет возможно только в условиях войны”.

Так и получилось — война стала лабораторным экспериментом, доказавшим правоту Кейнса. Только строили за счет государства не жилища, а аэродромы и танки (но для анализа это неважно). В США дефицит госбюджета с 1939 по 1943 год подняли от 4 до 57 млрд. долл., безработица упала с 19 до 1,2 процента, производство возросло на 70 процентов, а в частном секторе — вдвое. Тогда-то экономика США (да и Германии) набрала свой ритм. Эксперимент состоялся.

А что мы видим на Западе сегодня — и не в политэкономии, а в обыденной жизни? В понятиях обыденной жизни ни о каком “свободном рынке” и речи нет — действует “административно-командная система”, какой мы в СССР и не видывали. Вот я приезжаю в Испанию, встречаю знакомого. “Что ты такой мрачный?” — спрашиваю. У него отец крестьянин (“фермер” по-нашему). В этом году приказали не засеять треть земли — вывести ее из производства, и все тут. Якобы дешевле покупать продукцию в Африке и Бразилии. Ну так, если экономика рыночная, пусть сам крестьянин решает, выгодно ему производить или нет. Он снизит цены, и потребитель будет рад. Нет, это для экономики, оказывается, самое страшное.

Читаю газеты, и с моим “совковым” мышлением просто не могу понять смысла всех этих маневров. Испанским крестьянам урезают квоту разрешенного производства молока. За каждый произведенный по сравнению с 1992 годом литр ему будут платить по 60 песет, а произведенное молоко у него покупают по 40 песет. Задача — поднять цены до уровня европейских и заставить испанцев покупать более дорогое молоко из Голландии. Но если рынок, то и пусть голландцы конкурируют, снижают издержки производства и т. д. Нет, нельзя — какая-то европейская комиссия по молоку утвердила план. Помню, пару лет назад запахивали на юге поля помидоров. Закупочные цены установили в 10 песет, а в то же время не пустили в Испанию дешевых сезонников-марокканцев (просачиваются во Францию). Убирать некому, студенты к этому не приучены, испанским батракам приходится платить больше. А в магазине помидоры по 100 песет. Почему бы крестьянам не заплатить работникам нормальную цену, не выкатить свои грузовички к шоссе и не распродать помидоры песет по 30 — 40? Категорически нельзя — вдоль всего шоссе и перед каждым поселком щиты: “Запрещается торговля сельскохозяйственной продукцией”. Надо же, и на свободном Западе что-то запрещается. А у нас всегда на шоссе торговали, хоть и не было рыночной экономики. Почему запрещается? Это угрожает интересам торгового капитала, который

⁹ Кейнс, значительно опережая западную интеллектуальную традицию, не переносил в экономику механистические метафоры и, главное, не прилагал метафору атома к человеку (может быть, повлияла и жена — русская балерина). Он относился к тому типу ученых, которых называли реалистами (в отличие от инструменталистов) — они видели мир таким, каков он есть, с его сложностями, и не прибегали к редукционизму, то есть сведению к упрощенным абстракциям (типа человека-атома, индивидуума). Кейнс считал атомистическую концепцию неприложимой к экономике, где действуют “органические общности” — а они не втискиваются в принципы детерминизма и редукционизма, которыми оперирует инженер. Что же касается идеологов наших российских реформ, то они совершенно четко, по всем важным положениям обнаружили свое механистическое мышление. Им противны все виды солидарности — они, как в Бога, верят в конкуренцию. Им противен крестьянин и его общинная психология — подавай им фермера с куплей-продажей земли. Им противно государство, любой протекционизм и патернализм — они за “свободный” рынок и индивидуальные свободы.

продает помидоры по 100 песет и предпочитает уничтожить весь урожай, но не снизить цену. И жандармерия охраняет его священное право.

Кооперативам помогает правительство социалистов. 9 августа открываю газету — огромная фотография, похожая на картину сталинских времен “Праздник урожая”. Солнечный испанский пейзаж, вереницы тракторных тележек с золотистыми персиками, огромные весы, горы плодов на площадке. Оказывается, это один из оборудованных в Арагоне пунктов по уничтожению персиков. Правительство их закупает у кооперативов по рыночной цене, крестьяне везут, стараясь не помять — контроль качества в Европе на высоте (как сказано в газете, ЕЭС установило цену закупаемых для уничтожения плодов от 17 до 27 песет “в зависимости от качества, размера и товарного вида”). А здесь их на земле давят специальной машиной или закапывают в огромные траншеи. “Производственный” план пунктов по уничтожению в Арагоне на этот год — 12 тысяч тонн персиков¹⁰.

К северу от Пиринеев другая беда: французские крестьяне останавливают и сжигают испанские грузовики с более дешевыми фруктами и овощами. Вчера перевернули и сожгли 12 трейлеров, сегодня опять. Полиция не вмешивается — ей с этими крестьянами жить. Это не рынок и не план — неравновесия “спускают” на уровень крестьян, создавая очаги конфликтов. Председатель испанской крестьянской ассоциации заявил: “Мы готовы к развертыванию спирали насилия в отношениях с французами”. И это — нормальная экономика?

А вот сентенции нашего доморожденного демократа-рыночника из “Независимой газеты”: “Стержень европейской жизни — порядок, соблюдение законов и правил... Когда французские фермеры узнают, что из Венгрии, Чехии или Словакии идут грузовики с дешевыми, буквально разоряющими их мясными продуктами, то они просто-напросто перекрывают автомагистрали и действуют партизанскими методами... Надо думать, что даже это беглое знакомство с системой сообщающихся сосудов цен и зарплат европейцев поможет понять, почему так ревностно оберегают свои заповедники от вторжения конкурентов, нарушающих привычный ритм и уклад”.

Это “беглое знакомство” прежде всего помогает понять, что такое наемный писака. Вчера эта газета прославляла свободную рыночную экономику и громила административно-командную систему СССР, которая была не чем иным, как тщательным планированием “соотношения цен и доходов” и “соблюдением установленных правил”. Сегодня с той же страстью нам доказывают, почему административно-командная система, которая занимается тем же самым в Западной Европе, — это прекрасно. Почему надо взрывать грузовики конкурентов, которые тебя разоряют более дешевыми ценами? Ведь если называть вещи своими именами, то западные производители оказались совершенно неконкурентоспособными по сравнению с предприятиями бывших стран СЭВ и СССР. Издержки производства на Западе несусветно велики, и если бы их экономика была рыночной и они были бы вынуждены конкурировать, то производители из бывших соцстран разорили бы их в два счета. И приходится им нанимать бандитов с динамитом — взрывать грузовики, и интеллектуалов-газетчиков — убеждать русских иванушек в том, что так оно и должно быть. Разорять разрешено только нас.

Бразильское правительство сообщило, что предполагает уничтожить четверть урожая кофе, чтобы не допустить снижения цены. А в самой Бразилии лишь небольшая часть населения может позволить себе выпить чашку кофе. Разве не более естественно подарить людям такую возможность, это все равно никак на цене не скажется, ибо они кофе не покупали и не будут покупать? Вот 13 августа 1993 года крестьянские кооперативы бесплатно раздали на пл. Испании в

¹⁰ Здесь, кстати, мы видим пример того, как современное западное общество производит десакрализацию труда и разрушает важнейшую культурную норму традиционного общества. Для крестьянина везти на пункт уничтожения плод его труда и засеянной им матери-земли — крушение мира. Но уничтожение плодов труда — обычное оружие в войне всех против всех. Вот случай, как бы “зеркальный” по отношению к персикам — забастовка мусорщиков. В Мадриде при такой забастовке через три дня был парализован аэропорт. Телевидение показывало совершенно дикие горы мусора в мраморных залах аэропорта, будто все пассажиры вдруг бросились жрать, как свиньи. Это трудно было понять. Ведь Москву не убирают с момента установления демократии — и ничего, жить можно. Дело прояснилось, когда мне пришлось поехать в Бильбао с лекциями. От прекрасного здания Университета Страны Басков несло, как от помойки. Там тоже бастовали уборщики. Вхожу в университет — ужас! В холлах и коридорах кучи мусора в рост человека, и чего там только нет. Что же у вас за студенты, спрашиваю. “При чем здесь студенты? — отвечают. — Наши мусорщики бастуют, и по ночам грузовики с мусором из города везут не на свалку, а в университет, и развозят по всем помещениям. Профсоюзная солидарность”. Так “производители чистоты” в борьбе против всех не просто уничтожают свой “продукт”, но и производят его антипод.

Сарагосе 3 тонны персиков — вместе с листовками, призывающими объявить бойкот французским продуктам. В ожидании раздачи на площади за полтора часа собралась толпа вполне приличных людей. Как с юмором пишет газета, “они набросились на фургоны с фруктами, как жители Сараево на грузовики с гуманитарной помощью после 16 месяцев блокады”. А за тридцать километров от этого места на государственные средства оборудован “комплекс по уничтожению персиков”, о котором говорилось выше. И это — та самая “нормальная” экономика, механизмы которой Россия должна срочно освоить?

Почему же не раздают “лишние” персики и молоко людям, не отправляют их в школы, в приюты? Никак нельзя. Капиталистический рынок обязан создавать постоянное и своеобразное ощущение дефицита — наличия и одновременно недоступности. Э. Фромм объясняет, почему “общество изобилия” было возможно лишь в “примитивной” общине: “Дефицит — это специфическая мания рыночной экономики, математически вычисляемое состояние всех, кто в ней участвует. Рынок предлагает ошарашивающий набор продуктов. Все эти “хорошие вещи” находятся для человека в открытом доступе, но всегда недоступны, поскольку человек никогда не имеет достаточно средств, чтобы купить их все. Жить в рыночной экономике — значит переживать двойную трагедию, которая начинается с неудовлетворенности потребностей и кончается изъятием того, что имеется... Мы осуждены на пожизненные принудительные работы”¹¹.

Таким образом, той рыночной экономики, образ которой в течение восьми лет создавали у доверчивого советского человека, вообще не существует. На практике в России (и других республиках СССР) политическими средствами создаются хозяйственные структуры, дополняющие и обеспечивающие экономику Запада — потому-то капиталовложения из западных кредитов будут идти в первую очередь в энергетический комплекс. Бжезинский так и диктует Западу: “сосредоточить иностранные инвестиции на специфических объектах, которые с наибольшей вероятностью смогут стать источником валюты для России в не слишком далеком будущем”. То есть это не инфраструктура, не машиностроение — это нефть. Так же как в свое время США сосредоточили инвестиции на богатейших месторождениях нефти Мексики — и у нее не только вся выручка от нефти уходила на оплату долга, но и остальная часть экономики работала на это (а долг все равно рос).

И все это прекрасно известно нашим экономистам, взявшимся за небольшую сумму “спустить” Россию в “третий мир”. Видный политик М. Харрингтон писал в 1967 году в статье “Американская мощь в XX веке”: “Механизм рынка не может послужить развитию латиноамериканских стран путем привлечения иностранного капитала или вложений национального капитала. Нужно сознательное экономическое и социальное планирование, а не частные предприятия. Ибо в самом лучшем случае логика закона максимальной прибыли приведет к тому, что интервенция крупных иностранных фирм деформирует экономическую структуру, а в худшем случае законсервирует отсталость страны... Чтобы нанести неисчислимый вред массам третьего мира, политики и вообще люди Запада вовсе не обязательно должны быть злыми — они просто должны быть рационально мыслящими реалистами”.

Другой экономист, Р. Майер, в то же время сделал такой прогноз: “Наиболее дефицитными металлами станут в будущем свинец, никель, олово, медь и кобальт. Если имеющихся запасов, оцененных самым оптимистичным образом, хватит на 100 лет, то должен быть принят как постулат очень низкий уровень их потребления для всего остального мира. Предполагается, что США с населением 6 — 7 процентов от мирового будут потреблять более половины мирового предложения этого дефицитного промышленного сырья”.

Вот и выполняется этот постулат — демонтируется промышленность России

¹¹ Об этом состоянии души сказал в XVII веке, на заре капитализма, испанский поэт Франсиско де Кеведо:

Любая собственность кажется огромной
Тому, кто не имеет ничего.
А тому, кто имеет хоть что-то,
Даже достаток кажется ничем,
Если он не имеет всего.

Маркс сказал об этом проще: животное желает того, в чем нуждается; человек нуждается в том, чего желает. Но все это чуждо человеку традиционного общества.

и снижается потребление ею необходимых цивилизованным странам материалов. Согласно докладу правительства, в 1993 году в России выросло производство только одного товара — свинца, и не было спада в производстве одного товара — алюминия.

Если бы речь действительно шла о построении в России капитализма, новый политический режим должен был бы не принимать деструктурирующую схему МВФ, а с помощью государственного планирования проводить структурную перестройку экономики и выращивать национальный капитализм в условиях сильного протекционизма. Все это прекрасно известно и из русского опыта, и из современного опыта Японии и стран Юго-Восточной Азии. К жизнеспособному капитализму при сохранении России как сильного государства мог вести только эволюционный проект, свободный от догм евроцентризма.

Для России — узкий коридор революции

Горбачев, Ельцин и их интеллектуальные бригады оставили для истории красноречивые признания в том, что они по мышлению своему — революционеры и радикалы (сам факт такого признания в разрушительных наклонностях — поразительное событие). Но ведь и западные либералы, отрицающие революционный подход в принципе, в приложении к России отвергают эволюционный подход к реформе и требуют: “Дальше, дальше, дальше!” Л. Анхель Рохо считает, что провал экономической реформы в России “предопределен ее робостью и поэтапным характером”. Надо было рубить сплеча¹². Может быть, по мнению этого глубокого исследователя рыночной экономики, это было бы простой операцией? Вот его оценка: “Способность рынка удовлетворительно регулировать экономические отношения не является интуитивно очевидной; чтобы понять ее, необходима рефлексия, и ее признание базируется на накопленном опыте. Распространение рыночных механизмов в современной экономике было медленным процессом, который преодолевал сопротивление самого разного рода... Психологическое принятие рынка базируется на длительном опыте. Советское население не обладает, однако, опытом рынка как доминирующего начала в экономическом порядке”.

Ясно, что население огромной страны, не имеющее ни опыта, ни времени для рефлексии, может быть загнано просвещенным авангардом в “рынок” только силой и обманом (обычно “революции сверху” используют оба подхода). Разительный контраст с щадящей политикой по отношению к населению “цивилизованных” стран. Вот что пишет, основываясь на социальной философии Поппера, убежденный антисоциалист, сторонник свободного рынка философ Г. Радницки: “Крупномасштабные революционные проекты, все радикальные планы полной реконструкции общества являются утопичными. Крупномасштабное социальное планирование является, кроме того, безответственным, поскольку вследствие неполной предсказуемости результатов некоторые из результатов неизбежно приведут к страданиям. Чем более всеобъемлющим и более крупномасштабным является революционный проект, к тем большим страданиям приведет его внедрение в практику. Отсюда следует, что единственным ответственным способом действия в социальной политике является продвижение шаг за шагом; продвижение с осторожностью и на ощупь, шагами достаточно малыми для того, чтобы их результаты могли быть ясно и полно осознаны”.

Итак, для Запада — осторожная эволюция с накоплением опыта и рефлексией, для СССР — новый крупномасштабный революционный проект, эксперимент по осуществлению новой утопии, на этот раз капиталистической. Причем с полной уверенностью, что эксперимент провалится и лишь приведет к огромным страданиям людей и вероятной гибели страны. И идеологией этого проекта является евроцентризм. Самир Амин пишет:

“Эта господствующая идеология не только предлагает картину мира, но и политический проект в масштабах всего земного шара: гомогенизацию путем имитации и преодоления отсталости. Но этот проект невозможен. Разве не содер-

¹² Через три года после той самой статьи, в которой Л. Анхель Рохо менторским тоном давал указания Советскому Союзу, как ему быстрее разрушить свои хозяйственные структуры и прийти к благоденствию, вижу его портрет в газете и подпись большими буквами: “Банк Испании не видит выхода из туннеля”. Надо же — экономист-демократ не знает, как вытащить погруженное неолибералами в кризис хозяйство Испании, которое он изучил досконально, а советской экономике, о которой он слышал из речей Аганбегяна, он прописывает рецепты без тени сомнения.

жится признание этой невозможности в общепринятом выводе, что распространение способа жизни и потребления Запада на пять миллиардов человеческих существ наталкивается на абсолютные препятствия, в том числе экологические?.. В рамках неосуществимого проекта евроцентризма идеология рынка (с предполагаемым почти автоматически дополнением — демократией), превратившаяся в настоящую теологию, переходит уже в сферу гротеска”.

Казалось бы, это влияние доминирующей на Западе идеологии невелико — может ли оно повлиять на ход истории в огромной стране. Но такой взгляд кажется естественным лишь в рамках механистичного мышления. Когда же речь идет о системах, то известно, что в периоды неустойчивого равновесия очень небольшие воздействия могут направить развитие по совершенно неожиданному пути. Революция и гражданская война в России, коллективизация, война и начало “холодной войны” — все это типичные “распутья”, моменты неустойчивого равновесия (точки бифуркации). И в эти моменты внешние воздействия играли огромную, часто трагическую для России роль.

В подобной точке бифуркации находится Россия и сегодня. И опять, как в тяжелом сне, история повторяется. Опять обладающая в стране большим авторитетом евроцентристская демократическая интеллигенция и ее духовные братья на Западе поддерживают самую радикальную силу и обеспечивают своими усилиями революционные изменения. И опять большинство населения представляется консервативной, реакционной силой, которую просвещенный авангард должен “железной рукой” вести к счастью.

ПОИСКИ ИСТИНЫ

НИКИТА МОИСЕЕВ

СУМЕРКИ РОССИИ

Завтра еще не началось

И вот наступил нынешний, 1993 год. Я кончаю книгу, которую начал легко и даже весело — я писал ее для себя, как и раньше, в юности, писал стихи. Писал в те дни, когда у меня не было срочной работы или мне было трудно ею заниматься, когда мне хотелось отдохнуть и побыть наедине с самим собой, со своим прошлым и со своими мыслями. А еще — когда мне становилось тошно от настоящего. Тогда я как бы листал страницы своей жизни и удивлялся тому, что все произошло так, а не иначе. И у меня самого, и в моей стране.

Я по природе своей “жаворонок” — всю жизнь просыпался очень рано. Но в молодости я ленился подниматься сразу и, если это было можно, любил побездельничать, лежа в кровати, подумать о чем-нибудь приятном. Но в нынешнее время такого безделья уже не получалось: достаточно выключиться из какого-нибудь дела, как в голову начинают лезть мысли, как правило, очень грустные, ибо будущего не видно. И тогда настроение портится; причем на целый день, и мешает заниматься делом. Поэтому, просыпаясь рано, а это случалось почти каждый день, я торопился встать и садился за компьютер. Теперь он мне заменял мое Ладожское озеро, и моя медитация — это уход в прошлое. О будущем теперь не думалось — не те годы и не то время, не хочется расстраиваться. О судьбе написанного я также не думал.

Но вот однажды, когда я был в том состоянии, о котором в детской книжечке написано “не поется, не клюется, у меня куриный грипп”, на принтере я распечатал написанное. И первым читателем стала моя жена, которую я попросил исправить орфографию и выловить обычно многочисленные опiski. Это она первой сказала мне о том, что мои размышления могут быть интересны не только моим близким и их следует опубликовать. Тогда я дал почитать написанное еще кое-кому из знакомых, кому я верил. Они мне сказали то же самое, что и Тоня. Я быстро прочитал рукопись и понял, что без особого предварительного замысла родился документ, содержащий информацию высокой степени подлинности. По существу, в нем даны фрагменты истории интеллигенции, естествознания и даже философии последних десятилетий. И они пропущены через конкретную жизнь, сквозь те самые три четверти века, которые я уже прожил и которые неузнаваемо изменили лик огромного народа. Тем самым я как бы отдаю свою жизнь тем, кто хочет увидеть изнутри эту историю в ее трагизме и очаровании.

Я еще раз прочитал рукопись более внимательно и решил ничего в ней не менять, ничего не дополнять, боясь испортить чистоту первоначального документа и непредвзятого восприятия. Может быть, следовало ограничиться первыми тринадцатью главами? Но, во-первых, тринадцать плохое число, а во-вторых, последняя, тринадцатая глава была написана год назад, а я уже стал думать о читателях. Вот почему я сел писать заключительную главу. Она мне далась труднее всего, и ее я писал уже совсем не легко и, тем более, совсем не весело, поскольку теперь речь должна идти

МОИСЕЕВ Никита Николаевич родился в 1917 году в Москве. Окончил механико-технологический факультет МГУ и Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. Действительный член РАН. Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР. Автор книг: “Восхождение к разуму (лекции по универсальному эволюционизму)”, “Человек и ноосфера” и многих других. Живет в Москве. Публикуемые главы являются фрагментом книги “Как далеко до завтрашнего дня...”, подготовленной к печати.

о будущем. Как бы мне хотелось сказать читателям, особенно молодым, нечто обнадеживающее!

Словом, я посчитал необходимым написать специальную заключительную главу, отвечающую реалиям сегодняшнего девяносто третьего.

Советник академии

У Гюго есть роман с таким же названием, как и это заключительное размышление. В детстве я очень любил книги Гюго, особенно его "Девяносто третий". Читал несколько раз и каждый раз сочувствовал жертвам страшного года Французской революции, которую уже в раннем детстве воспринимал как катастрофу, а не как героику. И мне всегда слышалось что-то зловещее в этом сочетании слов — *quatrevingt treize*.

200 лет назад во Франции был развязан террор, против якобинцев поднялась Вандея, кровь и звериная жестокость захлестнули страну Вольтера и Руссо, людей набивали в баржи, а баржи топили в Луаре. И все происходило во имя диких, бессмысленных лозунгов. У людей менялась психика. Из доброго тихого человека вдруг вылезал неандерталец. А интеллигенты, — их тогда называли философами, — превращались в палачей. Так, наверное, случается во время любых революций. Ведь и у нас в стране тоже был свой *quatrevingt treize* и люди превращались в зверей, для которых жизнь не стоила ничего. Ничья. И что особенно страшно — своя в том числе!

И вот в нынешнюю новогоднюю ночь я произнес тост, не очень понятный моим гостям: "Не дай Бог, чтобы наш наступающий девяносто третий был хоть чем-нибудь похож на французский". Мне хочется верить, что у нашего народа хватит мудрости избежать еще одной катастрофы. Да и вряд ли какой народ способен в одном столетии вынести две подобных революции, два "девяносто третьих"!

Но это только вера, ибо трезвый анализ говорит о другом — никогда со времен Смутного времени наш народ не был так унижен, так лишен будущего, так погружен в горе, как сейчас. И главное — безнадежность, отсутствие национальных объединяющих идей: каждый пытается выкарабкаться самостоятельно; отсутствие Мининых и Пожарских, тех, кому хочется верить, кто достоин того, чтобы ему верили, — вот что сегодня мне кажется самым страшным. И народ пока еще не сказал своего слова. Какое оно будет?

В марте 1986 года я ушел в отставку. Расстался со своей должностью в Академии наук, отказался и от заведования кафедрой. Поскольку мое материальное положение было обеспечено законом об академических советниках, я надеялся, что смогу не думать о заработках и спокойно заниматься наукой — теми вопросами, что меня интересуют и на которые у меня не всегда хватало времени. Мне хотелось многое написать. Я сохранил все свои научные связи, и мои планы были вполне четкие: я собирался продолжать исследования в области теории самоорганизации и, помня великий завет о том, что никакая теория не может удовлетворять современным стандартам, если в ней нет хорошей математической канвы, попытаться объединить общие методологические основы универсального эволюционизма с системой математических моделей. И таким способом подойти к главной проблеме, которая меня гложет больше всего: как научиться изучать стабильность биосферы как единого целого, как четко определить само это понятие и оценить способности человека обеспечить свое будущее, вместе с биосферой, разумеется! Каковы для этого должны быть контуры научной программы.

Мы с женой завели маленький домик в 60 километрах от Москвы, и я думал значительную часть времени жить там наедине с компьютером. Но и вместе с женой, разумеется! Но действительность внесла свои коррективы. Началась ПЕРЕСТРОЙКА, радостно встреченная большинством населения и особенно интеллигенцией, мало понимавшей смысл происходящего. В этой новой обстановке каждый гражданин должен был определить свое место в этом процессе. Я написал длинное письмо М. С. Горбачеву. В нем было три утверждения. Первое — необходимая либерализация экономики должна пройти стадию "развитого госкапитализма", когда будут разрушены монополии отраслей и возникнут корпорации с государственным капиталом, способные к конкурентной борьбе на рынке, причем международном. Второе — должны быть легализованы

все формы собственности на землю, но под контролем "земельного суда" как важнейшего инструмента гражданского общества, исключающего возможность деградации земли — высшей ценности человечества. И третье, главное богатство и главное завоевание "социализма", — это грамотное население, тот интеллектуальный потенциал, которым мы теперь обладаем. Необходимо найти способы его сохранения и рационального использования — это ключ к решению и экономических, и социальных проблем. Только это поможет утвердиться высшим технологиям, а следовательно, и обеспечить сохранение Союза в клубе промышленно развитых держав.

Реализация подобных тезисов предполагала новый уровень государственности: без общегосударственных программ, без воли и энергии всей страны ни один из этих вопросов быть решенным не может! Из подобных соображений и должна строиться вся стратегия необходимых преобразований нашего общества. Преобразований, которые уже давно назрели, без которых наша Великая Страна может превратиться в мировое захолустье. Я стоял на позициях весьма далеких от тех, которые занимали люди, позднее назвавшие себя демократами, и от позиции той группы партийных деятелей, которые открыли процесс перестройки.

Несмотря на то, что я передал конверт в приемную генсека, Михаил Сергеевич, когда через пару лет мне довелось с ним разговаривать, сказал, что такого письма не получал. У меня нет оснований ему не верить. "Аппарат, — как мне сказал однажды М. С. Горбачев, — есть аппарат!"

Я не делал тайны из своих суждений, старался их разъяснять, выступал с докладами и статьями. Моя позиция чем дальше, тем все заметнее отличалась как от официального курса, так и от того, что тогда было модным, от того, что говорили и писали "прорабы перестройки", начисто отвергавшие идею державности. Я очень рад, что меня к ним не причисляли.

Физико-технический институт, где я состоял профессором уже более 30 лет, выдвинул меня в депутаты Верховного Совета СССР. Моя кандидатура была поддержана Московским лесотехническим институтом и еще рядом организаций Мытищинского избирательного округа. На большом собрании я подробно изложил свою позицию, свои взгляды на перестройку и... отказался баллотироваться в депутаты. Мне было совершенно ясно, что я не могу заниматься политикой ни по здоровью, ни по возрасту и, главное, по характеру мышления.

Я не обладаю способностями, нужными политику. Верю тому, что люди говорят, не умею разбираться в хитросплетении личных интересов, придумывать ходы, которые бы устраивали одну партию и нейтрализовали другие, и т. д. Одним словом, я не умею делать всего того, что должен уметь политик, стремящийся обеспечить достижение своей цели. Я также не могу принадлежать к какой-либо партии — могу лишь сочувствовать, но не больше, разделять взгляды той или другой группы людей, но заведомо не всех. И жена меня поддержала в моих решениях — она даже была более категоричной в этой позиции, чем я сам.

По этим же причинам я не стал сдавать партбилет, когда начался массовый выход из КПСС. Я вступал в партию на фронте, в очень тяжелое время, вступал вместе с теми, кто защищал страну от фашизма. Получением партбилета я подчеркивал свою жизненную позицию, причем не партийную, а русскую. Никогда я не был "шибко партийным", всегда имел собственный взгляд на вещи и всячески избегал политической и партийной деятельности. Вот и теперь я не считаю возможным отказываться от своего прошлого в угоду тем или иным политическим или партийным соображениям. Что было, то было. И пусть мой партбилет в тех рваных корочках, на которых написано еще ВКП(б) и которые мне подарил подполковник Фисун в Синявинских болотах, останется в моем письменном столе.

Когда был первый съезд свободно выбранных Советов, мы с женой были в подмосковном санатории "Десна" — кажется, в последний раз в жизни мы имели возможность купить путевки в санаторий и провести четыре недели под наблюдением врачей. Теперь санатории доступны только продавцам из коммерческих ларьков или, быть может, еще и шахтерам. В тот год мы много гуляли и еще больше смотрели телевизор. Первый съезд без купюр и без единогогласного голосования. Это было так ново, что даже не верилось в то, что так и происходит сейчас в Кремле. Я смотрел во все глаза. Мне было все страшно интересно и... очень грустно за тех, кто с чистым сердцем шел в политику, надеясь сделать что-то полезное для своей страны.

Я видел беспомощность доброго идеалиста и бесстрашного человека Андрея Сахарова, который говорил враждебно настроенной аудитории то, что у него было на сердце, о чем он думал долгие годы остракизма, ссылок, унижений. То, о чем думало огромное большинство граждан нашей страны. Видел я и злого, отвратительного Ландсбергиса, которого все считали интеллигентом только потому, что он был знатоком музыки, и других людей, которые по непонятным мне причинам стали народными избранниками и вылезали на трибуны просто так, без понимания настоящего и без мыслей о будущем. Может быть, лишь для самодемонстрации. Меня угнетало и то, что я не видел стержня, идеи, ради которой все это происходит в Кремле. Неужели люди, которые произносили слова "социалистический выбор", не отдавали себе отчет, что за всем этим стоит? Утешал меня лишь мой собственный выбор: слава Богу, что меня нет в этом зале! А как легко я мог бы там оказаться! И что я чувствовал бы тогда? В какой роли я бы там оказался — в роли еще одного распятого? Как Сахаров? На эту роль я не был способен. Но еще хуже и горше пополнить собой ряды молчаливого большинства.

Мне казалось, что я представляю себе некоторые фрагменты такой программы целенаправленного развития общества, которая позволила бы избежать революции, взрыва национализма и распада Союза — это главное, что меня страшило. Я, повторю, всегда был непримиримым оппортунистом, больше всего боялся стихии революции. Даже в молодости. Но можно ли сейчас убедить тех, в кремлевском зале, что перестройка реальна и может обойтись без крови и горя? Что именно к горю и крови ведет толпа ничего и ни в чем не понимающих "народных избранников".

Опереточный путч

Августовский путч меня застал в Переславле-Залесском. Я туда поехал вместе с гостившим в Москве старым знакомцем, гражданином Франции Георгием Николаевичем Корсаковым. Он родился в Париже в 1921 году. Так что мы были почти ровесники.

Познакомился я с Георгием Николаевичем во второй половине 60-х годов в Бордо на конференции "Кибернетика и жизнь", организованной Международным институтом жизни. Познакомил нас его президент, профессор Морис Маруа, добрый и бескорыстный человек, что среди французов встречается нечасто. Корсаков был директором патентного департамента компьютерной фирмы Хонивелл-Бюль и всегда был готов помочь, когда я бывал в Париже по своим компьютерным делам.

Но подружился я с ним в Москве, куда он однажды приехал по своим служебным обязанностям. Мы сидели у меня дома и ужинали, и тут он произнес фразу, которая совершенно изменила мое к нему отношение. А сказал он примерно следующее: "То, что внук адмирала Корсакова, чьим именем назван город на Сахалине, должен жить в этой самой Франции, а не у себя дома, — я вам прощаю. То, что наше курское (или орловское — точно не помню) имение, которое славилось как образцовое и сверхдоходное хозяйство, превратилось черт знает во что, неспособное прокормить даже тех, кто там работает; — я вам тоже прощаю. Но то, что со мной начинают вежливо разговаривать в "Национале" (или "Метрополе" — я не помню, в какой гостинице он тогда жил) только после того, как я покажу им французский паспорт, — этого я вам никогда не прощу". Я этого тоже никогда не мог простить советской власти. Исчезновение чувства собственного достоинства русского человека, и не только русского, а гражданина России, — одно из самых мерзких преступлений большевизма и источник неисчислимых бед. Вот почему мы с Корсаковым и стали друзьями: по самому главному вопросу, об отношении к России, о самосознании русского человека и необходимости вернуть ему чувство самоуважения, мы были единомышленниками.

Итак, путч. Он нас застал в Переславле, вернее, в его окрестностях, в маленьком финском домике, который использовался в качестве гостевого в Институте программных систем Академии наук и в котором мы с женой и Корсаков отдыхали тогда.

Увидев рано утром по телевизору вместо привычных последних известий фрагменты "Лебединого озера", мы поняли, что в Москве что-то стряслось. Но никто еще ничего не знал, и начальство института тоже. Потом, когда через пару часов увидели на экране телевизора господина

Янаева с трясущимися руками, поняли все: произошел путч — добром такие ситуации не кончаются.

В том, что путч провалится, мы были уверены. Но последствия могут быть самыми непредсказуемыми и совершенно трагичными для нашего государства. И это мы все трое понимали отлично. И то, что трагедии не избежать, тоже. Но того, что случилось в Беловежской пуще, никто из нас не ожидал.

Мне казалось, что произошло такое, что и в кошмарном сне не может привидеться. Тысячи лет создавалось государство, и за один вечер оно было разрушено. Это была не просто безответственность, это был удар в спину России да и, наверное, всей планетарной цивилизации. Кроме того, я не видел логики: ведь только что на референдуме народ проголосовал за сохранение Советского Союза и начался новоогаревский процесс, который большинство рассматривало как некий свет в конце туннеля, как принято это теперь называть. И вдруг такое! Да еще нелепейший суверенитет России. Происшедшее мне казалось столь же нелогичным, как, скажем, объявление суверенитета Англии от Великобритании. Когда-нибудь нужные документы окажутся обнародованными, и мы узнаем скрытые пружины происшедшего.

Но может быть, и тайны здесь нет никакой? Может быть, здесь и нет ничего, кроме игры человеческих страстей и амбиций? На эту мысль меня навел следующий эпизод.

В марте 1992 года было узкое совещание у Г. Э. Бурбулиса. Я уж не помню, по какому поводу, но зашел разговор о смысле Беловежской трагедии. Геннадий Эдуардович начал было объяснять, что разрушение Советского Союза — это хорошо. Но вдруг остановился, воздел руки к небу и сказал: "Да неужели вы не понимаете, что теперь над нами уже никого нет!" Может быть, в этом и состояла истинная причина — ведь Бурбулис был тогда вторым лицом в государстве!

Я все больше втягивался в общественную жизнь — в такое время невозможно уйти в сторону. Вот я и писал публицистические статьи, не очень веря в их полезность, а реализацию моих научных планов все откладывал и откладывал до лучших времен... если они настанут. Да и кому сейчас есть дело до стабильности биосферы!

Еще одна попытка

Осенью 1991 года, кажется в ноябре, проходило общее собрание Академии наук СССР — последнее собрание Союзной Академии. Должен был быть решен вопрос о ее дальнейшей судьбе и о ее принадлежности России. Начались длинные и, как всегда, достаточно нудные дебаты. Я выступил с небольшой речью. Ее лейтмотив состоял в том, что главным сегодня является не вопрос о принадлежности Академии. Здесь-то и решать нечего: само собой разумеется, что она должна теперь называться Российской, как и в былые времена. Главное сегодня в другом — суметь поставить на службу России интеллектуальный потенциал Академии, так же, как это было сделано во время войны, когда возникали различные академические комитеты, сыгравшие немаловажную роль в повышении обороноспособности страны и мобилизации ее ресурсов на общую цель.

Сегодня Россия не представляет собой экономического организма. Это кусок территории, вырванный из тела страны. Но обратного хода нет. Несмотря на весь трагизм такого утверждения, его надо принять как аксиому. Отказ от нее будет означать кровь и еще большую глубину трагедии. Надо пережить и Севастополь, эту кровоточащую рану, и то унижение русского народа, в которое нас повергли ныне власть имущие, и, сжав зубы, начать работать во благо будущего. Нужно научиться жить в этой новой для нас стране, но стране нашей, за которую мы и только мы в ответе.

И первое, что должно быть сделано, — превращение той территории, которую мы сегодня называем Россией, в настоящее современное государство, в единый экономический организм с соответствующей структурой. Эта задача пока не понята и заведомо не под силу той группе людей, которая сегодня пришла к власти и распоряжается страной. Надо это признать. И только тогда станет понятной мера нашей собственной ответственности, той ответственности, которая лежит на плечах научной интеллигенции. Необходимо найти способы использовать интеллект, знания и энергию членов Академии и молодежи, особенно научной молодежи, которая стоит за каждым из нас. Меня очень беспокоит то, что страну заливают волна посредственности, что в сознании тех молодых людей,

которым, в силу удивительного случая, оказались сегодня вручены ключи от нашего будущего, властвует представление о самодостаточности — первейший индикатор посредственности и грядущих неудач. Как им объяснить, что их вознесение на вершину власти не следствие их талантов — чтобы выдержать ответственность, которая на них навалилась, им необходима настоящая опора. Сказал я еще и о том, что использовать расхожий термин “кризис” неправомерно. Следует осознать, что страна переживает смутное время. И речь должна идти об организации жизни в это время и о долговременной стратегии выхода из него. Вот почему необходимо создание совета “Наука — будущему России”.

Моя речь особого впечатления не произвела, только академик Марчук, последний президент Союзной Академии, — он вел то памятное общее собрание, — мне бросил: “Инициатива наказуема, Никита Николаевич! Вам и писать письмо в правительство”.

Письмо на имя Б. Н. Ельцина я написал и дал его подписать ряду членов Академии. Положил его и на стол Г. И. Марчуку, где оно благополучно пролежало около недели. Я его забрал и без его подписи отвез в канцелярию Президента России.

Судьба этого письма достаточно показательна.

Примерно через полгода неожиданно вышел указ Ельцина об организации при правительстве консультационного общественного совета по анализу критических ситуаций и проектов правительственных решений. В его состав было включено довольно много весьма квалифицированных специалистов, что давало определенную надежду на возможность успешной работы. Его председателем был утвержден я. Мне казалось, что в таком составе совет может в наше смутное время постепенно превратиться в некий инструмент стратегического анализа. Без него обойтись невозможно. А допускать до него бойких, на все готовых дилетантов крайне опасно. Я думаю, что провал перестроечного процесса в очень многом был следствием непонимания возможных перспектив, ясного представления о том, что из желаемого реально! Да и само желаемое очерчивалось очень смутно. И перед моими глазами все время вставал назидательный пример.

После нападения на Пирл-Харбор, как об этом повествуют многочисленные воспоминания, в Вашингтоне возник неформальный кружок обеспокоенных ученых. Они собирались, обсуждали проблемы, возникшие в связи с войной, обдумывали пути их решения. Иногда в этих встречах участвовали Рузвельт, Гопкинс и другие государственные деятели. Рузвельт обычно молчал, иногда задавал вопросы, иногда просил проанализировать ту или иную ситуацию. Под эгидой этих людей проводились некоторые исследования, которые мы сегодня относим к исследованию операций или системному анализу, то есть к комплексному анализу проблем принятия тех или иных решений. Уже после кончины Рузвельта Трумэн формализовал эту деятельность, и была создана знаменитая RAND CORPORATION. Она сыграла очень важную роль в период “холодной войны”. Действует она и сейчас. Президенты и правительства уходят, а RAND остается и снабжает федеральное правительство (а в последние десятилетия и крупные корпорации) важнейшей, объективной, от политики не зависящей информацией.

Я надеялся, что мне удастся повторить в новой редакции и в новых условиях опыт США и создать тот аналитический инструмент, который поможет найти стране пути выхода из с м у т н о г о в р е м е н и. И весь 1992 год я делал многочисленные усилия для реализации этой идеи. Но я не учел того немаловажного обстоятельства, что Ельцин не Рузвельт, а Бурбулис не Гарри Гопкинс.

На многочисленные письма, которые я писал Ельцину, Гайдару и Бурбулису, никакой реакции просто не последовало. Я провел два слушания в Верховном Совете. Провел несколько заседаний в Институте философии, Доме ученых и на собственной квартире (помещения, аппарата, а тем более, каких-либо средств у Совета не было). Но никто из сильных мира сего или их советников какого-либо интереса к этим акциям не проявил. А советник Президента по экологии А. В. Яблоков однажды мне сказал: “Затеваετε разные советы, когда есть институт советников”. Тем не менее, нам удалось выпустить две брошюры: “Стратегия выживания” и “Проблемы регионального управления”. Я хочу поблагодарить ректора РГУ профессора Бим-бада и директора Института региональных проблем профессора Айламазяна за то, что они нашли средства на оплату типографских расходов. Без их участия не удалось бы выпустить брошюры и провести по ним слушания в Верховном Совете. Впрочем, и в Верховном Совете эти усилия не оставили заметных следов: депутаты были поглоще-

ны политической борьбой и вряд ли понимали, что есть еще нечто, не зависящее от политики.

Меня огорчила удивительная незаинтересованность руководства страны в той поддержке, которую могла бы оказать неформальная, то есть независимая от правительства и партии наука, люди, лишенные ведомственной или политической предвзятости.

Больше всего меня удивлял Гайдар. Я не раз видел его на семинарах в Институте системных исследований, в ЦЭМИ. Как старый профессор, я всегда присматриваюсь к молодежи. Он мне понравился. Потом мы с ним встречались в редакции журнала "Коммунист", где он заведовал отделом экономики. Его начальником был Лацис, человек несравненно более образованный и способный. Рядом с ним Гайдар был не больно замечен. И все же я был очень рад его назначению на пост премьера. После Силаева, которого я знал много лет по Минавиапрому как человека, способного выдвинуть Симонова на пост генерального конструктора в КБ им. Сухого, это был большой шаг в "интеллектуализации" правительства. Мне, как и многим, было радостно, что впервые у нас появляется более или менее образованное правительство.

Меня, правда, смущал кое-кто из персонажей нового кабинета министров, тем более что один из них вырос прямо на моих глазах — этаким самонадеянный мальчик, о котором мама всегда говорила: какой он талантливый! Но, несмотря на некоторые подозрения, я был рад формированию такого молодого правительства и написал Гайдару пару писем, в которых послал некоторые мои статьи и предложения. Никакой реакции не последовало. Оказалось, что секретарем Гайдара работает бывшая секретарь моей бывшей кафедры. Я попросил ее передать Гайдару мою просьбу о свидании. И этот демарш остался безрезультатным.

После этого я уже попытался внимательно разобраться в том, что из себя представляет "команда Гайдара" и на кого она опирается. Я не буду приводить подробных рассуждений и ограничусь несколькими заключениями.

На смену дремучему невежеству пришли полужнания. И я не знаю, что лучше. Те, что командовали нашей страной раньше, были умные хитрые мужики. И они понимали, сколь многого они не знают. И поэтому время от времени приглашали настоящих специалистов. Кое-что слушали и кое-что наматывали на ус. И хотя решения принимали, исходя из установившихся правил игры, но советы все же слушали, а иногда и использовали. Теперь к управлению страной пришли люди, которые думают, что они образованны. У них возникает "синдром самодостаточности". Им не нужны независимые советчики, а нужны помощники. И они их рекрутировали из той же, им знакомой среды людей, не получивших настоящего образования. И вот волна не очень грамотной посредственности с самомнением, свойственным "полунауче", захлестнула нашу страну.

Я совсем не думаю, что государством должны управлять ученые или сверхобразованные люди. Вовсе нет! На меня однажды произвела большое впечатление реплика Наполеона, обращенная к Бертье, своему блестящему начальнику штаба: "Из тебя никогда не получится полководца" — и последующее объяснение того, сколь разными качествами должны обладать командующий и начальник штаба. Ученый не может управлять, ибо если внутри него не живет сомнение, то он не может быть ученым. И его задача не преодолевать сомнение, а использовать его для получения новых знаний. А человек, принимающий решение, должен уметь преодолевать сомнение, иметь мужество идти на риск, и для него важнее всего "ввязаться в драку" — вот так я пересказываю знаменитое высказывание Наполеона. И добавлю еще от себя: настоящий большой политик должен быть настолько умен, чтобы опираться на штаб — собрание людей, каждый из которых должен быть образованнее самого политика.

Когда я понял, что у нас все не так, когда я понял, что вместо RAND CORPORATION у нас ограничатся множеством "консалтинговых" контор, для которых западная технология обращения с бумагами и есть верх мудрости, я решил выйти из игры. Но не тут-то было!

Президентский совет

Неожиданно я получаю извещение о том, что включен в число членов президентского совета. Со мной никто предварительно о возможности моего участия в работе совета не разговаривал, и до сих пор я не знаю,

почему я удостоился чести сделаться его членом. Но что греха таить — мне такое назначение было приятно. Более того, с работой в совете я связывал определенные надежды и, главным образом, возможность реализовать идею использования научного потенциала для превращения России в полноценную, экономически сильную державу. "Наука на службу России" — такая организация, в чем-то похожая на RAND CORPORATION, так же опирающаяся прежде всего на временные коллективы, коллективы, собранные "поштучно" со всей страны, то есть на лучшие мозги нации, необходима России. Она будет создана — если не мной, то кем-либо еще. Ибо без нее страна в нынешних условиях просто не сможет сформироваться как первоклассная держава. И на высокопрофессиональной основе, по возможности избегая конкретного политиканства, такая организация должна быть способна просматривать альтернативы развития, бороться с утопиями и формировать объективные суждения о возможной нише нашей страны в мировом сообществе XXI века.

Я не питал особых иллюзий и ожидал, что встречу значительные трудности и, вероятнее всего, встречу в совете людей, не разделяющих моих политических взглядов. Во-первых, я не считал себя демократом в том примитивном современном смысле, когда считается, что и "кухарка может управлять государством". Мне казалось, что принцип "один человек — один голос" в такой стране, как наша, легко может быть доведен до абсурда, когда станут оправдываться слова Цицерона о том, что демократия всегда вырождается в хаос. Я сторонник представительного государства, когда демократический принцип действует лишь на самом нижнем уровне, где люди знают друг друга. Кроме того, должна быть реализована определенная элитарность. Нет, не в духе Платона. Но, тем не менее, правление должно быть в руках профессионалов, способных опираться на интеллектуальный потенциал нации.

Во-вторых, как это следует из той схемы эволюционизма, которой я занимаюсь последние 20 лет, по мере развития производительных сил направляющая роль интеллекта, а следовательно, институтов гражданского общества и, прежде всего, государства должна расти. Особенно теперь, в преддверии глобального экологического кризиса. Но отсюда следует, что решающее значение имеет организация направляющей деятельности государства в развитии промышленности, образования, науки и всей инфраструктуры. Другое дело, что эти управляющие воздействия не обязательно должны реализовываться методами команд. Более того — необходимость максимального использования таланта и инициативы людей в подавляющем большинстве случаев вообще исключает командную форму управления. Да в ней и нет необходимости, поскольку рыночные механизмы столь гибки и столь отточены, что могут обеспечить гражданскому обществу достижение практически любых социальных, политических и экологических целей.

Свою задачу я вижу в том, чтобы содействовать превращению жителей территории России в граждан единого многонационального государства, способных к проявлению ответственности за свою страну и участию в формировании ее национальных целей. Ну и, конечно, в создании некоей структуры, которую я условно называю "Наука — будущему России".

Но пока это только мечты. На тех заседаниях, в которых мне довелось участвовать, обсуждались лишь чисто политические ходы. А в этой сфере вряд ли я что-либо могу сказать существенное, а обсудить возможные планы моей активной деятельности пока не удалось.

Я предпринял лишь одну акцию — организовал научный семинар под названием "Россия в мире XXI века". Он собрал в круг интересных людей, старающихся, преодолевая свои политические симпатии и антипатии, разобраться в происходящем и отделить утопии от реальных возможностей. Но и эта деятельность встречает большие трудности. Мало собирать раз в месяц и вести умные разговоры. Надо, чтобы эти умные мысли доходили до интеллигенции. Причем не только гуманитарной, но и технической, которая представляет сегодня огромную силу. Пока этот слой людей не очень активен, но он имеет свои корпоративные интересы, как мне кажется, совпадающие с общенациональными, и ему свойственно чувство общности. Именно этим людям присущи мысли о будущем. И к ним обращаются участники нашего семинара.

Но не так-то просто в нынешнее время организовать издание сборников типа "Вех". Но, кажется, находятся добрые люди и кое-что сделать удастся. Конечно, все это лишь микровклад, но вспомним историю, которая случилась с лафонтеновской лягушкой, упавшей в крынку с молоком!

В течение тех двух-трех месяцев, которые понадобились редактору для подготовки рукописи к печати, произошли события чрезвычайной важности: произошла еще одна катастрофа. Я думаю, что история не знает случая, чтобы президент расстрелял собственный парламент. При этом погибло несколько человек, лично мне знакомых. Погиб только что окончивший физтех романтически настроенный мальчик, он погиб около костра, застреленный омовцем. Была убита студентка второго курса — девочка шла домой и погибла от пули снайпера, стрелявшего с крыши дома. Погиб и один талантливейший режиссер петербургской студии научно-документальных фильмов, рискнувший сделать несколько натуральных кадров.

Ужас состоял в том, что стреляли друг в друга бывшие единомышленники, еще два года назад стоявшие рядом. И так же, как катастрофа распада Великого Государства, происшедшее в начале октября 1993 года имело в своей основе борьбу за власть и личные амбиции. О судьбе России, о том, какое значение будет иметь расстрел Белого дома для будущего нашей страны, никто не сказал ни слова. Значит, смуте на Руси не видно конца.

Как и многие, я сторонник крепкой президентской власти.

И было время, когда она могла состояться: народу были нужны слова **н а д е ж д ы**, в которые народ бы поверил. И люди ждали этих слов. Они в нужное время произнесены не были.

Теперь мы живем уже в другой стране...

Век предупреждения

Вряд ли когда со времен Смутного времени русский народ оказывался в таком катастрофическом состоянии, как сейчас, — нация раздавлена. Предстоит начинать почти с нуля, собирая тех, кто действительно способен верить в будущее и работать во имя его.

Однако то, что сейчас происходит в России, отнюдь не является чисто русским или чисто социалистическим явлением. Это лишь одно, — возможно гипертрофированное, — из проявлений общего кризиса цивилизации. В том числе (а может быть, и в первую очередь) западной, то есть европейско-американской. Принцип *laissez faire* (не мешать делать — полная формула: законом разрешено то, что не мешает другим. — Ред.), провозглашенный Французской революцией, себя исчерпал. Может быть, даже уже и не сегодня. И не только он, но и многие другие постулаты нашей жизни уже давно превратились в тормоз развития цивилизации. Западный мир отдаляется от Природы, в нем происходит деградация человека, потеря духовности, поддерживавшей человека в самых тяжелых его испытаниях, общество лишается идеи прогресса. Налицо кризис рационализма. До сознания людей начинает доходить, что равенство и свобода в их классическом понимании — несовместимы.

Я думаю, что в этом и состоит главный источник трудностей, переживаемых цивилизацией. Мы по-прежнему, как и в начале XIX века, пытаемся отождествить понятие свободы и частного интереса, по-прежнему представление о свободе в умах людей отождествляется со свободой потребления.

Мы стоим на пороге нового века — точнее, нового тысячелетия, в котором должна быть выработана, точнее — должна возникнуть в результате творчества миллиардов людей новая “парадигма существования” человечества.

Порядок, сформировавшийся в послевоенные годы, “порядок XX века”, разрушается на всей планете, а не только в Советском Союзе. И наше русское представление о будущем, и прежде всего о будущем России, не может быть сколько-нибудь правильным, если национальный внутренний кризис мы станем рассматривать лишь как наш собственный, вне тех общих процессов глобального развития, которые наглядно свидетельствуют об общепланетарном неблагополучии.

О нем много думают, говорят, пишут. Тут и проблемы взаимоотношения природы и общества, уже давно переступившие границы гармонии и заставляющие утверждать о приближении экологического кризиса, и несоответствие организационных структур современного общества нарастающему могуществу техногенной цивилизации, и многое, многое другое. Я думаю, что одна из причин цивилизационного кризиса современности — консервативность нашего представления о реальности, в которой

мы живем. Мы не замечаем, что происходит смена ценностей, и пытаемся жить в тех стандартах, которые утвердились в европейском сознании еще в XIX веке. Нам кажется, что идеалы неизменны. Мы хотим в это верить. Но это не так. Понятия свободы, демократии, равенства и даже многие из общечеловеческих ценностей постепенно меняются и уточняются и в нынешней интерпретации, в интерпретации, данной XIX веком, вряд ли отвечают современной необходимости. Мы пытаемся опереться на идеалы прошлого, говорить с помощью уже чужого нам языка, не очень осознавая это обстоятельство. Нам всем и во всем необходимы новые смыслы. И понятие свободы сегодня есть прежде всего **с в о б о д а** **о т к а з а т ь с я** **о т з л а**, а не свобода произвола!

Уходящий век был удивительным и по своему величию, и по трагизму происшедшего и происходящего. Уже много было сказано и о фантастическом взлете человеческой мысли и энергии, приведшем на относительно небольшом отрезке времени к техническим свершениям, которые еще в начале жизни нынешнего поколения могли бы показаться сказочными. Не меньше говорилось и писалось о всплесках ярости и несчастья, которые человечеству пришлось пережить не только в двух самых страшных войнах, но и во множестве локальных столкновений, которые происходили и происходят в разных частях земного шара, в том числе и в благополучной Европе. XX век стал веком предупреждения — человечество должно суметь увидеть контуры будущего, чтобы принять превентивные меры против возможных катастроф, а не просто склониться перед неизбежностью.

И России в какой уж раз приходится искать ответы на вопросы, которые возникают перед всей цивилизацией.

Биосоциальная интерпретация

Меняются смыслы идеалов и понятий, но есть и неизменные факторы. Человек рожден Природой, и несет в себе те вечные родовые метки прошлого, которые возникли в процессе его эволюции, которые меняются лишь вместе с изменением его природного естества. Эти факторы называются законами социума, или социальными законами. Может быть, даже лучше их называть биосоциальными законами, ибо они связаны с сохранением гомеостаза индивида и социума времен нижнего палеолита. И их корни уходят в эпоху "первобытного стада", в те бесконечно далекие времена, когда наш предок только еще превращался в человека. Они рождались условиями жизни в течение тех сотен тысяч лет, когда он еще жил жизнью животных. Цивилизация, культура, система государственных законов, мораль, нравственность — все это заслоны против их проявления теперь, когда мы стали жить совершенно иначе, когда уже нет саблезубых тигров и опасности быть съеденным. Когда вместо одних опасностей, требовавших агрессивной энергии, возникло ядерное оружие и другие способы стереть человечество с лица Земли, и только рассудок и общее согласие могут оказаться способными сохранить цивилизацию. Вот почему сегодня противоречия между биосоциальными законами и действительностью достигли особой остроты. И дальше она может только нарастать.

Чем более полон анализ любого явления, тем более отчетливую картину мы видим, чем разнообразнее используемые интерпретации, тем в большем числе ракурсов мы его рассматриваем. Не может быть абсолютного знания, как и единственной интерпретации. Вот и история прошедшего века, а значит, и представления об ожидаемых тенденциях ее развития могут быть изложены, например, как результат рассмотрения событий в ракурсе анализа противоречий между биосоциальными законами и попытками цивилизации удержать их действие в определенных рамках. Нельзя отбрасывать Маркса, как и Канта и других мыслителей прошлого, как и их интерпретации, понимая одновременно и недостаточность ими сказанного.

Главенствующим (монопольным) положением в природе Человек обязан не только развитию мозга, интеллекта, но и чрезвычайному разнообразию своих стремлений, желаний и способностей. Это важнейший биосоциальный фактор. Он имеет множество важнейших следствий. На одном из крайних полюсов спектра стремлений и желаний — неумная энергия индивидуальности, не признающая никаких ограничений, а на другом — покорность стаду, рождающая идеал термитника, где каждый индивид лишь винтик, где даже пищеварение общее, но зато гарантированное. И такое разнообразие рождает не только удивительную способ-

ность к адаптации, выживаемость в экстремальных условиях, но и внутренние противоречия социума. Они интенсифицируют его развитие, но они же способны его исковеркать и разрушить.

“Порядок XX века” обычно трактуется в духе идеологического противостояния коммунизма и капитализма. Такая интерпретация вполне законна, она несет важнейшую информацию. Но, вероятно, идеологическое противостояние (если оно есть на самом деле) — лишь отражение глубинных противоречий социальных сущностей человека, извечно присущих обществу и с особой остротой обнажившихся в нынешнее время.

Во все эпохи, во все времена противоречия, рожденные неодинаковостью людей, разнообразием их стремлений, были важнейшим фактором исторического процесса. Ибо они порождали разные представления о ценностях. Человечество не могло бы развиваться без свойственного ему проявления неумемной энергии, толкающей человека к непрерывному поиску, к новым свершениям, к приобретению все новых благ, к подчинению себе других людей... Важно и то, что такое стремление порождает очень своеобразное представление о свободе, о свободе для безграничной инициативы и проявления своего собственного Я, которое возникло задолго до эры буржуазных революций. Такая особенность человека наиболее ярко проявляется в характере западной культуры.

Но не менее глубоко заложено в человеке и другое стремление. Человеку также свойственно ограничиваться малым, тем более если это малое ему гарантировано, если его достижение лежит в рамках традиций и не требует от него сверхусилий и если окружающие его живут по тому же правилу. Последнее особенно важно. И для миллионов людей во все времена подобная позиция была привлекательна. Она тоже рождает представление о свободе. Но свободе совершенно иного типа. И о равенстве, но не равенстве денег, как в буржуазном обществе, преследующем принцип *laissez faire*, а равенстве скромных условий существования. И привлекательность такой позиции для значительной части людей во все времена была питательной почвой различных идей коммунистического толка и большинства религиозных доктрин.

Происходящее ныне в мире уместно трактовать в свете извечного противостояния этих тенденций. “Коммунизм”, повторю, увы, никуда не ушел, ибо он никогда не появлялся, а всегда в той или иной форме присутствовал в спектре человеческих стремлений. В условиях одних цивилизационных норм “коммунистические” или, лучше сказать, “социалистические” тенденции были сильнее, а в других, как, например, в протестантских странах, — слабее. Но они присутствовали всюду и всегда. Не учитывая этой особенности общественного развития, нельзя правильно оценить происходящее. А тем более принимать ответственные решения, меняющие судьбы многих людей.

На каждом этапе развития общества возникали и устанавливались свои “правила игры”, свои формы компромисса между “коммунизмом” и “соборностью” — я не знаю, как более точно охарактеризовать эти стремления людей, — и фонтанирующей энергией индивидуализма личности. Одни лучше, другие хуже соответствовали традициям нации, ее культурным и ментальным особенностям, вызывая или гася социальные напряженности, содействуя или тормозя развитие страны и благополучие общества.

Что складывается у нас сегодня? В какой степени мы можем содействовать установлению той формы компромисса, той меры индивидуализма и соборности, которая в наибольшей степени соответствует нашим традициям, нашим потребностям и нашим возможностям?

Я глубоко убежден, что на современном этапе развития исторического процесса, при современной организации планетарного сообщества основным направлением развития будет его движение по пути утверждения социально ориентированной либеральной экономики. Я об этом неоднократно писал и обосновывал подобное утверждение особенностью современного этапа научно-технического прогресса, развития производительных сил и действием “Вселенского Рынка”, отбраковывающим в XX веке любые формы организации общества, развитие которых отклоняется от либерализации и социальной ориентации экономики.

Но такое утверждение может разве что объяснить разрушение системы, сложившейся в Восточной Европе и Советском Союзе, но вряд ли достаточно для интерпретации происходящего в настоящее время, а тем более для предсказания возможных тенденций развития. Во всех бывших “социалистических” странах объявлен курс на либерализацию и утверждение системы свободного предпринимательства. Однако проводимые сверху реформы пока еще не дали ощутимого результата нигде — не

только в России, но и в странах, ранее нас начавших процесс либерализации, в которых "этика протестантизма", если следовать терминологии Макса Вебера, имеет определенные традиции. И в Польше, и в Венгрии, и в других странах продолжается спад промышленного производства, падает жизненный уровень, растет безработица и социальная напряженность.

Это связано, конечно, и со многими объективными причинами — с разрушением установившихся межстрановых отношений, с отсутствием подготовленного персонала для управления экономикой и нужной финансовой инфраструктуры, с разрушением традиционной производственной кооперации и со многими другими причинами. Но немаловажным обстоятельством является и то, что в течение жизни двух-трех поколений у людей выработалась привычка и склонность жить в условиях гарантированной стабильности, гарантированного медицинского обслуживания и т. д. Такая ситуация оказалась привлекательной для многих лиц наемного труда, тем более что они еще и составляли "привилегированное сословие".

Тем не менее во всех бывших социалистических странах либерализация уже началась и обратного хода нет и не может быть. Такое утверждение, однако, несет еще очень немного информации: сколько времени будет длиться переходный процесс либерализации и какой сложится в конце концов эта либеральная экономика — на подобные вопросы у нас пока нет ответов.

Одно ясно — она не будет копией западных образцов, и сказать сейчас, какой она сложится в Венгрии, на Украине, а тем более в России, еще очень трудно. Неудачи преследовали перестройку во всех соцстранах — неудачи в том смысле, что желаемый образец западного благополучия не достигался за обозримое число лет. Он и не получится в рафинированном западногерманском или американском виде. Очень важно понять, почему даже в таких "очень западных странах", как Польша или Венгрия, не работают традиционные ценности Запада.

Я убежден — повторю это еще раз: "социалистические ценности", о которых говорилось выше, а особенно гарантированная работа без большого напряжения, стали крайне привлекательны для весьма широких слоев населения. Они уже вошли в сознание людей и будут рождать разнообразную оппозицию начавшимся процессам интенсификации рыночных механизмов. Да, мы идем к либеральной экономике. Она будет похожа на известные образцы, но только похожа, а на самом деле окажется иной, как иной она оказалась не только в Японии, но и в других быстро прогрессирующих странах Тихоокеанского региона, сумевших даже избежать этапа первоначального накопления в его европейском обличье. Понять, какие могут возникнуть формы либеральной экономики на месте социалистической России, очень непросто — для этого необходимы тщательные социологические исследования как база для последующего прогностического анализа вариантов возможного развития.

К сожалению, сегодня у нас не существует удовлетворительного научного фундамента, объединяющего социологические и экономические исследования, и нам не на что опереться. Вот почему следует с большой осторожностью делать какие-либо категорические утверждения.

Либеральная экономика и ответственность интеллигенции

Россия не раз помогала Европе избегать опасностей и найти себя. Так случилось во времена монгольского нашествия, когда растоптанная Россия не дала прорваться на Запад ордам Чингисхана. Подобное произошло и во времена Наполеона и Гитлера. А 1917 год был грозным предупреждением всем народам мира, а не только Европы. И в этом контексте он сыграл свою положительную роль для цивилизации в целом.

У Октябрьской революции нет и не может быть однозначной интерпретации. Марксисты видят в ней кульминацию классовой борьбы, когда победившие пролетарии устанавливают на огромной территории новый порядок жизни. В результате возникает непримиримое идеологическое противостояние народов, сделавших свой "социалистический выбор", и государств, развивающихся по капиталистическому пути. Возникает антагонизм, не допускающий компромиссов. Отсюда неизбежность утверж-

дения приоритета внешней опасности, необходимость жесткой централизованной власти, единства мировоззрения и т. д. Они отодвигают все остальные интересы на второй план. Идеологическое противостояние и нагнетание внешней опасности было необходимо государству "рабочих и крестьян" как своеобразное оправдание тоталитаризма и того "пути к рабству", о котором так блестяще писал Хайек.

Но закономерна и другая интерпретация истории XX века.

Начальная эра капитализма — условимся называть ее эрой Клондайка или дикого рынка — апофеоз свободы неограниченной инициативы, того самого принципа *laissez faire*, который был провозглашен Французской революцией. Бесчисленные мерзости начальной эры капитализма описаны Диккенсом, Бальзаком и другими великими писателями прошлого. Ее системный анализ проведен Марксом и его последователями. Эпоха дикого рынка это крайнее, гипертрофированное проявление ничем не ограниченной энергии и самостоятельности личности — если угодно, предельное проявление антисоциалистической сущности биосоциальных законов. И люди видели уродливость порядка эры Клондайка и искали альтернативы. Марксизм предлагал лишь одну из них.

Но были другие провидцы. Одним из них стал, может быть, лучший из учеников Маркса, Эдуард Бернштейн, которого поносил не только Ленин, но даже и "ренегат" Карл Каутский. Видя всю иррациональность родившегося "порядка XIX века", Бернштейн не предлагал его уничтожить насильственным, революционным путем. Он был уверен в его неизбежной трансформации, в постепенном возрастании в нем самом социалистических начал. Теперь я бы сказал несколько по-иному: в общество свободного предпринимательства самой жизнью должны были постепенно вноситься элементы социальной ориентированности. И в его экономику, и в общественные отношения. И не только это. Рузвельт однажды сказал, что еще никто толком не знает, что представляет собой общество свободного предпринимательства. О таких вопросах думали не только Рузвельт и Бернштейн. О том же самом размышляли и Кейнс и другие интеллектуалы, понимая, что в процессы общественного развития должны быть внесены "элементы очеловечивания" и направляющие начала Разума. Эта необходимость диктуется развитием производительных сил, непрерывным усложнением техники, технологий, требующих все более и более квалифицированного персонала. В этом направлении идет развитие общества, оно диктуется множеством причин, а не только перечисленными. И роль гражданского общества, его важнейшего института — государства должна расти по мере роста могущества цивилизации. А вместе с ней должна утверждаться и свобода не в духе раннего протестантского капитализма, а в соответствии с формулой Фомы Аквинского — как свобода в освобождении от зла.

Вот с такой позиции русская революция смотрится совершенно иначе. Вместо поисков компромисса между двумя началами, что является естественным путем развития, был декларирован, а затем и насильственно реализован в нашей стране крайний вариант порядка, диаметрально противоположный порядку эры Клондайка. Я бы сказал — порядок термитника. Он и мог возникнуть только как антитеза мерзостям эпохи дикого рынка. Но на примере России Природа как бы продемонстрировала бесперспективность и этого крайнего варианта разрешения извечного противоречия. Мир ужаснулся происходящему в нашей стране, и никто не рискнул повторить наш опыт. Разве что Китай. Но мировое сообщество не отказалось, как теперь мы видим, и от нашего положительного опыта — от понимания того, что без государственного вмешательства, особенно в трудные периоды истории, экономика страны обойтись не может. Россия еще раз оказалась испытательным полигоном и еще раз уберегла Европу от возможных ошибок, дав бесценный опыт цивилизации. Вряд ли современные формы либеральной экономики смогли бы утвердиться в Европе без опыта СССР.

А теперь у нас снова революция, и Россия снова выступает в своем извечном качестве "экспериментальной установки". Я — непримиримый оппортунист и глубоко убежден, что никогда никакая революция не приносила и не могла принести людям счастье, любое реформаторство должно учитывать возможность срыва в настоящую революцию, отбрасывающую общество назад. В 1986 году еще могли быть пути для реформ сверху, для постепенной либерализации экономики и деидеологизации страны. Еще какие-то шансы были в период новоогаревского процесса, когда мне казалось, что появился свет в конце туннеля. Но все эти возможности рухнули после опереточного путча, разыгранного группой политических импотентов, и последующего распада великого государст-

ва. Перестройка окончилась, началась революция с ее непредсказуемым исходом. Начался самый страшный период в истории России — дележ имущества, когда все вопросы нравственности, благополучия Родины, патриотизма отходят на второй план и звериный оскал биосоциальных законов начинает диктовать свои условия жизни. Я думаю, что такое происходит в любое "смутное время".

Однако в эти "минуты роковые", когда происходит смена жизненной парадигмы, или, по-научному, в условиях бифуркации, даже ничтожные обстоятельства могут круто изменить весь ход истории. Троцкий справедливо писал, что, не окажись он и Ленин в Питере летом 1917-го, и не было бы у нас Октября. Война окончилась бы в январе 1918-го и вся история покатила бы по другим рельсам. Черчилль сказал об этом немного иначе: "Русский дредноут затонул при входе в гавань". Вот в такие времена особенно велика ответственность интеллигенции.

В нынешнее время интеллигенция, точнее слой людей, занимающихся интеллектуальной деятельностью, имеет все возрастающее значение в жизни общества. И если бы у этого слоя людей возникло некое общее понимание ситуации, сформировалось бы общее представление о желаемом будущем, о системе приоритетов, это могло бы оказать серьезное влияние на судьбу страны и помогло бы сформировать ту систему взглядов, которую иногда называют национальными целями. Для народа трагично, когда идеология пронизывает все формы общественной жизни. Однако и без представления о национальных целях, без определенного видения перспектив любому народу выжить очень трудно, а сохранить культуру — невозможно. Общество, народ становятся беззащитными. Это мировоззрение, — нельзя не согласиться с Руссо, — не может быть навязано, оно вызревает в народе, но ускорить его созревание, уберечь от диких крайностей можно и необходимо. За это в ответе интеллект нации.

А для этого необходимо не только просветительство, но и собственный пример. Когда же люди, претендующие на то, чтобы называться интеллигенцией, совестью народа, добившись определенного уровня власти, рвутся к куску общественного пирога и не способны внятно объяснить, во имя чего происходит полная реорганизация всего общества, когда они хотят достичь лишь собственного благополучия, такая ситуация поистине трагична! Тем более в условиях, когда основная масса людей интеллектуального труда делает в это время судорожные усилия, чтобы уберечься от элементарного голода, чтобы уцелеть в этом хаосе безвластия и прогрессирующей нищеты.

И тем не менее именно интеллигенция только и может сформировать представление о "желаемом будущем".

Но надо, чтобы такое представление не оказалось утопией, а отражало реальность, ибо утопические иллюзии опаснее любого безыдейного хаоса. Утопия в любой форме порождает тот или иной вариант тоталитаризма, утопическое мышление отвергает либерализм в принципе — ибо не допускает альтернатив. Для того чтобы снова не впасть в утопию, необходимо видение возможных сценариев развития и тех усилий, которые могут быть предприняты. И прежде всего теми, кто стоит в стороне от общего дележа (или разграбления, что более точно). А их все-таки огромное большинство. И только их давление на людей, которые участвуют в дележе общего пирога, может оказать какое-то влияние на судьбы страны и ее народов.

Сценарий возможного развития событий

Происходящее ныне в России не вписывается ни в какую теорию — ни Кейнса, ни Фридмана, ни Маркса. И никакая из них не может дать рецепта выхода из кризиса. Ибо эти теории — экономические. Страна находится в ситуации быстрого перехода из одного социально-экономического и политического состояния в другое. Такие ситуации всегда уникальны. Кроме того, в условиях быстрого перехода выделить чисто экономические факторы нельзя принципиально, а предсказать возможный ход событий, особенно его детали, невероятно трудно. В нашей стране происходит формирование новых собственников. Теперь уже настоящих собственников и настоящих частных капиталов. Происходит размежевание различных социальных групп и классов. И идет процесс первоначального накопления. Происходит все "одномоментно" на всех этажах социальной иерархии, и одновременно происходит и перестройка. Ничего подобного в

Западной Европе, а тем более в Америке не было, и ориентироваться на них смертельно опасно. Надо думать самим!

Хотя подобные процессы перераспределения общественных благ всегда были связаны с насилием и, как правило, безнравственны по своему содержанию, то, что происходит сейчас в нашей стране, отличается от всего, что знала история. Прежде всего масштабами, стремительностью грабежа и образованием миллиардных состояний, возникающих на пустом месте. А при дележе фантастического богатства огромной страны возможность "урвать" имеют прежде всего властные структуры. Отсюда и такая острая борьба за власть, когда еще нет классов, а уже есть клики. А чисто экономические соображения являются не более чем фоном. Они начнут играть роль позднее, когда произойдет раздел мафиозных и компрадорских структур. Поэтому сегодня сказать что-либо о том, какое общество может возникнуть в результате происходящего вселенского передела, крайне трудно. Тем более что не участвующий в нем народ еще не сказал своего слова.

Но он его пока может и не сказать. Народ бесконечно устал от демагогии и беспросветности, а интеллигенция и вообще думающие люди все более и более отстраняются от политики. Рейтинг политиков стремительно падает — никто никому не верит! В этих условиях огромна роль случайности. И даже порой легковесного популистского лозунга.

Мне представляется, что в ближайшие годы возможны два варианта развития событий. Условно я их назову вариантом слабой власти и вариантом сильной власти. Эти термины, конечно, условны. Но всем понятно, например, что ныне власть слабая, законы не уважаются, управы ни на кого найти невозможно и т. д.

При современной дешевизне наших природных ресурсов (связанной с фантастически несправедливым курсом рубля, в частности) продавать что-либо у нас в стране элементарно невыгодно. Все те, у кого есть деньги, стремятся не вкладывать их в производство, а покупать все, что можно купить — нефть, уголь, металлы, и продавать их за границей. Полученную валюту либо помещать в западные банки, либо продавать у нас на рубли по существующему грабительскому курсу. А затем снова покупать за бесценок все, что только подвернется под руку, и повторять операцию, имея на каждом обороте сотни процентов прибыли. А при таких прибылях люди идут на любые подлости — это заметил, кажется, еще Маркс. А мы наблюдаем это непосредственно.

В стране началась цепная реакция перекачки наших ценностей за рубеж, остановить которую крайне трудно, если вообще возможно без каких-либо чрезвычайных мер. Тем более что она наложилась на процесс приватизации, который носит характер неприкрытого грабежа и стремительного роста компрадорской буржуазии.

В этих условиях "сценарий слабой власти" просматривается достаточно отчетливо. Это хорошо известный "аргентинский вариант", когда богатая страна погружается в пучину нищеты эксплуатацией ее людей, земли, недр и вывозом их за границу. Компрадорская буржуазия в этих условиях будет невероятно богатеть на выкачивании из страны ее природных богатств. Капиталы станут оседать в "благополучных" странах, где у российских нуворишей появятся виллы и яхты (они уже, кажется, начали появляться), их дети сделаются студентами самых престижных университетов, а страна, народ и его культура будут непрерывно деградировать. Коррумпированное чиновничество и компрадорская буржуазия во все большей степени будут чувствовать свою абсолютную безнаказанность. И составят тот слой людей, в интересах которого будут развиваться процессы в нашей стране.

Особенно опасно происходящее разрушением внутреннего рынка, когда что-либо продавать внутри страны становится все более невыгодно, а покупать не на что. Возникают как бы две сферы денежного обращения — два яруса, очень мало пересекающиеся между собой. На верхнем ярусе денежного обращения те, кто связан с продажей на внешнем рынке, и те, кто их так или иначе обслуживает. Они покупают импортное пиво, стоящее многие сотни рублей за банку, обедают в ресторанах, скупают предметы искусства и путешествуют по заграницам. Другая сфера денежного обращения связана с деградирующим производством, пустующими рабочими столовыми, закрывающимися детскими садами. И эти обе сферы все меньше и меньше пересекаются друг с другом, как и в те времена, когда власть имущие были отделены от всех остальных зелеными заборами. Только теперь все это приобретает более открытую форму, исчезают фиговые листки идеологии, а различие в уровне жизни становится чудовищным.

Такой сценарий очень опасен для остального мира, ибо Россия не Аргентина. И мощь ее ядерного арсенала вряд ли заметно уменьшится в ближайшие годы. А социальная напряженность неизбежно станет расти при таком развороте событий. Сейчас народ пассивен — он просто устал. Но это спокойствие временное, как перед бурей. Виллы на Лазурном берегу у одних и нищета, какой народ не знал со времен гражданской войны, не могут вместе существовать долгое время. Их сочетание неизбежно должно будет взорвать общество. Уже сейчас его стабильность весьма относительна. Ситуацию будет усугублять отсутствие лидеров — я не говорю о национальных псевдovoждях вроде Гамсахурдии или Дудаева. Людей с высоким общенациональным рейтингом в России сейчас просто нет! Значит, и некому будет удержать общество от срыва в Мальмстрем!

Логичное развитие такого сценария — дальнейшее ослабление власти, усиление центробежных тенденций, при котором нельзя исключить полный распад государства и переход от аргентинского к югославскому варианту в бесконечно более страшном исполнении.

Но судьба страны может повернуться и по-другому. Однако для этого необходимо появление сильного правительства, имеющего доверие народа. В наших условиях такая власть не может возникнуть одномоментно, в результате, например, военного переворота, как в Чили. Любое насилие приведет лишь к крови, сбросит народ в пучину хаоса и уничтожит Россию как государство. Понимают ли это политики? Пока они отмалчиваются.

Власть должна созреть. И если этот процесс возникает, то он будет протекать в условиях российского безвластия. Поэтому новая власть постепенно может утвердиться лишь опираясь на какую-то общественную силу, на систему взглядов — систему национальных целей, привлекательных для огромных масс населения. В стране происходит сейчас смена ценностей, и власть, если она хочет стать настоящей властью, должна будет иметь необходимую поддержку граждан. А для этого она должна сама понять характер этих ценностей и ясно сказать народу, чем мы жертвуем и ради чего.

Без этого сценарий "социальной власти" невозможен. И в то же время только сильная власть, обладающая ясными целями, способна остановить развитие коррупции и разворовывание национального достояния. Только она способна сплотить народ, вселить в его душу веру в будущее, а следовательно, и желание работать, остановить падение производства и создать внутренний рынок — основу настоящего процветания национальной экономики. И любого государства.

Но пока не видно ядра, из которого такая власть могла бы вырасти. Не видно и интеллектуальных групп, способных формировать национальные цели. Авторитет политических деятелей, которые сейчас вершат дела, непрерывно падает. И среди ведущих политиков не видно никого, кто был бы способен формировать какие-либо объединяющие идеи. Когда в 1991 году начался новоогаревский процесс и мы стали с надеждой думать о будущем, было видно, как растет популярность некоторых политиков, которые понимали трагедию распада и искали альтернативы. Например, всесоюзный рейтинг Назарбаева, которого многие видели премьер-министром или даже следующим Президентом будущего Союза (может быть, уже и не советского и заведомо не социалистического), непрерывно возрастал именно потому, что он высказывал объединяющие идеи. Но тут произошел этот нелепый путч и последующая катастрофа распада, восторженно встреченная Бурбулисом и прочими, единственная цель которых была — не иметь никого над собой, по выражению самого Геннадия Эдуардовича. Путч, превративший эволюционный перестроечный процесс в революционный хаос с непредсказуемыми результатами, катастрофическими для самих инициаторов разрушения государства. Может быть, и сейчас будущих популярных, умных и энергичных руководителей следует искать среди республиканских или областных политиков?

Рифы либеральной экономики

Но если утвердится власть, понимающая национальные цели, способная их сформулировать, донести до сознания людей и реализовать меры, необходимые для их достижения, то ей придется суметь провести страну над опаснейшими рифами. Проход над которыми, тем не менее, просматривается.

Первое — это создание эффективно работающего госкапиталистического сектора. В любой либеральной экономике (американской, английской — на то она и либеральная) госкапиталистический сектор производит значительную долю валового национального продукта (ВНП). А в нашей стране в обозримом будущем госсектор — до госкапитализма ему еще далеко — будет производить львиную долю продукции. Этого не может не произойти, каково бы ни было правительство. Мощный госкапиталистический сектор будет существовать независимо от воли правительства. Для такого утверждения Англия дает хорошие аргументы, и ее пример очень поучителен. За все годы правления неоконсерваторов мадам Тэтчер, стремившейся предельно сократить значение госсобственности в английской экономике, удалось лишь на несколько процентов сократить удельный вес госкапиталистического сектора Англии и ВНП. А теперь он снова начинает расти! Правда, между Россией и Англией есть существенное различие — Англия никогда не собиралась выходить из Великобритании и объявлять суверенитет. А Россия, в силу своей особенности, сумела не только подковать блоху, но и объявить суверенитет от самой себя!

Укрепление организационных структур госкапиталистической промышленности — это закономерный процесс поиска рациональной организации либеральной экономики. Если угодно, того самого компромисса, о котором говорилось в начале этой главы.

Вот почему путь к либеральной экономике в нашей стране не может миновать этапа “развитого госкапитализма”. Но государственный сектор должен быть кардинальным образом перестроен. Система отраслевых монополий действительно должна быть разрушена. А сам сектор должен превратиться в госкапиталистический сектор с ориентацией на корпоративную форму организации и многоотраслевые конгломераты, способные вести конкурентную борьбу на рынке. Последнее особенно важно, и именно это и есть основная задача конверсии. Ориентация должна быть лишь на постепенное акционирование, способное привлечь деньги населения на расширение и модернизацию производства — единственное, ради чего на начальном этапе приходится выпускать акции. Значит, первой задачей сильного правительства окажется задача развития государственной промышленности и включение ее в структуру рыночных отношений. А не разрушение госсектора и его растаскивание во имя торжества рыночных механизмов, которые и так будут играть определяющую роль в либеральной экономике.

Второе — это организация сельского хозяйства на основе рынка, то есть соревнования различных форм собственности. Полный отказ от кооперативного ведения хозяйства, то есть коллективизация наоборот, был бы смертелен для нашей страны, которая не способна себя прокормить без высокотоварного земледелия. Сегодня в нашей стране должны существовать и коллективные хозяйства, и государственные, и фермерские, и мелкие крестьянские хозяйства. В каком соотношении — это покажет время, точнее рынок и конкуренция. Задача, которую придется решать сильному правительству, будет состоять в выработке стратегии поддержки такого сельского хозяйства, которое сегодня уже способно будет накормить страну. Если говорить о национальных целях, то нет цели приоритетней, чем уберечь нацию от перманентного голода, который неизбежно наступит, если страна откажется от импорта продовольствия. Развитие города и рынка должно прежде всего решить проблемы села! И эта задача без целенаправленной деятельности государства — нерешаема!

Третье — создание новой государственной, прежде всего региональной структуры власти, сочетающей объективные тенденции консолидации и кооперации регионов для образования целостного экономического организма со стремлением к развитию цивилизационных потребностей наций и местной самостоятельности. Все это проблемы невероятной трудности, решать которые нынешняя власть пока не собирается. И не способна. Вот почему по всем этим конструктивным вопросам необходима апелляция к общественному сознанию, широкие публичные дискуссии и деполитизированная пресса, проникнутая идеей необходимости формирования национальных целей. То есть пресса по-настоящему патриотичная.

Наконец, нам предстоит еще понять, что такое современная Россия. Это тоже не просто географическое понятие, не просто вырванная из единого организма часть тела. И для нее выработать свою национальную политику, как политику по отношению к собственному государству и тому культурному, а не географическому пространству, которое естественно именовать Россией.

Геополитическое положение России и что из этого следует

По какому бы сценарию ни разворачивались события, какие бы ни возникали непредвиденные ситуации, но развитие России неизбежно будет направлено на утверждение социально ориентированной либеральной экономики — такова поступь человеческой истории. Но каковой окажется цена такого перехода, быстро ли произойдет этот переход или растянется на многие десятилетия, какие из нынешних ценностей нам удастся сохранить — это уже другой вопрос. Да и в какой форме утвердится на русской земле она — эта либеральная экономика, каким будет у нас в России тот компромисс между полярными устремлениями людей, о которых я говорил вначале, сказать очень трудно. Много будет зависеть от того, насколько народ, насколько мозг нации, ее интеллигенция, да и правительство страны, поймут особенности современной ситуации и какой будет сделан выбор экологической, экономической и политической ниши в мировом сообществе. Выбор реалистичный, без иллюзий. Каково будет направление усилий государства и народа, удастся ли их объединить?

Я думаю, что любому правительству сейчас очень важно понять особенности современной геополитической ситуации и суметь целенаправленно ею воспользоваться. Это один из наших шансов, упустить который мы не имеем права. И если, не дай Бог, упущение случится, история его нам не простит. Не только правительству, парламенту, но и интеллигенции.

А сейчас на планете действительно разворачивается совершенно новая игра. Ни на что прежнее не похожая. Рождаются новые тенденции, и их еще мало кто осознал. Хотя они уже начинают "работать".

Прежде всего, вместо двух центров военной силы реально возникают три центра экономической власти: США, Объединенная Европа и Тихоокеанский регион. Подчеркну — не Япония, а весь Тихоокеанский регион, поскольку в современной технологической революции кроме Японии участвуют не только "новые тихоокеанские тигры" — Тайвань, Корея, но и стремительно прогрессирующий Китай, — двенадцать процентов годового роста его ВВП весомо заявляют об этом. Отношения между этими тремя центрами экономического могущества будут очень сложными, многоплановыми и неоднозначными. Будут и противоречия, и конфронтации, но будет и все возрастающая кооперация — ибо таково веление времени, требование экономики, глобальной экологии и самой возможности сохранения цивилизации на планете.

Россия в этом треугольнике занимает совершенно особое место: она связывает его в единое целое. Через российские просторы проходят самые короткие и дешевые пути сообщения и связи. Но суть дела не только в ее географическом, очень выгодном сегодня "северном расположении". Ее ресурсы — это один из важнейших источников процветания всего мирового сообщества. Наконец, Россия продолжает оставаться второй ядерной державой мира и продолжает обладать могучей аэрокосмической промышленностью, тоже нужной всему миру. Но все это может стать источником процветания России лишь в том случае, если народ России осознает себя как нацию, осознает свои возможности и сможет преодолеть то состояние безнадежности, в которое он ввергнут в последние годы борьбой политиканов. Если народ снова почувствует к себе уважение, как к народу-созидателю!

Да, для реализации потенциальных возможностей необходимо честное, энергичное, образованное и умное правительство. Но его одного недостаточно. За будущее в ответе и интеллигенция, которая на протяжении последних семи лет занимала в целом деструктивную позицию, содействовала не только ликвидации единомыслия, но и развалу промышленности и государственности. Сейчас подобная позиция губительна для страны и самой интеллигенции. Понимает ли она это? Понимает ли она, что сегодня нужны идеи, нужна "картина мира", видение возможностей в ней самой России и понимание того, что означает сегодня слово Россия! Не Россия времен Романовых и не Советская Россия, а страна, несущая бремя и славу тысячелетней государственности.

Мне кажется, что состояние "эйфории свободы" начинает проходить, а интеллигенция понемногу приходит в себя и снова готовится к созидательной работе. Все большее количество людей начинает осознавать необходимость превращения территории Российской Федерации в целостный могучий хозяйственный и политический организм — единственную защиту против экономического и политического геноцида, которому под-

вергаются те страны "третьего мира", которые не усвоили подобного принципа.

Необходима энергия для формирования нового мировоззрения, необходимо публичное разъяснение смысла происходящего. Ну и, наконец, необходима конструктивная разработка серии конкретных проектов или программ, способных цементировать Федерацию, ее превращение в целостный организм. И конечно, изыскание способов их реализации, даже если мы сейчас не сможем сформировать правительство, которое окажется способным это сделать. Теперь существует и частный капитал, и набирающий силу средний класс. Страна должна стать привлекательной и для иностранных инвестиций. Наступило время прямой апелляции к обществу.

Один из таких проектов я называю проектом "Северный обруч". Этот проект очень многоплановый. О его фрагментах я кое-что уже писал. Мои статьи имели определенный резонанс в Америке, Европе, но, к сожалению, не дома. В чем смысл проекта, или программы, "Северный обруч"?

Когда воины ислама перекрыли путь на Восток по Средиземному морю, когда самым безопасным путем из Европы в Византию стал путь из варяг в греки, Киевская Русь сделалась первоклассным европейским государством. Русские князья с успехом использовали геополитическое положение древней Руси. Сегодня происходит нечто подобное. Самый короткий, быстрый и дешевый путь, связывающий Тихоокеанский и Атлантический регионы, лежит через Россию. Переоценить значение этого факта нельзя. Открытие пути из Европы в Тихий Океан (из англичан в китайцы!) откроет не только транзит грузов, но и полуфабрикатов, переработка которых может дать сотни тысяч рабочих мест и валютные миллиарды. Так, например, многие оборонные заводы смогут стать терминалами по сборке высокотехнологичной продукции Японии, Кореи, Тайваня... А Северный морской путь в два раза сократит дорогу из Европы в Японию и Китай. Он не только в два раза короче, но и в 1,6 раза дешевле других путей. Я уже не говорю о перспективах воздушного транспорта. А волоконный кабель надо начать немедленно прокладывать из Петербурга в Токио. Иначе он пойдет обходным путем через Ближний Восток, и мы потеряем многие миллиарды. Планета нуждается в кабельной связи двух океанов — никакая спутниковая связь не способна соперничать с ее пропускной способностью и дешевизной. Только волоконная оптика способна обеспечить требуемые потоки информации.

Столь же масштабными представляются и проблемы, связанные с прямым выходом за рубеж ресурсов Сибири, северо-востока европейской части России и промышленности Урала. Я имею в виду создание нового варианта Персидского залива в незамерзающем устье реки Индига. Этот проект активно обсуждался еще в 20-х годах. Но тогда не было воркутинской магистрали, которая проходит от Усть-Индиги в 200—300 километрах. Тогда не было еще известно о нефтяных и газовых богатствах Севера и не было промышленности Урала. Был только печорский лес. Сегодня этот проект необходимо реанимировать.

Но проект "Северный обруч" охватывает не только чисто экономические проблемы. Северный полярный бассейн является одним из самых экологически уязвимых мест земного шара, и его состояние влияет на ситуацию во всем Северном полушарии. А ответственность за него несут США, Канада и Россия, то есть страны обруча.

И наконец, последнее утверждение, которое вызвало особый интерес на Западе, — безопасность будущего интегрированного мира. Это большая и специальная тема. Тем не менее, об этом тоже стоит сказать, ибо есть один сюжет, который органически должен войти в проект "Северный обруч". Речь идет о создании космической информационной системы. Без нее говорить об экологической, политической, а тем более военной безопасности планеты особого смысла не имеет. Заметим, что такая система может играть положительную, то есть стабилизирующую, роль лишь в том случае, если она будет коллективной. Национальные информационные системы усиливают эффективность и наступательного и оборонительного оружия и тем самым содействуют военной дестабилизации.

Создание космической информационной системы, нужной для всей планеты, может быть реализовано только на основе кооперации русской и американской ракетно-космической техники. И конечно, такая система не может быть закрытой собственностью двух ракетных "сверхдержав". Ею должен владеть открытый консорциум, к которому может присоединиться любое государство, ее деятельность должна проходить под контролем Организации Объединенных Наций.

"Северный обруч", даже в форме проектов, — это огромный нацио-

нальный капитал. А его реализация может вдохнуть новую жизнь в ряд регионов от Тихого океана до Балтийского моря, цементируя одновременно организм страны.

О формировании национальных целей

Я рассказал лишь об одном из возможных проектов развития российского потенциала, сочетающего его ресурсные и интеллектуальные возможности с развивающимися тенденциями изменения геополитической обстановки. Существует и целый ряд других, не менее масштабных и многообещающих замыслов. Их публичное обсуждение уже само по себе очень важно. Страна, обсуждающая крупномасштабные проекты собственного развития, страна, способная смотреть вперед, — это уже не развалины коммунистического фаланстера. Это значит, что нация начинает чувствовать уверенность в своих силах. А уверенность и самоуважение — уже огромный шаг вперед по сравнению с сегодняшней безнадёгой.

Формирование и анализ перспектив реализации крупномасштабных программ, вернее совокупность проектов, мне представляется важнейшей обязанностью государства. Но надо понять, что работа над подобными проектами не имеет ничего общего с той работой, которую проводил бывший Госплан, когда разрабатывал проекты "великих строек коммунизма". Цель анализа возможных проектов, их последствий, их корреляции с национальными целями — это прежде всего всесторонняя оценка перспектив, именно оценка и именно перспективы. И не больше! Такая проектная деятельность — основа для выработки определенных государственных предпочтений, структуры региональной и налоговой политики, указание направлений наиболее эффективных капиталовложений, своеобразная научная гарантия риска для частного капитала...

Последнее особенно важно. Такие масштабные проекты, как "Северный обруч", не могут не привлечь внимания иностранных инвесторов и инвестиционных фондов. Но для этого необходимы не только идеи, но и глубокие всесторонние проработки. Причем на государственном уровне. И четкие рекомендации о необходимой внутренней политике государства. Нужно широкое публичное обсуждение подобных программ развития. Общество должно почувствовать перспективу, почувствовать собственные мускулы, что означает и поверить в будущее. Может быть, это и есть самое главное в подобной проектной деятельности.

Такая деятельность требует энергичного правительства и интеллигентного парламента. Но есть и обратная связь. Проектная деятельность "цивилизует" власти. А следовательно, содействует их укреплению. Она меняет направление мыслей власть имущих, переключая их с проблем политиканства на конкретную практическую деятельность. И еще одно соображение: такие проекты имеют четкую интегративную направленность. Особенно если они будут объединены с инициативами, которые идут из разных регионов огромной страны, превращая ее в единый организм, и хозяйственный и политический.

Но это один из этапов формирования национальных целей. Они возникнут сами по себе, отражая реальные устремления людей, их миропредставление. Но, обсуждая проекты и перспективы, побуждая энергию людей, интеллигенция многократно ускоряет эти процессы.

Обсуждение путей предотвращения возможного голода, конкретных "проектных действий", позволяющих увидеть перспективы, — лишь одно из составляющих процесса становления системы национальных целей, превращения жителей страны в нацию, в граждан. Не менее необходимо увидеть Россию и как культурное пространство с собственным видением своего места в развивающемся мире — мире XXI века.

Россия в мире XXI века

Мы сегодня смотрим на Запад. И не без основания, ибо западные страны открыли страницу либерализации экономики, необходимость интеграции и, наконец, первыми показали, что означает социальная ориентация экономики для образа жизни миллионов граждан этих стран. И у многих экономистов, людей, занимающихся проблемами развития цивилизации, у экологов, в частности, создается представление о существова-

нии некоторых универсальных рецептов, жизненных универсалиях XXI века, если угодно. Я боюсь, что такое представление и ошибочно и опасно.

Безусловно, определенные универсалии существуют. Их не может не быть, ибо человечество взаимодействует с Природой, как единый биологический вид, и универсалии рождались в сознании людей независимо от расовой принадлежности, места обитания и других обстоятельств их жизни, как проявление той логики универсального эволюционизма, которая привела к появлению на Земле человека разумного. Одна из этих великих универсалий — заповедь "НЕ УБИЙ!", возникшая у всех народов. Универсалии рождаются и сегодняшней практикой человеческой жизни. Разве не являются универсалией — универсальность технического развития или утверждения элементов планирования в либеральной экономике?

Но, между тем, закон дивергенции — это тоже универсалия. А он гласит о такой важнейшей особенности эволюции человеческого общества, как непрерывное "расхождение" этих самых особенностей. В процессе эволюции непрерывно множатся различные формы человеческого общежития, организационные структуры деятельности, особенности духовного мира людей. Значит, существуют и границы универсальности. Вот почему любое слепое подражание вредно.

Вот почему Запад — это лишь только опыт, но не объект для подражания. Так же, как и Восток. Особенно для нас, для России, связывающей эти два региона экономической и культурной власти, два важнейших центра будущего информационного общества.

Мы говорим о XXI веке. Но отдаем ли мы себе отчет в том, что означает комбинация слов "МИР XXI ВЕКА"? Нам предстоит еще разобраться в том, что означает такое словосочетание, каким мы видим планетарное сообщество на грани тысячелетий. И в авангарде истории будут не те народы, у которых сегодня наиболее устроена производственная жизнь, а те, менталитет которых окажется наиболее настроенным на универсалии цивилизации XXI века, на его потребности.

Вот с этих позиций и следует думать о национальных интересах, наших трудностях и возможностях и попытаться отвечать на вопрос — что такое Россия.

Без иллюзий, со всей жесткостью и беспощадностью истинных патриотов: только так интеллигенция сможет нащупать истинное понимание ситуации, понять реальную обстановку. Только так мы окажемся способными понять, как в процессе невероятного перемешивания людей, стремительного этногенеза, охватившего территорию Советского Союза, огромная часть нашей нации обрела психологию люмпенов, как в ее толще рождалась "коммунальная сволочь", все то, что стоит сегодня на пути к обретению достойной ниши в сообществе XXI века. Только беспощадная честность поможет нам выработать иные стандарты, соответствующие российской реальности конца века, столь непохожего на его начало.

* * *

Я называю свою позицию позицией ограниченного пессимизма. Такой термин я оправдываю тем, что вижу огромные возможности моей страны и моего народа. Но у меня глубокие сомнения в том, что мы сможем ими сегодня умело воспользоваться. Сталкиваясь с людьми, которые всю жизнь посвящали себя политике, я вижу такую ориентированность их мысли, которая не дает возможности спокойного обсуждения будущего страны, обсуждения, исключающего ориентацию на собственный и притом сиюминутный успех. Это свойство политиков современной волны, может быть, одно из самых страшных наследий коммунистической эры.

И тем не менее, мы должны думать о месте России в мире XXI века. И делать все, чтобы оно оказалось достойным.

Москва. 1989 — 07.10.1993

АНДРЕЙ СТАРЦЕВ

ТУЧИ НАД КАЛИНИНГРАДОМ, ТУЧИ НАД ПРИБАЛТИКОЙ

(ФАКТЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, ПРОГНОЗЫ)

В России мало кто представляет в полном объеме, сколь сложна сейчас ситуация в Калининградской области, этой самой западной территории страны.

Отделенная в результате Беловежских соглашений демократических лидеров от других земель многими сотнями километров, она превратилась в своеобразный остров, омываемый с севера водами Балтийского моря, на западе и юге граничащий с Польшей, на востоке — с Литвой. Чтобы проехать из Калининграда в “материковую” Россию (и наоборот), надо трижды пересечь границы независимых государств.

Иногда Калининградскую область сравнивают с Сахалинской, включающей в себя собственно остров Сахалин и острова Курильской гряды. Верно, общее у них есть: обе территории — одна полностью, другая частично — служат предметом притязаний иностранных государств, с той разницей, однако, что на Востоке эти притязания носят характер официальной политики, а на Западе их выражают пока на уровне, так сказать, “общественном”, хотя тоже достаточно громко. И еще разница — в позиции местных властей. Если Сахалинская администрация своей твердостью в отстаивании Курил как неотъемлемой части российского государства снискала уважение всего русского народа, то действия администрации калининградской вызывают нарастающий протест своей непатриотичностью. Может показаться диким утверждение: среди калининградцев есть люди, пытающиеся изнутри проводить прогерманскую политику, — но это факт.

В Калининградской области острее, чем в любом другом регионе, проявляется бездарность нынешнего государственного руководства, приведшего страну на грань экономической катастрофы. Здесь явственнее развал экономики и культуры, сильнее раскол в общественном сознании.

Почему так? В чем тут дело? Попытка ответить на эти вопросы — суть настоящего очерка.

1. ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Калининград — частица моей души.

Тридцать лет назад я приехал сюда с Севера, хотя малая родина моя — Белгородчина, а детство и отрочество протекли в Сальских степях за Доном: юности не было — отобрала война.

Калининград был тогда совсем не тот, что сейчас. Хотя после войны прошло два десятка лет, ее страшные следы были видны на каждом шагу: километрами тянулись кварталы “развалок”, в самом центре города на возвышении стояли две уцелевшие башни королевского замка, притягательные в своем величии, пугающие темными проломами в стенах и холмами битого кирпича, кое-где уже поросшего прозрачными березками. Там и тут зеленели скверы, заместившие очищенные от руин участки; на месте старых немецких кладбищ разрастались дикие

кустарники, виднелись ямы, разбитые надгробия и черепа — по ночам грабители раскапывали немецкие могилы в поисках золота и драгоценностей.

В предрассветные часы, случалось, гремели взрывы — то саперы сносили с лица земли старые немецкие здания. Официально разъяснялось: сносим дворцы-калеки, в них опасно заходить, в любой момент могут рухнуть и похоронить заживо, а ребяшня лезет напропалую. Слухи ходили: рушат добротные сооружения, чтобы у немцев было поменьше оснований претендовать на эту землю. Насчет обоснованности слухов судить не берусь, а что зданий-калек было немало — это видели все.

Да, что и говорить, Калининград нынче не тот!

Вместо снесенных зданий построены новые, город обрел свой облик — его сформировали кварталы, целые микрорайоны многоэтажных жилых домов, школы, больницы. Украшением города стала площадь Василевского — она достойна имени выдающегося полководца Великой Отечественной войны, руководившего Восточно-Прусской операцией Советской Армии. Не менее наряден Гвардейский проспект с памятником 1 200 героям и Вечным огнем. Удалось восстановить ряд старых немецких сооружений, так в городе появились историко-художественный музей, концертный зал, театр кукол, Дворец культуры моряков.

А экономика области? Возникли новые производства — точное машиностроение, электронная промышленность. Поразительны были достижения в развитии рыбной отрасли. Калининградские траулеры и рефрижераторные суда бороздили воды всех океанов от Шпицбергена до мыса Доброй Надежды, от острова Пасхи до острова Фиджи. Морской рыбный порт, созданный практически на голом месте, считался лучшим в Союзе. Научный потенциал отрасли, включавший в себя два вуза, несколько НИИ, мощные опытные производства, был предметом законной гордости калининградцев. Особенно же они гордились янтарным производством, изделия которого знали и покупали во всех странах мира.

А курортная зона? На побережье Балтики были выстроены десятки санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристических баз, пионерских лагерей. Они ежегодно принимали до миллиона отдыхающих со всех концов страны. В такие великолепные здравницы, как “Янтарный берег” в Светлогорске или “Дюны” на Куршской косе, люди приезжали даже из Магадана и Петропавловска-на-Камчатке, предпочитая их здравницам Кавказа и Крыма.

И всё это было создано теми, кто остался на бывшей немецкой земле, придя сюда в войну в солдатских шинелях, либо прибыл по переселению или по направлению из других регионов России в послевоенные годы.

Величайшую подлость творят “демократические” средства массовой информации, когда оплеывают этот великий всенародный подвиг, пытаются представить дело так, будто, придя на эту землю, мы изгадили ее, порушили немецкую культуру, все то, что предыдущие хозяева создавали на протяжении многих сотен лет. Ложь! Мы пришли на опустошенную войной территорию. В бывшем Кенигсберге оставалось лишь восемь процентов пригодного для эксплуатации жилья. Нельзя не подчеркнуть, что особый “вклад” в разрушение города внесли союзники. Англо-американская авиация тучами висела над Кенигсбергом, когда стало ясно, что ему не выстоять перед натиском советских войск. В первую очередь “благодаря” этим налетам были превращены в руины промышленные предприятия и наиболее многочисленные жилые кварталы, перестали действовать коммунальное хозяйство, транспорт, связь. На селе война разрушила мелиоративную сеть, тысячи гектаров земель были затоплены.

Рушить было нечего, оставалось лишь строить.

2. ПОСЛЕ “ПЕРЕСТРОЙКИ”

Суматошная горбачевско-яковлевская “перестройка” серьезно подорвала экономику области, темпы производства продукции резко снизились. Но “до ручки” ее довели, несомненно, гайдаровские “реформы”. Областная печать ныне не публикует развернутых статотчетов о положении дел в народном хозяйстве области, как то ежеквартально делалось при коммунистах. Однако кое-какие цифры все же нет-нет да и промелькнут на газетных страницах.

В начале июня 1993 года “Калининградская правда”, бывшая областная партийная, а ныне считающая себя независимой газета, сообщила: промышленность области за первый квартал года по сравнению с первым кварталом 1992 года сократила объем производства в сопоставимых ценах на 22,4 процента. А вот цифры из сообщений, напечатанных в этой же газете в конце октября и начале ноября 1993 года: падение производства в промышленности области за девять месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 1992 года составило 24 процента. Вдвое снизились объемы производства в машиностроении, “похожая картина в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности”. Численность промышленно-производственного персонала сократилась на 12,4 процента, производительность труда упала на 14,3 процента, выпуск товаров народного потребления — почти на 20 процентов.

Генеральный директор АО “Система”, опытный руководитель, выступая на Всероссийском экономическом совещании (том самом, куда не пожелали явиться президент и глава правительства), заявил: “До настоящего времени мы держались из последних сил. И считаемся в области благополучным предприятием... Но — увы! — уже и мы подошли к тому пределу, к той границе, за которой наступает полный развал”. Причина этого, считает он, “государственная налоговая политика, которая фактически направлена не на поддержку производства, а на его удушение. И не случайно “Система” не имеет возможности обновить свой технологический парк, за последние три года нами не приобретено ни одного станка, ни одного транспортного средства...” Так обстоят дела на “Системе”, которая производит оборудование для торговых предприятий. Ей ли, казалось бы, бедствовать, когда люди только тем и занимаются, что продают и перепродают! И если так худо у них, то что же у других?!

Заглянем и к другим, например, к рыбакам.

Рыбная промышленность для меня — “родная” отрасль. Я отдал ей пять лет, уйдя из издательства, чтобы набраться жизненного материала для писательской работы, и “пахал” на траулерах океаны у Ньюфаундленда и Чили, ремонтировал их в Сенегале и Экваториальной Гвинее. И о положении здесь могу судить не как читатель местных газет, хоть и ахающий по поводу снижения выпуска продукции промышленностью области, но тем не менее смутно представляющий истинные масштабы развала, а профессионально, как бывший помощник капитана, знающий об этой отрасли если не все, то достаточно много. Мне ведомы цифры объема добычи рыбы как до “перестройки”, так и в настоящее время. Так вот, по сравнению с “застойными” временами область добыла в 1992 году рыбы лишь 48 процентов. А в 1993 году спад продолжался темпами не менее крутыми. Можно сказать языком цифр: если в 1989 году было добыто 770 тысяч тонн рыбы, то в 1993 году — менее 250 тысяч тонн. Впечатляет?

Но и это не все. В силу того что выходящие на промысел суда отвратительно обеспечиваются топливом и что рыбопромысловые предприятия лишены былой государственной подпитки валютой, значительную часть добытой рыбы капитаны вынуждены продавать иностранцам по бросовым ценам (иначе не покупают), чтобы заработать доллары, франки, песо и как-то выкрутиться. То есть на российский стол попадает, дай Бог, третья-четвертая часть добытого, а то и еще меньше. Рыба была дешевой, выбор повсеместно неплохим, а уж в Калининграде (равно как и в Мурманске, Владивостоке, Новороссийске) тем более. А загляните в калининградские рыбные магазины сейчас — купить нечего! “Что-то одно крепко мороженное, схваченное в единый кусок, являло собой все дары рек, озер, заливов, морей и океанов на главной рыбной витрине славного Калининграда”, — так описал фельетонист увиденное им в огромных залах фирменного магазина “Океан”. И сделал вывод: “Тон в рыбном деле задавал, задает и будет задавать тот, кто продавал, продает и будет продавать за бесценок национальные интересы России...”

Добавить к этим словам можно лишь то, что и впереди рыбной отрасли ничего “не светит”. Об этом четко сказано в корреспонденции “Неуверенность в завтрашнем дне угнетает” (“Калининградская правда”, 10 января с. г.), посвященной Калининградскому бондарно-тарному комбинату, обслуживающему потребности рыбаков. На этом предприятии, передовом во всех отношениях в прошлом и кое-как держащемся на плаву ныне, состоялась встреча с первым

вице-премьером правительства России В. Шумейко, который наезжал в Калининград, баллотируясь здесь в Совет Федерации парламента. Так вот, выступая перед коллективом комбината, вице-премьер “в числе приоритетных назвал развитие транспортного узла, туризма и прочего, но даже словом не обмолвился о рыбной отрасли, а ведь на ней в огромной степени держится экономика региона”. А что в аграрном секторе области? То же самое. “7,2 миллиарда рублей составляет долг села, — читаем в газете. — Закупочные цены на сельхозпродукцию выросли в 5 раз, тогда как цены на машины, удобрения и прочее — в 20 раз... В трех районах загублено свиноводство, в двух — крупный рогатый скот...” Еще информация: “С мая ситуация с продовольствием резко ухудшилась... Из пяти мясокомбинатов работает только два — нет сырья”. И последняя: “Сегодня на селе насчитывается около 8 тысяч лишних людей. Как ни прискорбно, но в их числе оказались не только малоквалифицированные рабочие, но и более 1,5 тысячи специалистов... Более того, из-за финансовых трудностей в сельских коллективах в ближайшее время будет сокращено еще около 300 ставок специалистов...” То есть, сегодня на селе плохо, а завтра будет еще хуже, ибо поднять сельскохозяйственное производство и даже сохранить его в условиях, когда оно остается без агрономов и зоотехников, немыслимо. Добавим еще, что надежды на фермеров, которые, по уверениям “демократов”, должны накормить народ, в Калининградской области так же, как и в других регионах страны, похоронены.

Не лучше положение на транспорте. Чтобы не утомлять читателя цитатами из газет, скажу, что, по заявлениям руководителей транспортных предприятий, степень износа подвижного состава столь велика, что, если его не обновить, область в ближайшие два-три года останется без средств передвижения. Наверняка среди читателей встретятся люди, отдохавшие на калининградском взморье и ездившие два-три года назад из Светлогорска в Зеленоградск, Приморск, Янтарный. Хорошо было проехать по берегу моря в неторопливом дизеле! Сейчас это не езда, а сплошные муки: из-за поломок дизель опаздывает на час и два, в вагонах проваливаются полы, двери заклинены, вместо курортной публики — нелегальный добытчик янтаря, немытый, заросший, как дикобраз.

Чувствую, что уже достаточно и картинок, и цифр — картина предельно ясна, но не могу не сказать еще о том, что творится в науке. Об этом дает представление опубликованная в “КП” беседа с профессором Калининградского технического института Н. Севастьяновым, крупнейшим специалистом в области прочности и мореходных качеств судов. Организовавший эту беседу журналист, перечислив вузы, лаборатории и другие научные подразделения, действующие в Калининграде, и сообщив, что по своему назначению, кадровому научному составу, по количеству выпускников вузов эти научные и учебные центры далеко превосходили потребности области — то есть здесь готовились кадры, велись исследования для всей страны, — спрашивает: почему некогда цветущая, полная сил наука медленно угасает? Вот ответ профессора: “Порваны научные связи, без которых наука существовать не может. В несколько раз сокращены штаты АтлантНИРО и НПО промысловства. Отраслевые научно-исследовательские лаборатории эксплуатационной прочности и мореходных качеств судов практически законсервированы, а научный персонал высшей квалификации уволен. Безработица в отрасли началась прежде всего с мозговых центров... Не надо доказывать, что ни о каком возрождении России как великой страны не приходится и мечтать, если рухнет российская наука...”.

3. ВИДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ

Свежий человек, объявившийся в Калининграде, расскажи ему о развале экономики, пожалуй, не поверит: жизнь в городе, куда ни глянь, бьет ключом! На улицах полно людей и не скажешь, что они так уж плохо выглядят, уж точно через одного одеты в заграничное; дороги забиты легковыми автомобилями, и добрая половина их — иномарки. Газуют во всю мощь грузовики, везя ящики, мешки, рулоны. То и дело катят шикарные туристические автобусы, как правило, с нерусской рекламой на бортах, — ясное дело, немцы разъезжают. И везде, где только можно приткнуться, — магазины, лавки, киоски, небывалое количество!

Торгуют заморскими напитками — оранжадом, фантой, пепси, вином, амаретто, спиртом, реже галантереей, еще реже одеждой и обувью. В людных местах их дополняют ряды торговцев без крыши над головой — стоят потрепанного вида дяди и тети, кто с бутылкой водки, кто с парой пива, букетом цветов, горкой яблок, огурцов, помидоров...

Столько торговых точек я видел лишь в Дакаре, столице развивающегося африканского государства. Впечатление было: весь город торгует, не зная других занятий. В Дакаре, запомнилось, постоянно преследовал запах — смесь пряностей и, извините, мочи. Иногда обоняние улавливает нечто подобное и в Калининграде, там; где торговцев особенно много. Хотя разница между африканской столицей и родным городом, конечно, есть. Там торгуют, например, не яблоками, а арахисом. На окраинах Дакара — будки из ржавых железных листов, в них живут люди — у нас такого пока нет, но, судя по всему, скоро будет и это, если у власти сохранятся “демократы”. И еще там я видел однажды чернокожего гражданина, шагавшего посередине проезжей части улицы в чем мать родила с табличкой на груди — он против чего-то протестовал. Несмотря на то, что негр мешал движению автотранспорта, полиция его не трогала: демократия, свобода, права человека! Мы до этого, слава Богу, пока не дошли, у нас навалом других фанерок: покупаю ваучеры, покупаю доллары, дойчмарки. Стоят с ними молодые красавцы на рынках, на вокзалах, у магазинов, ощупывая острым взглядом прохожих: что в карманах?

Заговори с кем-либо о том, что жить стало хуже, совсем не обязательно услышишь в ответ слово согласия. Чаше иное: не знаю никого, кто бы голодал. Мысленно переберешь знакомых, соседей — в самом деле, ни одного голодающего. Как можно совместить развал экономики и вот это “ни одного”?

Во-первых, бедность не любит о себе кричать. Свойственные русским людям гордость и достоинство не позволяют выставлять напоказ всему миру заплаты на локтях, а тем более жаловаться, если не на что купить кусок хлеба. Недавно мне рассказали: в учреждение, где некогда работал и я, пришла бывшая сотрудница и попросила помочь получить огородный участок. “Живу на пенсию, не хватает даже на питание, а работу найти не могу, не тот возраст. Может, огородом прокормлюсь”. Еще слезнее, чем о земле, она просила, чтобы руководитель, к которому обратилась, не проговорился о ее визите: не дай Бог узнают, это же такой позор!

Да, это важнейший момент нашего идиотского “демократического” бытия: люди стараются не потерять себя, выжить, выкарабкаться.

Многие ездят торговать в Польшу. Набивают чемоданы, баулы, сумки всякой всячиной: тряпками, бельевыми прищепками, столовыми ножами, елочными украшениями, водкой, спиртом, лекарствами — Господи, что только не везут туда! — и продают за польские злотые. Поскольку в Польше, этой достойной державе, чей опыт вхождения в рыночную экономику взят на вооружение нашими “демократами”, подобный ширпотреб, видимо, не производится, торговля идет “на ура”. Получив злотые, калининградцы тут же меняют их на доллары. По возвращении домой меняют еще раз — на рубли. А с рублями куда угодно — хоть в магазин, хоть на базар. С одной поездки, говорят, можно иметь 50—100 долларов, сколько это в наших деревянных? То-то.

На фоне массового обнищания калининградцев поразительна фешенебельная жизнь новоявленных воротил делового мира — владельцев казино, банкиров, ростовщиков и иных предприимчивых людей, сумевших хапнуть после прихода к власти “демократов”. Это им принадлежат роскошные мерседесы, это для них светятся огни ночных ресторанов, это к ним обращаются международные туркомпании с призывом отдохнуть на Гавайях, это для них возводятся в тихих зеленых переулках города трехэтажные особняки с башенками и сводчатыми окнами. Пусть этих нуворишей немного, но они есть и они как “маяки”. Глядя на них, обыватель думает: они сумели, и я, Бог даст, сумею, сейчас можно, надо только как следует вертеться... И невдомек ему, что миллионеров не может быть много, прорвутся (уже прорвались!) единицы, удел же остальных — вкалывать всю жизнь за гроши.

Во-вторых, — и это главное, — предприятия, хоть и бедствуют, хоть и работают неполную рабочую неделю, все же стараются поддерживать жизненный

уровень своих тружеников (вот они — “родимые пятна” социализма): не обижают зарплатой, приобретают по бартеру продукты подешевле на стороне, за счет подсобных предприятий поддерживают сравнительно низкие цены в заводских столовых и буфетах. Но эти усилия, сегодня благотворные для работающих, могут уже завтра обернуться для них большой бедой: предприятия теряют возможность хотя бы поддерживать достигнутый технический уровень производства, не говоря уже о его расширении и совершенствовании. Все заработанное уходит на выживание, на самосохранение. А это значит, что коллективы заводов и фабрик проедают свое будущее, они обрекают себя на поражение в конкурентной борьбе с западными фирмами. А борьба эта — грозная реальность завтрашнего дня. Так что выживание, являющееся смыслом сегодняшнего бытия предприятий, — не более чем иллюзия, впереди — неизбежный крах.

4. “ЭНЕРГИЯ ВЗРЫВА”

30 ноября 1991 года в “Калининградской правде” был напечатан странный рекламный плакат: четыре шара разных размеров как бы стремятся оторваться от пятого — огромного по сравнению с ними. Плакат, занимающий целую страницу, назывался “Энергия взрыва”. Что бы сие означало? Понятно, когда какой-либо инвестиционный фонд покупает газетную площадь, платя сумасшедшие деньги, чтобы призвать одуроченных Чубайсом и К⁰ обывателей продать этому фонду по дешевке свои ваучеры; можно понять преуспевающую компанию, которая не скупясь, аршинными буквами, доводит до сведения акционеров свои дивиденды: авось клюнут новые сограждане, принесут свои денежки. Но плакат с шарами ни к чему не призывал, это-то и было странно. Во имя чего понадобилось рекламодателю швыряться деньгами? Мистика какая-то!

Именно этой своей непонятностью плакат привлек внимание патриотической газеты “Русь Балтийская”, издаваемой в Калининграде национально-патриотическим обществом русской культуры “Русь”. Кто-кто, а уж члены любой редколлегии знают, что от нечего делать подобные произведения “искусства” на свет не появляются, всегда преследуется какая-то цель. Какая цель была здесь? Зная о том, что известным августовским событиям 1991 года предшествовало появление в одной из “демократических” газет многозначительного ребуса, члены редколлегии предположили, что и в данном случае имеет место нечто подобное. Анализ подтвердил: да, так оно и есть! Соотношение площадей напечатанных на плакате окружностей точно соответствовало соотношению размеров территорий Литвы, Латвии, Эстонии и Калининградской области! Было отмечено и то, что три шара покрупнее уже как бы вырвались из поля притяжения огромного шара, а самый маленький лишь чуть подался от этого поля. Не значит ли это, что если Прибалтийские республики ко времени опубликования плаката практически выделились из состава Советского Союза, то по этому пути надлежит двигаться и Калининградской области? Энергия взрыва — не для того ли, чтобы вырвать ее из России?

Результаты анализа были опубликованы в газете “Русь Балтийская”. Она предостерегала: в области есть силы, которые стремятся выполнить эту предательскую работу, будьте бдительны!

Газета была права.

Глава областной администрации Ю. Маточкин выдвинул идею превращения Калининградской области в Балтийскую республику. Центральное телевидение сообщило о том, что он пригласил в область 200 тысяч немцев из глубин России и других регионов СССР для постоянного проживания. Информация имела эффект разорвавшейся бомбы: кому не ясно, что 200 тысяч в считанные годы превратятся в миллион, а статус республики позволит этому миллиону без труда перейти из России в Германию?

Ю. Маточкин дал опровержение: никаких немцев он-де не приглашал. “Русь Балтийская” опубликовала клише “Информации для прессы” о международном конгрессе в Вайкерсхайме 9 и 10 мая 1992 года (на немецком языке), в которой приводились выдержки из реферата, представленного Ю. Маточкиным на этот конгресс: “Северная часть территории Восточной Пруссии со столицей Кенигсберг в виде автономной “Республики Пруссии” может стать немецко-русским

будущим. Я не делаю никакой тайны из того, что мы стремимся к тесному сближению с Германией, а автономную Пруссию рассматриваем в качестве свободной экономической зоны, как Гонконг, на Балтийском море... Более 200 тысячам этнических немцев мы предлагаем сегодня новую родину... Вновь восстановленное городу имя Кенигсберг и Пруссия будут символизировать новое совместное будущее для русских и немцев...”

В “Информации для прессы” приводились цитаты и из реферата главы администрации г. Калининграда В. Шипова: “...предлагаем в качестве района переселения Северную часть Восточной Пруссии... нуждаемся в немецких ремесленниках, инженерах и творческих работниках. Мы располагаем в Северной части Восточной Пруссии большой территорией, которая по своим размерам равна территории Шлезвиг-Гольштейна, но с населением лишь 800 000 человек. Пруссия ожидает второго заселения...”

Фигурировало в “Информации” имя еще одного “демократа” — доцента Калининградского университета В. Гильманова. Цитата из его реферата пропитана тем же предательским духом: “...Без немцев и европейской помощи как область и город, так и университет могут погрузиться в хаос. Почему до сих пор правительство Германии медлит с этим?”

Опубликование “Информации” и ряда других подобных материалов в “Руси Балтийской” ударило по авторитету “демократических” руководителей столь ощутимо, что сначала Ю. Маточкин, а затем и В. Шипов подали на газету, а точнее на общество “Русь” в суд... Не буду утомлять читателя подробностями этой непригляднейшей истории, отмечу лишь, что после годичных проволочек народный суд Центрального района Калининграда вынес по иску В. Шипова о защите чести и достоинства постановление взыскать в его пользу с общества “Русь” и газеты “Русь Балтийская” 5 миллионов рублей (истец, правда, претендовал на 20 миллионов). Я участвовал в процессе, вслушивался в каждое слово, но так и остался в недоумении, почему оштрафовано общество “Русь”, когда по Закону “О средствах массовой информации” ответственность за публикации несет единственно редакция газеты. Не понял и того, почему суд игнорировал ходатайство ответчиков и представителей общественности об экспертизе информации для прессы конгресса — имела она место в действительности или сфальсифицирована, ведь если имела, то отвечают за публикацию по тому же Закону составители информации, а не газета, перепечатавшая ее.

После того как “Информация” о международном конгрессе в Вайкерсхайме стала достоянием гласности, руководители городской и областной администрации заявили, что они на этом конгрессе не были, представлял регион В. Гильманов. Действительно, “Информация для прессы” составлена, как говорится в ней, на основе представленных рефератов. (Существует порядок, согласно которому лица, приглашенные для участия в ответственном международном конгрессе, семинаре, симпозиуме и т. д., заблаговременно представляют его организаторам рефераты, то есть тезисы своих будущих речей; если кто-то из этих лиц не может приехать — заболел или еще что-то случилось, — то другие участники все равно имеют возможность ознакомиться с его позицией по этим тезисам. Нередки случаи, когда устроители конгрессов составляют рефераты собственными силами на основании высказываний и заявлений лица, приглашенного сюда.) Поэтому суть не в “присутствии” или “отсутствии”, а в позиции господ Маточкина и Шипова, изложенной в рефератах. Именно их непатриотичную, антироссийскую позицию разоблачила “Русь Балтийская”.

В последнее время Ю. Маточкин чуть ли не в каждом выступлении старается заявить о том, что Калининградская область — неотъемлемая часть России, и одновременно разъясняет свою позицию относительно сущности “свободной зоны” на территории области. Что из этого получается, можно видеть из недавнего ответа на опубликованную в “Правде” заметку “Сам себе и закон, и президент” (где со ссылкой на польский источник информации сообщается о планах переселения немцев в нашу область). Пытаясь опровергнуть эту публикацию в интервью “Калининградской правде”, Ю. Маточкин заявил: “...мы считаем себя неотъемлемой частью Российского государства и неотъемлемой частью всего Балтийского региона. Наша стратегическая цель — не ориентироваться на какую-то одну страну, а работать со всеми странами Балтийского региона. Что мы и делаем”.

Пусть читатель вдумается в эту фразу. Не правда ли, весьма загадочно звучит? Как это российская область может быть частью и государства Российского, и некоего бесформенного Балтийского региона? Как это можно “не ориентироваться на какую-то одну страну”, то есть Россию, “неотъемлемой частью” которой считает область господин Маточкин? Не оговорился ли глава администрации? Не беспокойтесь, тут все очень хорошо продумано. Для чего — скажем ниже.

Помимо высокопоставленных чиновников, идею “германизации” области отстаивают и некоторые писатели, члены так называемого Союза российских писателей. Это председатель областного фонда культуры, бывший руководитель Калининградской писательской организации, до недавнего времени депутат областного Совета Юрий Иванов, редактор газеты “Кенигсбергский курьер” Вольф Долгий, также ряд лет возглавлявший организацию, ее нынешний председатель и главный редактор литературно-художественного журнала “Запад России” Олег Глушкин. Каждый из них дует в прогерманскую дуду на вверенном ему участке. Как это делает В. Долгий, можно не рассказывать, достаточно оценить название редактируемой им газеты, выходящей на двух языках — русском и немецком. Олег Глушкин печатает в своем журнале статьи, смысл которых — внедрить в сознание калининградцев мысль, что они якобы не настоящие хозяева земли, где живут, что немцы будто бы изгнаны отсюда незаконно и должны по праву сюда вернуться. Но больше всех преуспел, по-моему, Ю. Иванов. Являясь членом малого Совета области, он предложил на одном из его заседаний поставить вопрос о проведении международной конференции в составе Литвы, России, Польши и Германии, которая решила бы, можем ли мы быть здесь и впредь.

Поднимать вопрос о международной конференции по Калининградской области в условиях, когда этого не делают ни Германия, ни Литва, ни кто бы то ни было на свете, может лишь человек, задумавший недоброе.

Попытки “германизации” сознания калининградцев идут и по линии религиозной. Вопрос о вере после разочарования основной массы населения страны в марксистско-ленинском учении встал с предельной остротой — германофилы знают это и используют в своих интересах. Как тонко, как квалифицированно это делается, можно увидеть на примере пространных статей профессора Калининградского университета И. Наставшева, опубликованных в коммерческом приложении к “Калининградской правде”. Весь их пафос — в восхвалении протестантских религий Запада, прежде всего кальвинизма, — дескать, благодаря тому, что эти религии воспитывают верующих в духе предприимчивости, трудолюбия, целеустремленности, западные страны добились успехов в экономическом развитии... Читаешь и думаешь: за каких же дураков принимает читателей профессор, если полагает, что они не зададут себе вопроса: а как объяснить экономический взлет, например, Японии, которая не исповедует кальвинизм? Или как быть с дореволюционной православной Россией, в начале века стремительно выходящей в число лидирующих стран по основным экономическим показателям?

Все, все идет в ход, лишь бы посеять смуту в умах, отвратить калининградцев от веры их отцов и дедов, от русской православной церкви. Решение задачи облегчается тем, что в регионе десятки лет не было ни одного православного храма, а переселившиеся сюда татары, чуваша, представители других народностей нередко исповедовали ислам либо полужазыческие культы. Росло некое бездуховное поколение, лишенное веры, истории и в конечном счете чувства Родины — не на него ли рассчитывают германофилы?

На предприятиях, в учреждениях, больницах, школах, клубах выступают многочисленные представители западных конфессий, склоняя граждан к своей вере, не останавливаясь иной раз перед тем, чтобы подкинуть толику денег, лишь бы согласились последовать за ними. На тумбах увидишь плакаты, зазывающие на мероприятия сатанистов. Действуют проповедники восточных вероучений. По домам из квартиры в квартиру ходят молоденькие девушки и ребята, агитируя за учение Кришны, — что они в нем понимают? Прямо-таки бешеную деятельность развили “Свидетели Иеговы”, о чем необходимо рассказать подробнее. Члены секты разъезжают в пригородных поездах, расхаживают по жилым домам, вовлекая население в дискуссии, пропагандируя раскольнические идеи, распространяя свои печатные издания, — делается это с такой бесцеремонностью, с таким нахрапом, что кажется: за каждого завербованного полагается премия. В мои руки

попала их книжка “Ты можешь жить вечно в раю на земле”, отпечатанная на прекрасной бумаге, богато иллюстрированная, в твердом переплете, несмотря на скромный объем. Опубликовано книга нью-йоркским издательством, напечатана в Германии. Тираж — 47 миллионов экземпляров, вручается бесплатно. Но главное, конечно, содержание книги. Суть ее в том, что каждый живущий на Земле может жить на ней вечно в раю, и требуется для этого лишь одно — принять постулат, изложенный следующим образом (цитирую): “Да, скоро очень Бог очистит землю от всех, кто губит ее (Откровение 11:18). Он удалит нынешние правительства, чтобы проложить дорогу Своему справедливому правительству, которое будет править всей землей”. А нужно это мировое правительство людям потому, утверждается в книжке, что все правительства всегда “за кулисами руководились дьяволом”. Речь идет, разумеется, о национальных правительствах, так как через них сатана “ловко поощряет людей ставить интересы человеческих правительств выше своего служения Богу. Это привело к развитию духа национализма, который повел к ужасным войнам”.

Что нынешние российские власти не от Бога, лично у меня сомнений не вызывает, но считать, что таковыми они были во все времена, думаю, неправомерно. Тем более что сейчас уже практически ни для кого не секрет, кто на протяжении двух с лишним тысячелетий рвется управлять народами. Бесспорно, издания, подобные описанному, — их рук дело.

С процитированным постулатом четко перекликается идея, выдвинутая первым вице-премьером российского правительства господином Шумейко в ходе его предвыборной компании, смысл которой (идеи) в том, чтобы сделать из Калининградской области некий полигон для эксперимента — “создания единой российской нации”. В его статье “Верю в будущее России”, напечатанной в “Калининградской правде” в предвыборные дни, говорится: “Рождение единой нации будет проходить неравномерно, сначала в отдельных регионах России. Наиболее вероятным местом ее рождения, на мой взгляд, наряду с мегаполисами (Москва, Санкт-Петербург) является Калининградская область...” (Ну, чем не социализм в отдельно взятой стране?! — А. С.)

Не требуется особой прозорливости, чтобы понять: и постулат иеговистов, и идея В. Шумейко преследуют одну цель — лишить нас, русских, права быть русскими, татар — татарами, чувашей — чувашами и т. д. Ясно, для чего: “общечеловеками” без роду и племени будет легко управлять “божественному” мировому правительству. А уж из нас, калининградцев, оторванных от России, вообще можно веревки вить. Может быть, Калининградская область и предназначена как раз стать обиталищем этого “мирового правительства”? В самом деле, почему бы и нет? Безнациональной она, по идее г-на Шумейко, станет уже в ближайшем будущем, и даже есть, где его разместить — в строящемся Доме Советов, который недавно объявлен к продаже!

Правда, в статье есть мысли, которые все же удерживают нас от того, чтобы с ходу объединить В. Шумейко с иеговистами. Представьте себе, он выступает за возрождение российской культуры, ставит задачу написания “цельной истории” Калининградской области и соседствующих регионов, приводит факты, говорящие о том, что “жители Янтарного берега принимали активное участие в формировании древнерусского государства”. В этих его рассуждениях много общего с оценкой этих фактов обществом “Русь”, которое через публикации в своей газете, других печатных изданиях и ввело их факты в научный оборот. Хотя имеется момент, проводящий резкую грань между позициями “Руси” и г-на Шумейко. Если общество “Русь” рассматривает историю региона через призму православия и не мыслит без православной церкви его будущего, то в программной статье В. Шумейко нет и намек на эту проблему, что весьма странно: в ходе предвыборной компании телевидение показало первого вице-премьера в обществе митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла; думаю, это обстоятельство сыграло немалую, может быть, решающую роль в его избрании депутатом парламента — верующие расценили дружескую беседу иерарха с правительственным деятелем как его благословение и отдали за него голоса.

Время покажет, кто таков наш депутат в Совете Федерации г-н Шумейко (а теперь уже и спикер этой палаты) — запутавшийся в “демократических” сетях русский человек или “демократ-иеговист”, способствующий в силу немалых сво-

их возможностей отторжению Калининградской области от России, говорящий, как все демократы, одно, а делающий другое. Если он русский человек, то может проявить себя таковым не откладывая в долгий ящик. Благодатное поле деятельности — строительство православных храмов.

В последние годы в области начали действовать храмы в Калининграде, Черняховске, Светлогорске, Зеленоградске, Немане, ряде других городов. Едва ли это можно считать следствием какой-то демократизации жизни: верующим по-прежнему приходится отвоевывать помещения с боем. Демократические власти упорно сопротивляются строительству храма в центре Калининграда, в сквере между площадью Победы и центральным рынком, — храма, который стал бы символом православия, символом России в этом отдаленном регионе. Вот где бы сказать свое слово В. Шумейко! Надо отметить, что православная общественность обращалась к нему с этим, и он будто бы отнесся к просьбе положительно, но пока ничего не изменилось.

Недавно в Калининградской области учрежден епископат Русской Православной Церкви. Епископом назначен владыка Пантелеймон, авторитетнейший как среди священнослужителей, так и среди верующих граждан церковный деятель. Вскоре после назначения владыка Пантелеймон заявил: "...в нашей области, население которой на 90 процентов православное, православие должно занимать приоритетное место. И лишь по соглашению с православной епархией другие конфессии могут осуществлять свою деятельность на нашей территории. Это политика православной церкви здесь, в Калининградской области".

Да будет так! — скажем мы. Но добавим: медлить с этим нельзя; выше показано, как обстоит дело сейчас. Время не ждет!

5. "ГАНЗЕЙСКИЙ РАЙОН ПРИБАЛТИКИ"

Вернусь еще раз к Юрию Иванову. Бывшая сотрудница издательства, работавшая, в частности, и над книгами Ю. Иванова, после очередного его германофильского выпада позвонила мне, чтобы спросить: "Он что, сдурел?! Рваться к немцам? Забыл, что они вытворяли с евреями?" Сотрудница эта, как, впрочем, и другие, считает, что Иванов — еврей; так это или нет, не знаю, хотя имею основания думать, что так.

Вопросы бывшей коллеги вспомнились в связи с двумя событиями: одним малозаметным, вторым весьма и весьма значительным.

Первое такое. Я ехал из Риги в Москву, кроме меня в купе было еще двое — мужчины лет тридцати трех — тридцати пяти, один крупный, вальяжный, думаю, прибалт, хотя и назвался русским, второй русский, несомненно, державшийся как-то зависимо по отношению к первому. Они много курили, говорили, пили водку. Говорили о том, о чем говорят все и везде — что жить все труднее, что вместо обещанного рая "демократы" несут людям одни беды... Я спросил, не думают ли мои попутчики, что потребности развития экономики понудят Латвию, другие Прибалтийские республики вернуться в состав Союза или России — неважно, как это единое государство будет называться. И вот тут вальяжный блондин сказал несколько фраз, из-за которых я вспомнил эту свою поездку:

— Прибалтийским республикам никуда возвращаться не придется. Им вместе с вашей Калининградской областью мировым сионизмом уготована иная судьба. Вся эта земля будет заселена евреями. У Израиля нет будущего: сейчас тесно, а дальше вообще гибель — с юга наступает Сахара, через двести-триста лет засыплет песками. А тут в Прибалтике евреи чувствуют себя хозяевами давно...

Сказанное запомнилось, хотя всерьез слов попутчика я тогда не воспринял; и даже не столько потому, что слишком уж фантастично выглядит переселение целого государства, сколько из недоверия к собеседнику: зачем отрицать, что прибалт, если говоришь с акцентом?

Но потом произошло второе событие — в руки попала прелюбопытнейшая брошюра под названием "Ганзейский район Прибалтики. Доклад международной группы исследований. По заказу Совета Эстонии" (именно "группы исследований", а не "исследователей", как следовало бы сказать по-русски). Прочитал и ахнул: это же законченный план отторжения Калининградской области от России! Правда, в брошюре прямо об этом не говорится, но смысл именно такой. А прямо говорится о том, что по поручению некоего Туине Келама, доктора права, председателя неведо-

мого нам “Совета Эстонии”, специалисты из Норвегии, Германии, Лихтенштейна, Испании, Австрии и США разработали — что бы вы думали? — план создания нового государственного или полугосударственного образования в составе Латвии, Литвы, Эстонии и Калининградской области под названием “Ганзейский район Прибалтики”! Обратите внимание: среди разработчиков плана нет ни одного представителя Прибалтийских республик, а тем более России. Представитель Лихтенштейна есть, а россиянина нет, как вам это нравится? Будто дело касается не великой державы, а колонии!..

В брошюре-докладе четко и недвусмысленно говорится, с чего надо начинать реализацию плана: “провести переговоры с Российской республикой (особенно с президентом Ельциным) и ближайшим окружением Горбачева”, из чего видно, что план разработан еще во времена СССР. И что разработчики не сомневаются в поддержке Б. Ельцина (о с о б е н н о! — А. С.), — это, наверное, насчет Калининградской области? Насчет прибалтов тоже определено, что в первых свободных выборах должны принимать участие только к о р е н н ы е жители Эстонии, Латвии и Литвы и что коммунисты должны быть отстранены от управления государством — все-все расписано! И перспектива определена — после 2000 года прибалтийские государства и Калининградская область станут полноправными членами Европейского сообщества, а до того в течение десяти лет будут его ассоциированными членами. А чтобы исполнители плана поменьше надеялись на “дядю”, “мудрецы” из Лихтенштейна, США и других государств дают указание: “решающие шаги в этом направлении должны предпринять сами правительства этих (прибалтийских. — А. С.) государств и Калининградской области”. То есть в переводе на нашу областную конкретику — господин Маточкин и иже с ним. Тут, надо понимать, кроется и разрешение нашего недоумения по поводу того, как это часть России может быть в то же время частью Балтийского региона? А вот как: на словах мы — часть России, а на деле — часть “Ганзейского района Прибалтики”.

Раскрыт и механизм создания этого региона — через “Ганзейский союз”. Калининградская область должна приобрести статус российского “Еврорегиона Кенигсберга”. Наряду с русскими сюда можно пустить жить и российских немцев (ясно, откуда дует ветер в вайкерсхаймские рефераты господ Шипова, Маточкина и Гильманова?).

Область Кенигсберга, говорится в брошюре-докладе дальше, как часть “Ганзейского района Прибалтики” должна (!) параллельно с тремя прибалтийскими государствами осуществлять предложенные меры экономического и политического характера. Какие именно? А вот, пожалуйста: вывести Советскую Армию из государств Прибалтики; ввести надежную прибалтийскую валюту; обеспечить ее связь с экю (денежная единица Европейского сообщества. — А. С.) и отделение от государственного бюджета; создать беспошлинные склады; создать торгово-промышленные и ремесленные палаты; немедленно предоставить инвесторам земельные участки под офисы и здания; под видом торгового центра Ганзы создать экономический разведывательный центр, в котором сосредоточивалась бы вся информация о регионе и прилегающих государствах; развернуть строительство портов; начать строительство автострады “Виа Балтика”; совершенствовать железнодорожное сообщение с тем, чтобы связать порт Пярну через Псков, Вятку, Екатеринбург с северными и дальневосточными районами России, богатыми природными ресурсами... — хватит? Или продолжать дальше? Список мер длинный!

Не забыли “мудрецы” отметить, что в Прибалтике население имеет высокий образовательный ценз, а рабочая сила дешевая, так что вперед, господа! Рекомендовано исполнителям привлечь к реализации плана руководство Санкт-Петербурга — и это понятно: господин Собчак не подведет!

Вот такой план разработан для прибалтийских “демократов”, в том числе и для калининградских. Можно не сомневаться, что именно эти идеи вдохновляли авторов плаката “Энергия взрыва”, предрекшего отрыв Калининградской области от России. Но, может быть, весь этот план — чья-то ловкая мистификация, бред сумасшедшего, предназначенный припутнуть обывателя? Если бы! События в Прибалтике развиваются почти в полном соответствии с ним. Разве не были отстранены коммунисты от управления государствами? Разве не были отстранены русскоязычные от участия в первых выборах? Разве не выводятся спешно наши войска из ре-

спублик Прибалтики, как это предписано планом? Это факты “прибалтийского” масштаба.

А вот “областного”: местная пресса сообщила, что на семинаре, организованном здесь под лозунгом “Под знаком Ганзы — в новую Европу”, ученые из Литвы, Эстонии и Польши выразили беспокойство по поводу “экстремального уплотнения военными в области”. На другом семинаре, виноват, конференции, речь шла о транспортной магистрали “Виа Балтика”, о том, “как координировать действия, прокладывая новые транспортные артерии, как учитывать общие интересы и интересы друг друга, на что обратить внимание, стремясь к общему экономическому пространству” (разрядка моя. — А. С.). Еще сообщение: Ю. Маточкин встречался в Лондоне с президентом Европейского банка реконструкции и развития — обсуждалась возможность выделения кредитов для осуществления проектов строительства участков дороги Калининград — Эльблонг и офисно-гостиничного центра в Калининграде. Для кого, надеюсь, ясно.

А в начале ноября Калининградской областью занималась уже — кто бы, выдумали? — комиссия Европарламента по иностранным делам и безопасности, заседавшая в Брюсселе! В ее работе приняли участие Ю. Маточкин и А. Сонгаль, начальник управления по международным делам администрации области. О чем шла здесь речь? Представление об этом дает сообщение пресс-центра администрации: “Неоднократно повторялась мысль о том, что Калининграду необходимо уделять со стороны Европейского Сообщества особое внимание... Обозначенные в резолюции пути развития самого западного российского региона помогут исполнительным органам ЕС совместно с правительством Российской Федерации определить конкретные шаги по развитию транспортного узла в Калининградской области, расширению сети телекоммуникаций, туристического комплекса и так далее... Среди намеченных шагов также важным является обсуждение с правительством РФ вопроса о предоставлении руководству нашей области права самостоятельно вести переговоры с международными структурами, например, с Европейским банком реконструкции и развития. Все это в сочетании с уже заявленным российским правительством намерением включить Калининградскую область в число приоритетных регионов для осуществления проектов ЕС создает благоприятную ситуацию для привлечения в область технической помощи со стороны ЕС...” Как видим, идея “мудрецов” сделать в ближайшем будущем Калининградскую область вместе с прибалтийскими государствами полноправными членами Европейского Сообщества тоже имеет движение.

Можно предполагать, что в “ганзейском проекте” участвуют “мудрецы” не только с Запада, но и наши, отечественные. На эту мысль наталкивает статья профессора Калининградского университета Г. Федорова “Из Москвы, конечно, видно далеко. Но мы-то нашу область знаем лучше”, опубликованная в “Калининградской правде” 5 ноября 1993 года. Анализируя стратегические установки руководства области в определении путей ее развития, автор статьи касается также позиции на этот счет ряда ученых, в том числе академика А. Гранберга, который в одной из своих публикаций обронил такое предложение: “И пока еще существуют нити, связывающие ее (область) с остальной частью России, надо укреплять интеграционные связи”. Профессор Г. Федоров резонно спрашивает: “Что же, когда-то этих нитей (уже “нитей”?) — не станет?” А мы его вопрос дополним: не тогда ли, когда область станет частью не России, а “Ганзейского района Прибалтики”?

Калининградская, да и тем более вся российская общественность плохо осведомлена о том, что кроется за “ганзейскими” лозунгами, если не сказать: представления о том не имеет. Средства массовой информации стараются пореже упоминать о “Ганзейском районе Прибалтики”, о “Еврорегионе Кенигсберга”, а если все же делают это, то маскируют их суть. Примером могут служить газетные отчеты о проведенной осенью 1992 года международной конференции “Балтийский регион: перспективы развития”. Мероприятие это проводилось с небывалой для Калининграда помпой: прислал приветствие президент Ельцин, участвовали замы министров иностранных дел государств Балтики, приехали вице-премьер Шохин, два зама наших министров, ждали господ Коля, Геншера, Валенсу, Тэтчер... Участвовал в мероприятии господин Боровой, известный богач и сопредседатель Фонда внешней политики России, выступившего организатором конференции... Именно здесь впервые план создания “Ганзейского района Прибалти-

ки” был обнародован. Ему отведено в пространном газетном отчете всего несколько строк — ректор Калининградского университета заявил, что “проект превращения области в еврорегион Кёнигсберга в составе ганзейского союза Прибалтики не соответствует интересам России”. Все! Никаких комментариев.

Серьезную попытку проанализировать “ганзейский проект” предпринял В. Никитин, председатель общества “Русь”. В статье “Ганзейский капкан”, опубликованной в газете “Русь Балтийская”, он отметил такие основополагающие моменты плана, как, например, создание правительства ганзейского региона, которое “должно предоставить право принимать решения экономического характера тем, кто компетентен в этой сфере, а именно — бизнесменам. Не должно быть никакого контроля”, перечислил те шаги по “самовхождению” области в ганзейский регион, которые в нашем очерке указаны выше. Но вся беда в том, что тираж этой газеты очень мал, широкой общественности в России, да и в Калининградской области, публикация осталась неизвестной.

В начале января с. г. “Калининградская правда” напечатала в двух номерах пространную статью сотрудника представительства МИД России в г. Калининграде В. Анисимова “Калининградский фактор” в движении Новая Ганза”. В статье ставится вопрос о создании в Калининграде “постоянно действующего координационного центра для проработки всего комплекса проблем, связанных с проектом “Новая Ганза”, так как “именно из Калининграда, как геополитического центра региона Южной Балтики, должны исходить импульсы о восстановлении в Балтийском регионе связи веков...”

Сотрудник представительства МИД без экивоков утверждает, что Калининградская область “это более не “щит”, не “форпост”, и не “особое место” в обеспечении системы безопасности Российской Федерации”. В статье есть и другие многозначительные откровения, но не станем утомлять читателя их анализом, отметим лишь, что в печати это первое подобное выступление на ганзейскую тему. Похоже на то, что ганзейцы начинают действовать с открытым забралом.

...А теперь давайте порассуждаем. Давайте на минутку представим, что сказанное моим попутчиком в рижском поезде вовсе не фантазии, а информация, исходящая из реальности.

Что вальяжный блондин — сотрудник, например, спецслужб какого-либо государства, не обязательно Латвии, который, сев в поезд, расслабился и выболтал по пьянке служебный секрет, в дороге ведь тянет потрепаться, тем более с собеседником, не имеющим понятия, кто ты такой... Да, давайте на минутку поверим, что Прибалтике и Калининградской области кем-то предназначено стать неким Новым Израилем. И если мы это сделаем, вдруг выяснится, что многие вопросы, которые вызывали у нас недоумение, получают логичный ответ. Уже не будет казаться, что Юрий Иванов “сдурел”, — его прогерманская деятельность окажется просто игрой, работает он на себя, а не на немцев, которые действительно неизвестно как себя поведут в будущем. Точно так же будет выглядеть и прогерманская редакторская деятельность Вольфа Долгого и Олега Глушкина.

Знаю, что рассуждения эти могут кое-кому не понравиться. Сразу вношу ясность: антисемитом себя не считаю, но к сионизму отношусь отрицательно. Есть евреи Ротшильды, Рокфеллеры и Оппенгеймеры, которые имеют возможность тасовать судьбы народов, как карточную колоду, и есть еврей Михаил Израилевич Клейман, машинист рыбо-мучной установки, с которым я был на одном траулере в рейсе в Юго-Восточной части Тихого океана и отстаивал его честь, когда на него упало подозрение в неблагоприятном поступке. Если кого заинтересуют подробности, ищите мою книжку “Рейс как рейс”, там это подробно описано. Так вот, Иванов и его коллеги могут надеяться на брошенный ротшильдами кусок пирога в Новом Израиле. Клейману же с его рабочей профессией рассчитывать не на что, скорее всего ему предстоит быть быдлом наравне с русскими, литовскими и прочими пролетариями.

Но продолжим наши рассуждения. Снимается вопрос, который возникает при чтении доклада “мудрецов” из Лихтенштейна, США и т. д., как это удалось “доктору права” из Таллинна поднять на его составление столько народу? Где он взял столько денег — ведь “мудрецам” надо платить, на Западе на общественных началах работать не принято. Но стоит лишь предположить, что “доктору” помо-

гал организационно и материально мировой сионизм с его неисчерпаемыми возможностями, как все становится на место.

Точно так же и с 200 тысячами немцев — пусть едут в Калининград и разбираются с русскими, у кого из них больше прав на эту землю. А пока они будут разбираться, Новый Израиль в лице своих состоятельных граждан приберет эту землю к своим рукам. Ничего сложного тут нет — процесс, как говорится, уже пошел. Судите сами. В Калининграде действует крупный предприниматель Меир Мендельсон, потомок, как он сам представился, кенигсбергского раввина, родственник композитора, под музыку которого совершаются свадебные церемонии. Чем конкретно занимается, он поведал в интервью “Калининградской правде”. Дед будто бы перед смертью завещал ему восстановить в городе еврейскую общину и решить вопрос о строительстве синагоги. С порученной задачей господин Мендельсон справился. Но этого, как он сам говорит, мало, в его планах строительство еврейского центра, создание своего телевидения, радио, своего журнала для заграницы. Но и это не все. Мендельсон — совладелец гостиницы в Светлогорске. Работает с администрацией Калининграда над проектом реконструкции левой стороны Ленинского проспекта (от площади Победы до Южного вокзала). Жильцы реконструируемых домов будут переселяться в заранее построенное жилье. После реконструкции первые этажи пойдут под магазины, вторые под офисы, а остальные под жилье... Чувствуете размах? Журналист, бравший интервью, тоже это почувствовал, и спросил: “Вы не боитесь говорить так открыто о своих планах?” На что получил ответ: “Я честолюбивый еврей. Мне нечего стыдиться своей деятельности. Я горжусь ею”. Так-то.

Как видим, уже можно запросто купить полпроспекта в городе, были бы деньги. У нас с вами их нет, а вот у господина Мендельсона есть, из чего можно легко сделать вывод, кто будет в городе хозяином в самом ближайшем будущем.

Ладно, согласится читатель, допустим, евреи скупают все, но живут-то тут русские, их-то куда? А для них можно организовать Карабах с теми же немцами или выморить, как это сделал в свое время Лазарь Каганович на Украине. Нет ничего проще, было бы желание.

Аналогичные процессы скупки имущества, как я слышал, идут и в республиках Прибалтики. В Риге мне сказали, что львиная его доля (до 90 процентов) при приватизации попадает здесь в руки предпринимателей еврейской национальности, на втором будто бы представители славянских народов, а коренные жители лишь на четвертом. Вот тебе и свобода для коренной национальности, вот тебе и независимость!

Далее, меня как литератора интересует сам термин “ганза”. Откуда взялся, что означает? Почему именно Г а н з е й с к и й район Прибалтики? Ищу ответ, и вот что выясняется. Ганза процветала практически по всей истории человечества от древней Финикии через Венецию, Геную, Испанию до Северной Европы! Ничего общего с теми идиллическими картинками, которые рисует журнал “Запад России” калининградским обывателям, в ее прошлом нет. Это был военно-торгово-политический союз, экспансионистский и кровавый, вся его история это цепь захватнических войн с целью получения привилегий и установления контроля за политической жизнью тех государств, где Ганза внедрялась. Примером может служить порядок, по которому король Дании, начиная с 1370 года, не мог получить корону, если возражала Ганза. Мифом является демократия ганзейских городов. Здесь существовало резкое сословное деление, вся власть находилась в руках верхнего слоя, состоявшего из пришельцев, творивших произвол над местным населением. Исторические источники сообщают, что в Париже Ганза захватила городское самоуправление. Знаменательно: на печатях Ганзы был изображен корабль с надписью “Плывет и не тонет”. К счастью для народов Северной Европы, Ганза все же “утонула”. Но вот в наше время находятся “мудрецы”, которые хотят ее вытащить из мутных вод небытия. Неужели прибалты и калининградцы клонут на эту приманку?!

И все же — это лишь рассуждения и предположения. Может быть, на самом деле все иначе: вальяжный блондин из рижского поезда просто фантазер, а “Ганзейский регион Прибалтики” действительно предназначен нас осчастливить? Но поскольку в приведенных выше рассуждениях и предположениях все же присутствует здравая логика — давайте будем немного настороже. Давайте обезопасим себя от возможного нежелательного развития событий.

Вероятно, в ближайшие месяцы парламент примет Закон о статусе Калининградской области. Это должно было быть сделано еще в прошлом году, однако

помешал расстрел Верховного Совета президентом. Вместо Закона принят президентский Указ о статусе. Полное его содержание неизвестно, так как в печати появилось лишь изложение, но и из него можно получить представление, какие огромные полномочия получает исполнительная власть области: будет регистрировать предприятия с иностранными инвестициями, независимо от доли иностранного капитала в уставном фонде, а также выдавать разрешения на деятельность представительств иностранных фирм; определять порядок изъятия и предоставления земельных участков, а также наделения ими хозяйствующих субъектов для реализации федеральных, межрегиональных и областных программ; устанавливать упрощенный порядок въезда на территорию области граждан сопредельных государств и выезда жителей области в эти государства...

Короче говоря, полномочий достаточно для того, чтобы сделать с областью все, чего захочет глава администрации. Поэтому хотелось бы обратить на это внимание парламента и зафиксировать при утверждении Закона об области такие, например, положения: на территории области могут проживать граждане нерусской национальности, но не более, скажем, 20 процентов от общей численности населения. Это не значит, что кто-то должен ее покинуть, но въезд нерусских граждан ограничивается. Если Эстония хочет, чтобы на ее территории жили в основном эстонцы, почему мы должны стесняться подобных желаний? У нас русская область, часть России. Или почему нам не зафиксировать в законе положение о том, что объем иностранных инвестиций в экономику области не может превышать, к примеру, 20 — 25 процентов общего их объема? Перестраховка? Зато мы будем уверены, что экономика области останется русской. Мы же не закроем дорогу в нее иностранцам, — пожалуйста, вкладывайте деньги, но — в строго определенных рамках. И так далее.

6. ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

В газете русских немцев “Нойес Лебен” (№22 за 1992 год) напечатано большое интервью председателя общества “Фрайхайт” (“Свобода”), в котором он рассказывает о целях и задачах этого общества, созданного, кстати, на конференции, состоявшейся в Москве 22 июня (!) 1992 года. “Деятельность общества “Фрайхайт”, — заявил председатель господин Э. Гофман, — направлена на сохранение и развитие этноса и культуры российских немцев, защиту их гражданских прав, социальных и других свобод. Этому, считаем мы, будет способствовать создание Балтийской немецкой республики в Калининградской области...” Ни больше ни меньше. Обосновывая реальность постановки такой задачи, он говорит: “...Большая часть населения и руководство области положительно относятся к переселению российских немцев в этот регион”. Насчет руководства спорить не станем, памятуя о вайкерсхаймских рефератах. А вот относительно “большинства населения” позвольте усомниться. Конечно, “работа” Ю. Иванова и иже с ним бесследно не прошла, кое-кто клюнул на эту удочку, но говорить о “большинстве” не стоит.

Э. Гофман сообщает, что в Балтийской республике могло бы проживать более миллиона российских немцев. Процесс переселения уже идет: если два года назад в области было всего трое немцев, то сейчас уже — свыше 15 тысяч (было год назад, сейчас уже за 20 тысяч. — А. С.). Не делает он секрета и из того, что не исключает возможности, “что со временем эта территория вновь станет германской”, и что “без всемерного содействия ФРГ республику создать невозможно”. И даже излагает конкретный план действий: “Скоординировав свои действия с руководством Калининградской области, приступим к созданию информационных агентств по обмену квартир, открытию переселенческих пунктов, где временно, без семьи, будут жить люди. Обязательно откроем банк для кредитования на строительство жилья, обустройства всем необходимым для начала своего дела и др.”

Весьма знаменательно, что учредительная конференция общества “Фрайхайт” проходила под вывешенным в зале лозунгом: “Немецкая земля Кенигсберг — это наша историческая Родина”. Своей исторической родиной считают Калининград (Кенигсберг) и некоторые литовские политики. Калининградскую область они называют “Малой Литвой”. В Вильнюсе была даже издана карта, где наша область изображается как часть Литвы.

Поэтому необходимо внести ясность, чья же это историческая родина: немецкая, литовская или еще чья-то? У кого на нее больше “исторических” прав? Так вот, если вникнуть в эту проблему, вырисовывается прелюбопытнейшая картина! И так.

На заре истории территория нынешней Калининградской области была местом обитания племени пруссов, не имевшего абсолютно никакого отношения к немцам либо их предкам. До недавнего времени о пруссах известно было мало. Знали, что в результате агрессии Тевтонского ордена, начавшейся в 1230 году, пруссы были практически сжиты со света. И что в 1525 году на развалинах ордена возникло зависимое от королевства Польского княжество Пруссия — имя это оно себе присвоило без всяких на то оснований: пруссов тут оставались считанные единицы, сохранившиеся чудом.

Лишь в последние два десятилетия был сделан серьезный экскурс в историю древнего народа. Выполнила его Балтийская экспедиция института археологии Академии наук СССР. О результатах исследований рассказал руководитель экспедиции В. И. Кулаков в своей брошюре “Забытая история пруссов” (“Штрихи”, Калининград, 1992 г.): “В древние времена пруссы, как и остальные балтийские народы, входили в единую балто-славянскую языковую общность, рассосавшуюся в середине I тысячелетия до н. э... Лингвисты даже в языках современных балтов и славян находят много общего. В данных антропологии отмечается близость их физического облика... На севере нынешней Калининградской области (в районе пос. Покровское, рядом с пос. Янтарный, где действует знаменитый Янтарный комбинат) найдены относящиеся к VI—V вв. до н. э. следы культур как местного населения, так и пришельцев с земель Кольского поморья. Современные специалисты считают, что носители этих культур “являются непосредственными предками славян”. На рубеже I в. до н. э. — I в. н. э. в результате распада этих культур возникает самостоятельная этноязыковая общность, известная в раннем средневековье под именем “пруссы”... “Как видим, пруссы имеют определенное отношение к славянам, в числе потомков которых числимся и мы, русские. А немцы или их предки? Они тут были? Да, здесь обнаружены следы пребывания и кельтов, предков германцев, однако “их влияние на местное население было незначительно и ограничивалось лишь появлением в местной культуре нескольких типов украшений”, — пишет В. И. Кулаков. Возможно, они (кельты) появились здесь “для контроля янтарной торговли”. Только и всего.

Так обстоит с древними временами. Период раннего средневековья опустим: нет предмета для дискуссии. А вот завоевание земли пруссов Тевтонским орденом следует рассмотреть как можно обстоятельнее — ведь если признать Тевтонский орден сугубо германским явлением, то получится, что германское владычество здесь исчисляется сотнями лет. Но в том-то и дело, что признать его таковым нельзя. Обратимся к исследованию французского историка Э. Лависса “Очерки по истории Пруссии” (издание М. и С. Сабашниковых. М., 1915. — репринт КРНПБ “Статус”, Калининград, 1990).

Рыцарский Тевтонский орден появился на свет в XII веке в Иерусалиме, — за несколько столетий до появления Германии, и состоял не только из немецких рыцарей. На земле пруссов оставили следы рыцари, принесшие “на прусскую почву воспоминания со всех концов мира”. Появились они на севере Европы по призыву папы римского, ставившего задачу приобщить к католической вере языческие народы Прибалтики. На землю же пруссов рыцари вступили в рядах войска польского феодала Конрада Мазовецкого, жаждавшего покорить Пруссию. Страшная война продолжалась 53 года. “В XVI в. прусский язык совершенно исчез: то, что теперь от него осталось, представляет собой такой же предмет ученых филологических изысканий, как и остатки древнегреческих наречий. Целый народ был уничтожен...” — заключает историк.

Что представляла собой Пруссия в эпоху владычества тевтонских рыцарей? Население ее составили вместо уничтоженных пруссов хлынувшие сюда со всех концов Европы колонисты. Были ли тут немцы? Да. Но были и поляки, были представители других европейских народов, были сохранившиеся чудом пруссы. Крупные города (Кенигсберг, Эльбинг — нынешний польский Эльблонг, Данциг — нынешний Гданьск и др.) присоединились к Ганзе. Они посылали своих депу-

татов в ганзейские сеймы и имели свои собственные сеймы, воевали с государствами, с которыми орден был в мире — то есть говорить о Пруссии времен ордена как о части Германии просто смешно. Сам орден продолжал вести войны с языческой Литвой до конца XVI века, и в его рядах по-прежнему сражались прибывающие со всех сторон феодалы — в их числе были, например, Людовик Венгерский, англичанин Болингброк, шотландец Дуглас, француз Бусико... Кончился “тевтонский” период истории Пруссии великой Грюнвальдской битвой, в которой орден потерпел столь сокрушительное поражение от объединенных полков Литвы и Польши, что больше уже не смог подняться. И этот период не оставил ни малейших оснований считать эту землю “исторически” немецкой...

Следующий исторический этап — Пруссия в составе курфюршества и королевства Бранденбург. Позади Тридцатилетняя война, опустошившая и обезлюдившая германские земли и Пруссию. Курфюрсты, а затем короли делают все возможное, чтобы насытить свои земли рабочими руками, и зовут колонистов. Что это за люди? Опять же вся Европа! Например, из Франции в Бранденбург перебралось 20 тысяч человек, что составило 10 процентов всего населения курфюршества. Надо ли доказывать, что немалая доля этой “подмоги” осела в Пруссии. Потом сюда ехали переселенцы из Пфальца, Швейцарии, Польши, австрийской провинции Чехии, со всех концов света! При Фридрихе Великом колонизация была такой же отдельной задачей прусской администрации, как сбор податей. За сорокашестилетнее царствование этого монарха в королевство переселилось около трети миллиона новых подданных — почти треть населения государства состояла из колонистов. В Восточной Пруссии этот процент, надо полагать, был еще выше. Но из этого с неумолимой логикой вытекает, то Калининград-Кенигсберг, а заодно и весь Бранденбург-Пруссию со столицей Берлин с равным основанием могут считать своей исторической родиной не только немцы, но также чехи, французы, поляки, швейцарцы, — не смешно ли?

Закончим наш исторический экскурс так. Составной частью Германии королевство Пруссия (и в его составе Восточная Пруссия, северная половина которой ныне является Калининградской областью России) стало лишь после объединения немецких земель Бисмарком, что имело место в 1871 году. То есть собственно германская история этой земли в полном смысле слова насчитывает всего 74 года.

Ясно, что считать эту землю своей исторической родиной у немцев, где бы они сейчас ни жили, нет никаких оснований. Это же относится и к литовцам — у них тоже нет на нее никаких прав. Иными словами, играть на историческом прошлом региона — дело бесперспективное. Исходить надо из итогов Второй мировой войны, из решений держав — победительниц в этой войне. Именно на их основе строят область уже три поколения россиян. Никто не должен забывать, что два из них родились, выросли, возмужали здесь, и для них другой малой родины, кроме Калининградщины, на земле не существует.

Кстати, ФРГ этих решений придерживается, хотя... Не столь давно в Калининграде открыт Германо-Российский дом, предназначенный быть “местом настоящих встреч между немцами и русскими”, как заявил в своем выступлении при открытии Дома парламентский секретарь при Федеральном министерстве внутренних дел господин Хорст Ваффеншмидт. Еще он заявил: “В течение своей больше чем 40-летней истории Федеративная Республика Германия неоднократно торжественно заявляла о том, что изменение границ в Европе путем применения силы никогда больше не должно являться целью политики...” Все вроде бы хорошо. Но вот дальше: “Федеральное правительство несет особую ответственность за российских немцев. В том случае, если российские немцы обращаются за помощью в связи с восстановлением духовно-культурных уз или созданием средств к существованию, Федеральное правительство не может им в том отказать и в рамках своих весьма ограниченных возможностей постарается помочь”. Немного настораживает, не правда ли? Если, предположим, немец получит от Федерального правительства на обзаведение 10 тысяч марок (а они, по слухам, именно столько и получают), то очень скоро будет иметь для хозяйствования и технику, и семена, и удобрения. Наши же дышащие на ладан “заботами” демократов сельские АО разрушаются на глазах. Кто будет хозяином земли?

О том, что тут не все гладко, говорит даже один из ответственных сотрудников администрации области — начальник управления по международным делам А. Сонгаль: “Хотя мы имеем заявление официального Бонна о том, что нет никакой

особой программы в этом плане, тем не менее последние события свидетельствуют, что определенные круги в Германии активизируются в плане стимулирования привлечения российских немцев в нашу область” (“Калининградская правда”, 21 октября 1993 года).

Откровенно выражает свои чаяния относительно Калининградской области “молодая” Германия. К нам приезжал один из лидеров молодежного движения ФРГ, высоколобый, красивый молодой человек. Фамилия его, к сожалению, не запомнилась, но хорошо запомнились его слова: здесь должна быть создана автономная республика, входящая в состав Германии, русские будут иметь равные с немцами политические права, свою культурную автономию, обижать их не будут. Это говорилось на встречах с молодыми калининградцами, с писателями, в выступлениях по областному телевидению, громко и недвусмысленно. Едва ли можно сомневаться, что подобное настроение отражает позицию определенных кругов Германии. Несомненно и то, что, когда нынешние молодые политики через полтора-два десятка лет возьмут в свои руки роль государственного руководства, они начнут свои идеи осуществлять на практике.

Как это сочетается с “ганзейской” идеей? Знают ли “демократы”, строящие “Ганзейский район Прибалтики”, о притязаниях немцев? В докладе “мудрецов” каких-либо упоминаний на этот счет нет. Думаю, что “демократы” знают все, а вот чтобы они с “немецкой идеей” были согласны, это маловероятно. Скорее всего “немецкая идея” нужна лишь для маскировки более глубоких разработок будущей перспективы нашего региона. Однако не получится ли, что германский национализм окажется джинном, вырвавшимся из запечатанной бутылки? Но если так, то впереди борьба, крупные политические игры — кто кого проведет, кто кого осилит.

Так что отвечая на вопрос: что день грядущий нам готовит? — мы должны иметь в виду, что развитие событий в области и вообще в Прибалтийском регионе будет определяться в первую очередь противоборством этих сил между собой и Россией, русскими людьми, живущими здесь.

Сейчас, когда так грозно сгустились тучи над Калининградской областью, я молю Господа Бога: раскрой глаза русским, живущим здесь, не позволяй увлечь их сладкими байками о “ганзе”, вразуми их!

Да, нас хотят превратить в рабов, кто бы ни прибрал к рукам эту землю — “ганзейцы” или сионисты. Русским, а заодно украинцам, белорусам, татарам, живущим в Калининградской области, будет разрешено подметать улицы, перегружать сибирские лес, уголь, металл из вагонов на суда, но их не пустят в “Альбертину” (Кенигсбергский университет), в лицей и колледжи. В лучшем случае это будет позволено одной-двум сотням квислингов для того, чтобы заткнуть рот всем остальным.

То же самое будет, если хозяевами станут немцы. У них есть опыт использования на грязных, непрестижных работах турок и иных приезжих арбайтеров, а тут арбайтеры на месте — русские и прочие аборигены. Бери метлу, русские швайны, и не ропщи!

Против “ганзы”, против сионизма, против “немецкой автономии” нужно встать грудью и стоять насмерть. Россия не должна оставить своих сыновей в этой борьбе с ними один на один. Не приходится рассчитывать на помощь со стороны президента Ельцина и его окружения — с ним “ганза”, надо полагать, согласована, не зря “мудрецы” о с о б е н н о уповают на его поддержку своих планов. Но можно не сомневаться, что на нашей стороне будут симпатии всех русских людей, всех россиян, кому дороги честь и величие российского государства.

Но помочь можно лишь тому, кто сам борется. Главная сила в борьбе за то, чтобы Калининградская область была частью России, — сами калининградцы. Сплотившись, мы можем дать отставку тем, кто, стоя у рычагов управления областью, выворачивает ее тихой сапой на ганзейский ли, сионистский или германский путь, и привести к власти подлинных патриотов.

Если этого не произойдет, в центре Европы в ближайшие 20 — 30 лет, может быть, даже раньше, образуется зловещий нарыв, подобный ближневосточному. Миллионы людей — русских, немцев, прибалтов — будут ввергнуты в кровавую междоусобицу.

Не дай Бог!

ВАДИМ КОЖИНОВ

ЗАГАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ XX ВЕКА

Статья первая. "ЧЕРНОСОТЕНЦЫ" И РЕВОЛЮЦИЯ

3. НЕПРАВЕДНЫЙ СУД

Речь пойдет о суде над "черносотенцами", который длится уже почти девять десятилетий, — если не считать начавшегося намного ранее заведомо несправедливого суда над предшественниками "черносотенства" — славянофильством и Гоголем, "почвенничеством" и Достоевским и т. п. (С. Н. Булгаков с горечью говорил о том, как господствовавшие идеологи неукоснительно "отлучали" всех п р а в ы х, "причем среди этих отлученных оказались носители русского гения, творцы нашей культуры¹).

Прежде всего необходимо осознать одну — способную при должном внимании прямо-таки поразить — особенность сего суда: едва ли ни в с е его приговоры основываются в конечном счете не на каких-либо ре а л ь н ы х действиях, реальных преступлениях "черносотенцев", но на действиях, которые они — по мнению обвинителей — м о г л и б ы (если бы сложились благоприятные обстоятельства) совершить, или же — опять-таки по мнению обвинителей — н а м е р е в а л и с ь совершить.

Именно так ставится (и решается) вопрос, скажем, в охарактеризованной выше книге Г. З. Иоффе о "монархической контрреволюции" во время гражданской войны ("монархическое" предстает в книге как синоним "черносотенного"). Этот

историк, в отличие от многих других, не в ы д у м ы в а е т нужные ему факты, и потому в его книге н е т и р е ч и о каких-либо "злодействах" монархистов-"черносотенцев" в ходе войны 1918 — 1920 годов; они, согласно рассказу Г. З. Иоффе, только н а м е р е в а л и с ь получить в свои руки власть и уж тогда, мол, позлодействовать вволю. Главный смысл книги сводится, в сущности, к следующему эмоциональному тезису:

— Ах, сколь ужасно было бы, если бы "черносотенцы" оказались во главе Белой армии! Мороз по коже идет, как представишь себе, что бы они тогда натворили!

И в любом "античерносотенном" сочинении, исходящем из реальных, действительных фактов, постановка вопроса именно такова. Конечно, в других с о ч и н е н и я х (уже в ироническом значении этого слова: о некоторых из них еще будет речь) "черносотенные злодеяния" попросту в ы д у м ы в а ю т с я. Впрочем, в последнее время, когда фактическая история нашего столетия постепенно становится известной все более широкому кругу людей, чаще говорят уже не о будто бы совершившихся неслыханных злодействах "черносотенцев" (ибо ложь таких обвинений начинает обнаруживаться со всей очевидностью), но именно о "потенциальном", о "готовившемся" — в случае их прихода к власти —

беспрецедентном терроре и деспотизме.

Очень характерен в этом отношении рассказ того же Г. З. Иоффе об "Общероссийском монархическом съезде", созванном "черносотенцами" в мае 1921 года в немецком городке Рейхенгалле (то есть по сути дела уже в э м и г р а ц и и). От речи на этом съезде бывшего "черносотенного" депутата Н. Е. Маркова, объясняет нам Иоффе, "веяло угрозой кровавого разгула мрачной реакции. "Царь и плаха сделают дело, — писала "Правда" (30 августа 1921 г. — В. К.) о Рейхенгалльском съезде, — Царь и плаха на лобном месте ожидают русские трудящиеся массы в случае победы контрреволюции..."².

Этот "прогноз" особенно любопытен потому, что Иоффе не раз говорит в своей книге о принципиальном от к а з е Н. Е. Маркова и его единомышленников от участия в братоубийственной гражданской войне. Так, редактируемый Н. Е. Марковым журнал "Двуглавый орел" провозглашал в марте 1921 года: "Государь не решился начать междоусобную войну, не решился сам и не приказал того нам". Эти слова приведены Г. З. Иоффе (с. 59), и как-то еще можно его понять, когда он цитирует — в качестве "документа эпохи" — газету "Правда", которая пугала читателей "черносотенной" плахой на Лобном месте (на Красной площади), по своему невежеству полагая, что на этом "месте", с которого в XVI—XVII веках о б ъ я в л я л и народу правительственные указы (в том числе, естественно, и указы о казнях), будто бы устанавливалась когда-либо плаха... Да, "Правду" 1921 года все же можно понять и, как говорится, простить. Но ведь Г. З. Иоффе говорит об "у г р о з е кровавого разгула мрачной реакции" — то есть разгула "черносотенцев" — и лично от себя самого, хотя он как трудолюбивый историк не может не знать, что н и ч е г о подобного соответствующие партии н и к о г д а не предпринимали. В другом месте книги Г. З. Иоффе без обиняков утверждает, что "черносотенцы", мол, "в случае своей победы г о т о в и л и России кровавую баню" (с. 284).

Все подобные рассуждения о злодействах "черносотенцев" (если, конечно, историк не склонен выдумывать, фантазировать) строятся именно по этой модели: "угроза", "готовили", "могли бы". Тут опять-таки з а г а д к а: ведь вовсе не "черные", а красные и — в меньшей мере (хотя бы потому, что у них было меньше сил) — белые обрушили на Россию кровавейшие "разгулы" и "бани", и тем не менее с а м у ю опасную, с а м у ю пугающую "угрозу" и "готовность" усматривают почему-то именно в "черносотенцах", хотя они никак не отличились в подобного рода делах в ходе гражданской войны, которая и велась-то, как мы видели, между большевиками и — с другой стороны — кадетами и эсерами.

Но — скажут, конечно, мне — а как же я забываю о страшных событиях, совершавшихся еще до 1917 года — о "черном терроре", п о г р о м а х, да и обо всей кошмарной деятельности этих ужаснейших лидеров "черносотенных" партий — Маркова, Пуришкевича, Дубровина и т. п.?

Прежде всего следует еще раз повторить, что все, связанное с понятием "черносотенство", подверглось поистине ни с чем не сравнимому "очернению". Выше уже шла речь об опубликованной сравнительно недавно, в 1975 году, статье А. Латыниной о Розанове, где этот "черносотенец" (сие слово постоянно возникает в статье) характеризовался как — цитирую статью — "прожженный циник", "лжец", "изувер", "ханжа", "прислужник", "шовинист", "доносчик", "беспринципный предатель", "субъект", сводивший воспитание людей к "скотоводству"(!) и т. д., и т. п. Ныне, без сомнения, едва ли бы кто решился писать так о Розанове, ибо теперь всем ясно, что автор подобной статьи унижает самого себя, а не гениального мыслителя и писателя. Но, с другой стороны, теперь-то стараются как раз умалчивать о "черносотенстве" Розанова, хотя его п о л и т и ч е с к и е убеждения невозможно определить иначе.

Впрочем, тех, кто избегает слова "черносотенец", можно понять: ведь слово это по-прежнему несет в

себе совершенно одиозный смысл. Поистине замечательна в этом отношении обширная публикация в 14-м выпуске исторического альманаха "Минувшее" (1993), вышедшем в свет уже после сдачи в набор начальных глав этого моего сочинения, — публикация, озаглавленная "Правые в 1915 — феврале 1917. По перлюстрированным Департаментом полиции письмам".

Архивист Ю. И. Кирьянов тщательно подготовил к печати 60 сохранившихся в полицейском архиве копий "черносотенных" писем, среди авторов и адресатов которых — такие главенствовавшие лица, как А. И. Соболевский, К. Н. Пасхалов, В. М. Пуришкевич, Ю. А. Кулаковский (выдающийся историк античности и Византии), А. И. Дубровин, Н. Е. Марков, Д. И. Иловайский, Н. А. Маклаков, архиепископ Антоний (Храповицкий), П. Ф. Булацель, Г. Г. Замысловский, А. С. Вязигин (один из крупнейших русских историков католицизма) и др. Ю. И. Кирьянов, называя их "правыми", в самом начале своей вводной статьи ставит вопрос: "все ли правые периода войны были черносотенцами"? И далее говорит о "нежелании, по крайней мере, части самих правых прикосновения к черносотенству" (с.151).

Эти суждения по меньшей мере странны. Ведь даже в рамках публикуемой переписки далеко не самый "радикальный" деятель Русского собрания К. Н. Пасхалов недвусмысленно называет своих сторонников "представителями черносотенных групп" (с.171). И, кстати, именно Пасхалову принадлежат использованные Ю. И. Кирьяновым слова о неких робких единомышленниках, "боящихся прикосновения к "черносотенцам"..."(с. 187), и потому не явившихся на Нижегородский съезд, где Пасхалов председательствовал. Трусливых участников можно обнаружить в любом движении, но те лица, чьи письма опубликованы Ю. И. Кирьяновым, к таковым явно не относятся. И дело здесь в том, что сам Ю. И. Кирьянов, стремясь объективно представить публикуемую им переписку, вместе с тем опасается, — и, конечно же, не

без оснований — как бы его не атаковали за "сочувствие" к "черносотенцам", и поэтому предпринимает попытки отделить от них хотя бы часть героев своей публикации, которые, мол, всего только "правые".

А между тем среди этих героев — самые что ни на есть "махровые"... Но беспристрастный читатель не найдет в их переписке ровно ничего злодейского или хотя бы злонамеренного; основной тон писем — боль, мучительная боль, порожденная зрелищем неотвратимо катящейся в революционную бездну России...

Там не менее с момента возникновения "черносотенных" организаций и до сего дня о них говорят как об опаснейшей, чуть ли не апокалиптической силе, которая "готовилась", "могла бы" все и вся беспощадно уничтожить. Поддавшись этой мощной пропагандистской волне, даже С. Н. Булгаков (тогда еще, впрочем, весьма либеральный) писал в 1905 году о видном "черносотенце" В. А. Грингмуте, что он-де "хотел бы утопить в крови всю Россию"³. По всей вероятности, впоследствии, когда Булгаков тесно сблизился с задушевым другом В. А. Грингмута священником И. И. Фуделем, ему было попросту стыдно за эту свою нелепую фразу. Владимир Андреевич Грингмут с 1870 года преподавал древнегреческий язык и эстетику в одном из культурнейших учебных заведений, Катковском лицее, в 1894 — 1896 годах был директором этого лицея, а с 1896 года — редактором влиятельной тогда газеты "Московские ведомости". В апреле 1905 года В. А. Грингмут создал первую "черносотенную" организацию, которая получила название "Русская монархическая партия" (Союз русского народа возник лишь в ноябре, а Русское собрание, существовавшее еще в 1900 — 1901 годах, было не партией, а своего рода кружком, "клубом"; тот же характер носил и созданный в марте 1905 года Союз русских людей, где ведущую роль играл знаменитый историк Д. И. Иловайский, — знаменитый, в частности, и тем, что позже, в возрасте 87 (!) лет был

заключен во внутреннюю тюрьму ВЧК...).

Впрочем, В. А. Грингмут, хотя он и основоположник "черносотенства", как собственно политического (а не только идеологического) явления, известен мало, и стоит сказать лишь о том, что он не имел никакого отношения к чему-либо "кровавому". Гораздо более популярны имена Пуришкевича, Маркова (нередко его именуют "Марков-второй", поскольку был другой депутат Думы с этой же фамилией) и Дубровина. Все они предстают в массовом сознании в качестве своего рода уникальных воплощений зла, лжи и безобразия.

Но мы уже видели, как еще в 1975 году "принято" было "характеризовать" личность "черносотенца" В. В. Розанова. Разумеется, троица "черносотенных" лидеров никак не может быть поставлена рядом с гениальным мыслителем. Однако и превращение их в неких чудовищ не имеет под собой никаких реальных оснований. Пуришкевич, Марков и даже более "сомнительный" Дубровин по своим человеческим и политическим качествам ничем не хуже — хотя, быть может, и не лучше — лидеров других партий своего времени.

Это становится очевидным при обращении к свидетельствам любого современника, способного хоть в какой-то мере быть объективным. Вот, скажем, мемуары французского посла Мориса Палеолога. Он внимательнейшим образом изучал политическую жизнь России накануне Февраля и при этом всецело сочувствовал, разумеется, либеральным, — "западническим", — деятелям. Но поскольку сам он не вел той непримиримой борьбы с "черносотенцами", которая определяла сознание российских либералов, Палеолог смог оценить В. М. Пуришкевича в следующих словах: "Пуришкевич ... человек идеи и действия. Он поборник православия и самодержавия. Он с силой и талантом поддерживает тезис: "Царь — самодержец, посланный Богом"... пылкое сердце и скорая воля..."⁴ И даже прямой противник Пуришкевича, член ЦК кадетской партии В. А. Маклаков через много

лет так определил его "основную черту: ею была не ненависть к конституции или Думе, а пламенный патриотизм"⁵.

Ясно, что эти характеристики несовместимы с той зловещей и отвратной личиной, которую надевают до сих пор на Владимира Митрофановича Пуришкевича. С точки зрения политической культуры и Пуришкевич, и Марков — кстати сказать, сын по-настоящему значительного, но замалчиваемого из-за его последовательного консерватизма писателя и публициста Евгения Маркова (1835—1903), — в сущности ничем не уступали ни Милюкову, ни, тем более, таким лицам, как Керенский или лидер эсеров Чернов.

Ниже уровнем был третий лидер "черносотенцев" — врач А. И. Дубровин: "Говорил он некрасиво, — свидетельствовал современник, — но с огромным подъемом, что действовало на простых людей, из которых и состояло большинство членов Союза русского народа"⁶. Этот "демократизм" и выдвинул Дубровина в председатели Союза русского народа.

Один из главных способов конструирования крайне негативного "образа" Дубровина и других "черносотенных" лидеров основан на беспардонном приеме "двойного счета": то, что "прощается" левым (или даже вообще не замечается в них), вменяют в тяжелейшую вину правым. Вот весьма яркий образчик применения такого счета.

Существует версия, согласно которой Дубровин был "вдохновителем" или даже прямым инициатором пяти совершенных в 1906—1908 годах террористических актов (против С. Ю. Витте, М. Я. Герценштейна, П. Н. Милюкова, Г. Б. Иоллоса и А. Л. Караваева). Его руководящая роль в этих актах не была неоспоримо доказана, но допустим даже, что Дубровин в самом деле направлял действия политических убийц. Исходя из этого (повторяю, не имеющего стопроцентной достоверности) факта, известный специалист по истории Революции Л. М. Спирин писал в 1977 году: "Нравственные качества Дубровина были ниже всякой кри-

тики. Да можно ли вообще говорить о нравственных качествах человека, который организовывал политические убийства? Дубровин был темной и весьма зловещей фигурой на политической арене, порожденной "гнусной российской действительностью"..."⁷

В этих риторических фразах историк продемонстрировал абсолютно неправдоподобную наивность: ведь не может же он, в самом деле, не знать, что левые, революционные партии осуществляли в те же годы поистине беспрецедентный по масштабам политический террор; специально изучавший этот "сюжет" историк С. А. Степанов сообщал в 1992 году, что, согласно всецело достоверным сведениям, "в ходе первой русской революции только эсеры, эсдеки (социал-демократы) и анархисты убили более 5 тысяч (!) правительственных служащих"⁸, — а убивали тогда вовсе не только правительственных служащих. Для иных тогдашних партий — например, эсеров-максималистов — политические убийства вообще являлись главным или даже единственным "делом". Притом в данном случае факты совершенно бесспорны; чаще всего сами террористы горделиво сообщали о своих "достижениях" по части политических убийств. Между тем Л. М. Спирин, как и множество его коллег, делает вид, что политические убийства были именно и только черносотенной затеей...

Стоит добавить еще, что все вообще действия "черносотенцев" представляли собой "ответ" на совершенные ранее акции левых партий, — притом ответ гораздо, даже несоизмеримо менее сильный (скажем, всего несколько террористических актов, в то время как левые совершали их тысячами).

И уж, конечно, в среде "черносотенцев" не только не имелись, но и были просто немыслимы такие фигуры беспощадных профессиональных убийц, как эсер Савинков (которого до сих пор представляют в романтическом ореоле!), не говоря уж о его многолетнем друге, патологическом убийце-provокаторе Азефе (Азеве).

В 1909 году, когда первая рево-

люционная волна уже улеглась, видный левый кадет (и не менее видный деятель российского масонства) В. П. Обнинский подвел итог предшествующим событиям в обширном сочинении "Новый строй". Он не мог не признать здесь, что "черносотенные" партии образовались исключительно ради сопротивления красносотенным и предстали как (по его определению) "заимствовавшие у последних большую часть тактических приемов"⁹.

Кадет этот в своем рассказе вынужден был так или иначе отмежеваться от левых партий, погрязших в своем безудержном терроре и постоянном провоцировании всяческих бунтов и беспорядков. В. П. Обнинский осмелился даже сказать о "легендарном" предводителе восстания на Черноморском флоте в 1905 году лейтенанте Шмидте следующее: "...это был человек с весьма поколебленной психикой, если не душевнобольной... В любой момент он готов был выступить в качестве главаря военного бунта" (с. 83). Тем не менее из Шмидта все же сделали чуть ли не "спасителя" России, и сбитый с толку Борис Пастернак сочинил о нем восторженную поэму...

Впрочем, здесь перед нами встает еще один вопрос: что ж, левые партии в самом деле вели себя гораздо хуже "черносотенных", но зато этого не скажешь о центристских партиях — о кадетях и октябристах (вот ведь даже и Шмидтом кадет — к тому же левый — отнюдь не восхищается)?

Кадеты и октябристы, в самом деле, не причастны прямо и непосредственно к тому жесточайшему кровавому террору, который обрушили на Россию "леваки". Но, как мы увидим, они в 1905—1908 годах всячески поддерживали левых террористов, и не случайно возник тогда афоризм, согласно которому эсеры — это те же кадеты, но с бомбой... Сейчас у нас не принято восхвалять эсеров, но зато начал создаваться своего рода культ кадетов. Между тем политическое поведение последних в известном смысле было даже более безнравственным, нежели левых...

В высшей степени показателен в этом отношении эпизод из написанных много лет спустя "Воспоминаний" лидера кадетов П. Н. Милюкова. Он рассказывает о том, как в марте 1907 года Председатель Совета Министров П. А. Столыпин предложил Государственной Думе:

"Выразите "глубокое порицание и негодование всем революционным убийствам и насилиям". Тогда вы снимете с Государственной Думы обвинение в том, что она покровительствует революционному террору, поощряет бомбометателей и старается им предоставить возможно большую безнаказанность". "Черносотенные" депутаты (коих пытались объявить пособниками террора) тут же, по словам Милюкова, "внесли предложение об осуждении политических убийств", заметив при этом: "Ведь очевидно же, что к.-д.(кадеты. — В. К.) не могут одобрять убийств". Столыпин в "доверительной беседе" сказал Милюкову то же самое. Но..."я стал объяснять, — вспоминает далее Милюков, — что не могу распоряжаться партией... Столыпин тогда поставил вопрос иначе, обратившись ко мне уже не как к предполагаемому руководителю Думы, а как к автору политических статей в органе партии — "Речи". "Напишите статью, осуждающую убийства; я удовлетворюсь этим". Должен признать, что тут я поколебался... Я сказал тогда, что должен поделиться с руководящими членами партии... Прямо от Столыпина я поехал к Петрункевичу. Выслушав мой рассказ, старый наш вождь... страшно взволновался: "Никоим образом! Как вы могли пойти на эту уступку хотя бы условно?.. Нет, никогда! Лучше жертва партией, чем ее моральная гибель..." (Под жертвой имеется в виду возможный запрет кадетской партии за ее фактическую поддержку терроризма; кстати, запрет этот, без сомнения, Столыпин вовсе не планировал.)

И Милюков наотрез отказался осудить бесчисленные убийства и насилия красносотенцев, хотя в то же самое время он не жалел проклятий в адрес "черносотенных" террористов.

Как мы видим, в этих поздней-

ших "Воспоминаниях" Милюков в известной мере пытается снять с себя сей "грех", перенося его на непримиримого кадетского старейшину И. И. Петрункевича, который усматривал в предложенном Столыпиным осуждении повседневного кровавого террора красносотенцев ни много ни мало "моральную гибель" для партии кадетов... Поистине замечательно выразившееся здесь представление о "морали"! Кадеты впоследствии проклинали за аморальность большевиков, но, как выясняется, они были едины с ними в своей уверенности, что все совершаемое против существующей власти в конечном счете всецело "морально" (выше приводились могущие показаться парадоксальными слова С. Н. Булгакова о внутреннем "единстве" кадетов и большевиков).

Но напрасно Милюков тщился задним числом свалить "вину" на Петрункевича; мы еще убедимся в полнейшей безнравственности важнейших политических акций самого Милюкова. Теперь же следует вдуматься в дальнейший ход рассказа из мемуаров Милюкова. Вспоминая серию своих тогдашних статей, Милюков несколько неуклюже писал: "...читатель может прочесть, с какой настойчивостью я продолжал аргументировать точку зрения на невозможность для партии сделать необходимый для Столыпина жест (то есть осудить левый террор; дело шло, конечно же, не о некоем личном желании Столыпина, а о судьбах России... — В. К.)... И я с особым усердием принялся обличать "заговорщиков справа"...", то есть "черносотенцев".

И далее Милюков вспоминает, что тогда же, весной 1907 года, возмущенные таким — надо прямо сказать, наглым — двойным счетом "правые террористы обратили на меня свое специальное внимание... нагнал меня на Литейном проспекте молодой парень и нанес мне сзади два сильных удара по шее, сбив с меня котелок и разбив пенсне. Я спокойно наклонился, чтобы поднять то и другое... к вечеру того же дня мне сообщили, что покусившийся был нанят доктором Дубровиным с поручением нанести удар, после

которого я не встану". Затем Милюков сообщает еще следующее: "...ко мне явились несколько агентов, посланных правительством для охраны моей личности"¹⁰.

Все это в высшей степени многозначительно. Во-первых, оказывается, что правительство, несмотря на возмутительное поведение Милюкова, не желающего хотя бы на словах осудить кровавый массовый террор левых, самым благородным образом дает ему охрану от правого террора. С другой стороны, сам этот террор ("два удара по шее") предстает как в общем-то не очень уж жестокое наказание за двойную милюковскую мораль (проклятия по поводу трех-четырех акций правых и полное молчание о массовом терроре левых); предположение Милюкова, согласно которому "парень", подсланный, по слухам, Дубровиным, плохо выполнил поставленную перед ним задачу — это всего лишь предположение, и, кстати сказать, левые-то террористы всегда располагали превосходным оружием и мощными взрывными устройствами.

Впрочем, к судьбе и роли Милюкова и его сотоварищей в Революции мы еще вернемся. Пока же продолжим разговор о соотношении обликов либеральных и "черносотенных" лидеров. Последние изображаются как прямо-таки непристойные типы, беспардонные хамы и хулиганы, решительно отличающиеся от сугубо "добропорядочных" либеральных вожakov. Особенно это касается наиболее известных "черносотенных" депутатов Государственной думы — Н. Е. Маркова и В. М. Пуришкевича.

Оба они явно были очень, даже слишком экспансивными людьми, на что касается "хамства" в собственном смысле слова, оно характерно для большинства тогдашних активных депутатов Думы, принадлежавших к самым разным фракциям. Это объяснялось, в частности, тем, что парламентаризм представлял тогда явление совершенно для России новое, и его "цивилизованные" формы далеко еще не отшлифовались. Приведу характерный пример из исследования уже упоминавшегося современного историка

А. Я. Авреха "Царизм и IV Дума" (М., 1981). Историк этот крайне непримиримо относился к "черносотенцам", но тем не менее не стал в данном случае игнорировать факты.

Он рассказывает, в частности, как 13 мая 1914 года один из депутатов "октябрист (а не "черносотенец". — В. К.) Н. П. Шубинский совершенно сознательно и хладнокровно спровоцировал крупный скандал. В свое время газета "Земщина" ("черносотенная" — В. К.) выступила со статьей, в которой доказывала, что "Речь" (кадетская, под редакцией П. Н. Милюкова. — В. К.) получает огромные суммы из Финляндии, которые идут на содержание кадетской партии (ибо она поддерживала стремление Финляндии получить независимость. — В. К.)... За несколько дней до выступления Шубинского состоялся судебный процесс, который... окончился полным оправданием "Земщины" (то есть было установлено, что финны действительно финансируют кадетов, а это являло собой — при всех возможных оговорках — заведомо безобразный факт. — В. К.). Этим фактом и воспользовался Шубинский. Взяв под защиту одну из самых гнусных черносотенных организаций — киевский "Двуглавый Орел", — продолжает свой (весьма, как видим, эмоциональный) рассказ А. Я. Аврех, — он (Шубинский. — В. К.) выразил притворное удивление по поводу якобы совершенно несправедливой критики в его адрес: "Вот, если бы вы обнаружили, что у "Двуглавого Орла" есть своя контора, что в этой конторе есть конторщик... на имя которого пачками переводятся откуда-нибудь громадные денежные суммы..." Намек был достаточно прозрачен (правые встретили его аплодисментами и криками "Браво"); оратора прервал Милюков, закричавший "М е р з а в е ц". В ответ Пуришкевич з а в о п и л (а не "закричал", как Милюков; это уже тенденциозность Авреха. — В. К.), что Милюков — "Скотина, сволочь, битая по морде" (речь шла об описанных выше "ударах по шее" на Литейном проспекте, которые, следовательно, предстают не как попытка убийства, а именно как н а-

казание Милюкова за двурушническую политику. — В. К). Шубинский, в свою очередь, отпарировал: "Плюю на мерзавца". Дальше последовала реплика Керенского в адрес того же Шубинского: "Н а г л ы й л г у н", возглас Милюкова: "Н е г о д я й", реплика Пуришкевича: "Шубинский, bravo". Председательствовавший А. И. Коновалов предложил всем четырех за употребление непарламентских выражений исключить на одно заседание... Милюков, Керенский и Пуришкевич были исключены, а исключение Шубинского отклонено... Против предложения председательствующего демонстративно проголосовала часть октябристов" (с. 136 — выделено мною. — В. К.) Ведь вначале Шубинский только сообщил ф а к т ы, за что был обруган и уж тогда ответил тем же...

Итак, и кадет (к тому же именно он начал "непарламентский" обмен любезностями), и "черносотенец", и октябрист, и трудовик (Керенский) вполне стоят друг друга. Когда говорят о "хулиганстве" думских "черносотенцев", очередной раз применяют прием двойного счёта: что позволено Милюковым, то мол, не позволено Пуришкевичам.

Между прочим, точно такая же фальсификация была присуща ныне, в 1992—1993 годах "освещению" работы Верховного Совета и Съездов депутатов в проправительственных средствах массовой информации. Так, например, постоянно воспроизводилась на телеэкранах сцена драки перед столом президиума на одном из Съездов, — сцена, призванная показать "уровень" депутатского корпуса. И только немногие внимательные телезрители отдавали себе отчет в том, что драчун-то был один (другие депутаты только отгораживались ладонями от его натиска) — и был это самый что ни на есть "р а д и к а л ь н ы й д е м о к р а т" тов. Шабад. А между тем сию сцену сумели интерпретировать как разоблачение прискорбных качеств "консервативного" большинства депутатского

корпуса (впрочем, о соотношении парламента и правительства до Революции и сегодня мы еще будем говорить).

Милюков и либералы вообще трактуются как люди, свысока презиравшие "черносотенцев", прямо-таки страдавшие от необходимости находиться в ними в одном зале заседаний и т. п. В действительности это "презрение" было только политической позой, которая свободно заменялась иной, когда такая замена оказывалась выгодной. Так, в другом исследовании того же А. Я. Авреха, "Распад третьей и юньской системы" (М., 1985), показано, что всего лишь через десяток недель после только что описанного громкого скандала, 26 июля 1914 года — в условиях начала войны — Милюков и Пуришкевич, эти (цитирую Авреха) "недавние непримиримые враги" церемонно представились друг другу и обменялись рукопожатиями. "Знакомство" состоялось. Оно оказалось весьма символичным: вся последующая деятельность кадетов прошла под знаком этого рукопожатия" (с. 11).

В отличие от А. Я. Авреха, я считаю правильным "перевернуть" последнюю формулировку и сказать: вся последующая деятельность Пуришкевича "прошла под знаком" этого рукопожатия, и в конечном счете Пуришкевич оказался п о с о б н и к о м Милюкова (смысл этого утверждения прояснится ниже).

Стоит коснуться еще одного сюжета. Обосновывая резко негативную оценку "черносотенных" лидеров, весьма часто напоминают о том, что они и с а м и были склонны крайне критически отзываться друг о друге; это преподносится как своего рода неопровержимое доказательство их несостоятельности. Однако в сфере политики — во всяком случае, российской политики — подобное "взаимопоедание" близких, казалось бы, друг другу людей выступает как типичнейшее явление. Лидер будто бы вполне благопристойных октябристов А. И. Гучков считал, например, допустимым заявлять, что "в Союзе 17 октября (то есть в возглавляемой им партии. — В. К.) девять десятых — сволочь, ничего общего с целью Союза не имеющая"¹¹.

Но обратимся непосредственно к проблеме “черносотенного” террора. Совсем недавно вышло в свет, по сути дела, первое по времени исследование о “черносотенцах”; публиковавшиеся ранее книги и статьи были только пропагандистскими “разоблачениями”, а не плодами действительного изучения предмета.

Речь идет об уже упоминавшейся книге С. А. Степанова “Черная сотня в России (1905 — 1914)”, изданной в Москве в 1992 году (ранее, в 1981 году, в Якутске вышла его книга “Банкротство аграрной программы черносотенных союзов”). Сочинение С. А. Степанова отнюдь не свободно от заведомой тенденциозности, от набивших оскомину штампов и заклинаний; начав работу над своей темой еще в 1970-х годах, историк и позднее не смог преодолеть давно сложившиеся стереотипы. Но так или иначе С. А. Степанов все же изучает факты и стремится сделать выводы именно из фактов, а не из предвзятых — нередко чисто клеветнических — “мнений”.

С. А. Степанов, в частности, самым тщательным образом исследовал печатные и особенно архивные материалы, касающиеся террористической деятельности “черносотенцев”; этому посвящен целый раздел его книги, который так и озаглавлен — “Черный террор”. И выясняется, что, во-первых, правые террористические акты начались только летом 1906 года, когда на счету красносотенных террористов имелись уже многие сотни политических убийств; далее, “черносотенцам” можно приписать всего лишь три убийства и одно неудавшееся покушение на убийство; что, наконец, даже эти четыре террористических акта не вполне ясны и оставляют по меньшей мере странное впечатление.

Нелишне будет отметить, что повторяемые в различных изданиях утверждения, согласно которым большевики Ф. А. Афанасьев и Н. Э. Бауман были будто бы убиты “черносотенцами”, имеет, так сказать, метафорическое значение; ведь оба

эти убийства произошли во время стихийных массовых беспорядков в октябре 1905 года, а первая имевшая отношение к террору “черносотенная” организация — Союз русского народа — только начала формироваться в ноябре. И поэтому говорить о действительном “черносотенном” терроре уместно лишь применительно к 1906-му и последующим годам. Характерно, что стремящийся к объективности А. С. Степанов упоминает о гибели Баумана и Афанасьева не в главе “Черный террор”, а в рассказе о “неорганизованных” столкновениях взбудораженных царским манифестом 17 октября 1905 года человеческих толп.

Когда же начался реальный “черный террор”? 18 июля 1906 года в Териоках под Петербургом был двумя выстрелами из револьвера убит кадетский депутат Думы М. Я. Герценштейн. Весьма осведомленный лидер партии националистов (которая, будучи близка к “черносотенцам”, все же не разделяла целый ряд важнейших их устремлений) В. В. Шульгин убедительно объяснил впоследствии причину особой ненависти правых к Герценштейну:

“Говоря об аграрном вопросе в 1-й Государственной Думе... Герценштейн произнес неосторожное слово, которое ему стоило жизни... В то время “освободителям” удалось поднять в некоторых губерниях волну так называемых “аграрных беспорядков”, то есть попросту волну погромов (выделено мною. — В. К.) помещичьих усадеб. Погромы эти иногда сопровождались насилиями и убийствами, но еще чаще заканчивались поджогами... пылали эти “дворянские гнезда”, из которых вылупилась вся культура России. “Освободители” 1905 года очень хорошо понимали, что... помещное землевладение... составляет один из оплотов Исторической России... Вот такие сцены Герценштейн назвал в своей речи “иллюминациями”. Слово это болезненно прокатилось по всей России... многие прекрасно поняли: то, что для одних тяжкая трагедия... то другим (то есть “освободителям”) доставляет явную или плохо скрываемую ра-

дость. В результате Герценштейн был убит кем-то из-за угла. Кем, не удалось установить (выделено мною — В. К.), но в причине, толкнувшей убийцу на месть, не приходится сомневаться"¹².

С. А. Степанов в своей книге подтверждает, что (цитирую) "осталось неизвестным, кто конкретно дал приказ убрать депутата, который был главным экспертом кадетской партии по аграрному вопросу" (с.153; хорош, кстати сказать, этот эксперт, по существу "одобrivший" варварское уничтожение культурных хозяйств России!).

Начальник Петербургского охранного отделения в 1906—1908 годах полковник А. В. Герасимов в своих написанных в эмиграции воспоминаниях ¹³ утверждал, что убийство М. Я. Герценштейна было организовано не Союзом русского народа — хотя его члены, возможно, и принимали какое-то участие в этой акции, — но ни много ни мало тогдашним петербургским градоначальником В. М. фон дер Лауницем, который ранее, до начала 1906 года, был тамбовским губернатором и столкнулся с крайне разрушительными "аграрными беспорядками" — этими самыми герценштейновскими "иллюминациями". И не исключено, что именно он "мстил" депутату. Революционеры, в свою очередь, вскоре отомстили Лауницу: 3 января 1907 года он был убит террористической группой Зильберберга.

Словом, история убийства Герценштейна не очень уж ясна. Более четко и подробно известны две другие террористические акции, связанные с "черносотенцами".

Через полгода после убийства Герценштейна, 29 января 1907 года, принадлежавший к Союзу русского народа рабочий-кузнец А. Е. Казанцев организует закладку двух бомб (которые, впрочем, были тут же обнаружены виттевским истопником) в дымоход квартиры бывшего премьер-министра С. Ю. Витте, считавшегося либералом. А 14 марта Казанцев руководит убийством (четырьмя выстрелами из револьвера) недавнего кадетского депутата Думы, редактора либеральной газеты "Русские ведомости" Г. Б. Иоллоса.

Но вот что поистине удивительно: осуществляют о б ѐ эти акции — под руководством "черносотенца" Казанцева — трое рабочих-революционеров, один из которых, С. С. Петров, ранее побывал даже членом Петербургского совета рабочих депутатов! Выдав себя за эсера-максималиста, Казанцев убедил этих людей, что Витте — опасный враг революции, а Иоллос — презренный изменник. Революционные рабочие поверили ему и выполнили его "заказы", но вскоре, в мае 1907 года, узнав об обмане, закололи кинжалом уже самого Казанцева...

Но почему же Казанцев воспользовался — заведомо рискуя жизнью! — услугами революционных, а не "черносотенных" террористов? С. А. Степанов в своей книге высказывает предположение, что это было-де реализацией "хитроумного плана", что "черносотенцы", мол, "пытались одним выстрелом убить двух зайцев", то есть уничтожить своих врагов и вместе с тем "спровоцировать полицейские репрессии" против революционеров (с.155).

Однако это явно и абсолютно несостоятельное предположение, ибо, конечно же, никто не поверил бы, что убийство того же Иоллоса предпринято революционерами...

Действительную разгадку этой истории дает, между прочим, сам С. А. Степанов, но в другом месте своей книги, где он сообщает, что "черносотенец" А. Александров "вербовал боевиков среди бывших эсеров и социал-демократов", так как "по личному опыту убедился, что из них выходят лучшие работники" (с.144; приведены слова самого Александра). И в самом деле: Казанцеву крайне трудно было бы подобрать "надежных" убийц из своей среды, ибо "черносотенцы" — особенно принадлежавшие к "простому народу" — в большинстве своем были люди прежде всего б о г о б о я з н е н н ы е, сохранившие традиционные нравственные устои, и могли в любой момент отказаться от совершения убийства безоружного человека. Конечно, как говорится, в семье не без урода, но тем не менее тот "революцион-

ный" культ убийств, который определял сознание эсеров, анархистов, эсдеков и т. п., был совершенно не характерен для "черносотенцев".

Вот многозначительная сцена столкновения "черносотенцев" с красносотенцем: "...в Иваново-Вознесенске черносотенцы потребовали у большевика В. Е. Морозова снять шапку перед царским портретом (что было общепринятым тогда обычаем. — В. К.). В ответ В. Е. Морозов назвал царя сволочью, прострелил портрет и убил двух портретоносцев и сам был избит до полусмерти (вот именно "полу"! — В. К.). Феноменальная физическая сила позволила В. Е. Морозову выжить, но с больничной койки он отправился прямо на десятилетнюю каторгу"(с. 58). Это свидетельство товарища Морозова по партии, И. Косарева, прямо-таки бесподобно: нам предлагают всей душой возмутиться столь жестоким и несправедливым приговором — за всего только двух убитых людей целых десять лет каторги!.. А ведь "черносотенцы", оказывается, даже не смогли убить наглейшего убийцу, который стал стрелять в ответ на предложение снять шапку...

Но завершим тему "черного террора". Кроме убийства Герценштейна (в 1906 году) и Иоллоса (в 1907 году) "черносотенцы", как полагают, убили еще бывшего депутата Думы трудовика А. Л. Караваева (в 1908 году), но, — заключает в своей книге С. А. Степанов, — "от длинного списка (что это был за "список", он не объясняет. — В. К.) намеченных террористических актов пришлось отказаться" (с. 158). Итак, красносотенцы и не думали отказываться от тысяч "намеченных" убийств, а "черносотенцам" — пришлось остановиться на третьем по счету... Это можно понять только в том смысле, что "черносотенцы" ни в коей мере не были "г о т о в ы" к "кровавой бане", никак не "м о г л и б ы" (см. выше) "утопить в крови всю Россию", — в отличие или, вернее, в противоположность красносотенцам.

Однако совершенно мизерный в сравнении с красносотенным, являющийся лишь ничтожным о т в е т о м на него, "черный террор"

1906—1907 годов был раздут либеральными и левыми кругами до гигантских масштабов, о чем писал, в частности, В. В. Шульгин, констатируя, что о двух убитых евреях — Герценштейне и Иоллосе — "российская печать кричала куда больше, чем о сотнях и тысячах в эту же эпоху убитых русских"¹⁴.

Выразительна сцена на заседании Государственной Думы в 1907 году: "Взошедший на трибуну Пуришкевич взволнованно сообщил: "Я получил телеграмму из Златоуста о том, что там убит председатель Союза русского народа (с м е х слева)... К каким бы партиям мы ни принадлежали, Государственная Дума, как высшее законодательное учреждение, не смеет откладывать рассмотрение подобного рода вопросов" (шум). Председатель (кадет Ф. А. Головин. — В. К.): "Я призываю вас к порядку". Пуришкевич: "Я призываю к порядку Думу"¹⁵.

Сцена говорит сама за себя; особенно характерно, что даже и обязанный соблюдать объективность председатель Думы призывает к порядку не смеющихся по поводу очередного убийства левых, а депутата, поднявшего голос против непрерывных революционных убийств. Совсем по-иному вела себя Дума, когда речь заходила о двух-трех убийствах либеральных деятелей... Под редакцией В. М. Пуришкевича издавалась задуманная в виде целого ряда томов "Книга русской скорби" — собрание некрологов об убитых левыми террористами людях. Но и эту книгу либеральное большинство встретило смехом или в "лучшем" случае — равнодушием...

★ ★ ★

Впрочем, наверняка найдутся читатели, спешащие напомнить мне о п о г р о м а х тех лет, которые — хотя они не были террором в прямом, собственном смысле слова, — приводили к многочисленным жертвам. А погромы, как это "общеизвестно", организовывали "черносотенные" партии... Вопрос о погромах достаточно сложен, запутан и требует подробного обсуждения, к которому мы еще специально обратимся. Теперь же следует подвести итоги

разговора об "облике" главных партий эпохи Революции.

Уже не раз шла речь о необоснованном, хотя и общепринятом, противопоставлении "черносотенных" лидеров, превращенных в неких чудовищ, и благопристойных кадетских и октябристских лидеров. Так, в последнее время в ряде сочинений нарисован очень симпатичный образ лидера октябристов А. И. Гучкова (1862—1936); по этому пути пошел даже серьезнейший историк Революции — В. И. Старцев. В предисловии к книге "Александр Иванович Гучков рассказывает..." (М., 1993) он, в частности, не без восхищения очерчивает вехи романтически-авантюрной биографии Гучкова: "Еще совсем молодым человеком он совершил рискованное путешествие в Тибет, посетил далай-ламу. Служил в Забайкалье, в пограничной страже, дрался на дуэли. Во время англо-бурской войны мы видим Гучкова на юге Африки, где он сражается на стороне буров, побывал в плену у англичан. В 1903 году — Гучков в Македонии, где вспыхнуло восстание против турок. Во время русско-японской войны он снаряжает санитарный поезд и отправляется на Дальний Восток в качестве уполномоченного Красного Креста, попадает в плен к японцам..." (с. 4.). Далее говорится о Гучкове как о "пламенном патриоте" (впрочем, кадет В. А. Маклаков, как мы видели, определил этими словами не Гучкова, а Пуришкевича).

Безусловно, все это не могло не вызывать у русских людей глубокой симпатии к личности Александра Ивановича. И опираясь на сию симпатию, Гучков завоевал себе роль одного из ведущих политических деятелей страны и, в частности, репутацию высшего авторитета в военных делах; после Февраля он вполне закономерно стал военным министром.

Впрочем, борьбу за этот пост он начал намного раньше, и не нашел лучшего способа свержения военного министра (с 1909 по 1915 год) В. А. Сухомлинова как объявить его германским шпионом (или хотя бы прямым пособником шпионов). После долгих усилий Гучкову и его сподвижникам удалось это сде-

лать, и Сухомлинов в марте 1916 года оказался в заключении. После шести месяцев безуспешного следствия его отправили под домашний арест, но при Временном правительстве он был снова арестован и осужден на пожизненную каторгу. Только в 1960-х годах историки доказали полнейшую безосновательность гучковских обвинений в адрес Сухомлинова.

Важно осознать, что позднейшие события как бы затмили неслыханную дикость разыгранного Гучковым "шпионского" фарса. Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Эдвард Грей, узнав об аресте Сухомлинова, с возмущенной иронией заявил посетившим Лондон либеральным депутатам Думы: "Ну и храброе у вас правительство, раз оно решается во время войны судить за измену военного министра..."¹⁶.

В действительности правительство было вынуждено подчиниться мощному давлению со стороны Гучкова и его сторонников. А "храбрость" на самом деле представляла собой вопиющую политическую безответственность. Не исключено, что сам Гучков был уверен в измене министра; однако объявлять об этом (не имея неоспоримых доказательств) в о в р е м я в о й н ы мог именно и только совершенно безответственный политик.

Но обвинение Сухомлинова в измене было, увы, только началом. 1 ноября 1916 года Милюков, идя по стопам Гучкова, произнес в Думе знаменитую речь, обвиняющую в измене уже и председателя совета министров, и даже самое императрицу...

Опираясь на заведомо сомнительные "свидетельства" (прежде всего германскую прессу, которая, конечно же, не стала бы разоблачать своих столь высокопоставленных шпионов, если бы они действительно имелись), Милюков рассуждал о различных "действиях правительства" и — как он сам позднее вспоминал (цитирую) — "в каждом случае предоставлял слушателям решить, "глупость" это "или измена". Аудитория решительно поддержала своим одобрением второе толкование — даже там, где

сам я не был в нем вполне уверен. Эти места моей речи особенно запомнились и широко распространялись... Осторожно, но достаточно ясно поддержал меня В. А. Маклаков. Наши речи были запрещены для печати, но это только усилило их резонанс. В миллионах экземпляров они были размножены... и разлетелись по всей стране. За моей речью утвердилось репутация штурмового сигнала революции. Я этого не хотел..." (выделено мною. — В. К.)¹⁷

Это, в сущности, всецело пошлое рассуждение, ибо ведь не настолько же глуп был Милюков, дабы не понимать, что речь его совершенно неизбежно будет воспринята в тогдашних условиях именно и только как обвинение высшей власти в тягчайшем из всех возможных преступлений... И с нераскаянностью подлеца он спокойно, как бы между прочим, сообщает, что совершенно сознательно "предоставлял" слушателям (и, далее, читателям) решать, не "измена" ли это, — даже по поводу таких "действий", в изменнической сущности сам он, видите ли, "не был вполне уверен".

Совершенно ясно, что в глазах Милюкова любые средства были хороши для осуществления его заветной цели: уничтожить в России историческую власть и сесть самому на ее место. Для окончательного подтверждения истинности этого приговора, выносимого Милюкову, следует сказать еще и о том, что всего через полтора года после своей речи об измене, о сговоре власти с Германией сам Милюков призвал германскую армию оккупировать Россию!..

В мае 1918 года, находясь в занятии германской армией Киеве, Милюков (это показала, в частности, современный историк Н. Г. Думова) принял решение "убедить немцев занять Москву и Петербург", ибо для них "выгоднее иметь в тылу не большевиков... а восстановленную с их помощью и, следовательно, дружественную им Россию". К чести большинства членов ЦК кадетской партии, они категорически отвергли сей милюковский план возвраще-

ния кадетов к власти. Член кадетского ЦК князь В. А. Оболенский заявил Милюкову: "Неужели вы думаете, что можно создать прочную русскую государственность на силе вражеских штыков? Народ вам этого не простит..." Лидер кадетов "холодно пожал плечами. "Народ? — переспросил он. — Бывают исторические моменты, когда с народом не приходится считаться". Другой — весьма, кстати, левый — кадетский лидер, юрист М. Л. Мандельштам, совершенно точно сформулировал правовую оценку поведения Милюкова: "Призыв врагов на территорию отечества есть преступление, которое карается смертной казнью".

Итак, Милюков, нагло приписывавший измену Родине высшим носителям российской исторической власти, сам, как оказывается, осуществлял реальную, действительную измену. В июне 1918 года он вступил в прямой контакт с начальником немецкой контрразведки Гаазе; своего рода жестокая ирония судьбы состояла в том, что под именем Гаазе фигурировал великий герцог Эрнст-Людвиг Гессенский и Рейнский — старший брат российской императрицы Александры Федоровны — той самой, которую Милюков всего полтора года назад обвинял в изменнической деятельности в пользу Германии... Преступные махинации Милюкова, слава Богу, в конце концов вызвали решительный протест кадетской партии, и он вынужден был уйти (фактически был изгнан) с поста председателя ее ЦК, который занимал в течение более десяти лет.

Нельзя не сказать еще и о том, что гучковско-милюковское обвинение высшей власти в измене и шпионаже не только явилось пусковым механизмом Февральской революции, но и имело далеко идущие тяжкие последствия. Это обвинение было вполне доступно сознанию любого солдата, рабочего и крестьянина и, овладевая этим сознанием, обретало поистине страшную разрушительную силу. "Оружие", сконструированное Гучковым и Милюковым, было затем, в октябре 1917 года, успешно использовано большевиками, обвинивши-

ми Керенского в намерении сдать Петроград германской армии. Обвинение опять-таки являлось абсолютно безосновательным, — и даже не потому, что Керенский не был способен на предательство, а потому, что он (как это давно выяснено) был фатально связан политической — в частности, масонской — клятвой с врагами Германии и, даже ясно сознавая г и б е л ь н о с т ь продолжения войны для своей собственной власти, все же никак не мог прекратить войну.

Тем не менее именно обвинение в “измене” сыграло р е ш а ю щ у ю роль в том, что, по сути дела, н и к т о не стал защищать Временное правительство в момент большевистского переворота. В. И. Ленин с середины сентября 1917 года начал постоянно пропагандировать это обвинение и с особенной радостью сообщал 7 октября (то есть за две с половиной недели до большевистского переворота) делегатам Петроградской городской конференции большевиков, что “среди солдат з р е е т убеждение в заговоре Керенского”¹⁹. К 25 октября это “убеждение” вполне “созрело” (конечно, под воздействием неослабевавшей пропаганды), и у Временного правительства не оказалось никаких защитников. То есть целиком повторилась ситуация Февраля — когда также не было сколько-нибудь серьезного сопротивления силам, свергавшим историческую власть, объявленную Милюковым и компанией пособницей Германии...

Много позднее А. Ф. Керенский с вполне оправданной обидой писал в своей книге “Россия на историческом повороте” об атмосфере накануне 25 октября 1917 года: “Играя на подлинно патриотических чувствах народа, Ленин, Троцкий и им подобные цинично утверждали, что “прокапиталистическое” (в действительности почти все окружение Керенского к октябрю составляли социалисты. — В. К.) Временное правительство во главе с Керенским готово продать родину...”²⁰.

Необходимо добавить к этому, что “атмосфера”, созданная в стране в 1915—1917 годах широкомасштабной кампанией по разоблачению

изменников и шпионов в в ы с ш и х эшелонах власти, не могла рассеяться сколько-нибудь быстро (во всяком случае, при жизни тогдашних поколений людей). И когда нынешние крикуны обвиняют “н а р о д” в том, что он в 1937—1938 годах со странной легкостью верил любым судебным процессам над высокопоставленными “изменниками” и “шпионами”, необходимо вспомнить о первосоздателях такой общественной атмосферы — Гучкове и Милюкове со товарищи. Ясно, что судьба того же генерала от кавалерии Сухолинова через двадцать лет п о в т о р и л а с ь в судьбе маршалов Блюхера, Егорова, Тухачевского...

Наконец, еще одна очень — или, пожалуй, самая — существенная сторона дела. Гучков и Милюков, добиваясь своих целей, проявили крайнюю, в сущности смехотворную недалекость. Им казалось, что, полностью дискредитировав верховную власть, они, наконец, займут ее место и станут более или менее “спокойно” управлять Россией, ведя ее к победам и благоденствию. Между тем предпринятая ими кампания привела к дискредитации власти в о б щ е (и из их собственных рук власть выпала через всего лишь два месяца). Россия погрузилась в хаос полнейшего безвластия до тех пор, пока большевики посредством жесточайшей диктатуры не восстановили, наконец, государство — и это был, без сомнения, е д и н с т в е н н ы й возможный выход из создавшегося положения...

Милюковская речь 1 ноября 1916 года, казалось бы, явилась настоящим его торжеством: уже 10 ноября был отправлен в отставку председатель совета министров. И на следующем заседании Думы, 19 ноября, Милюков потребовал уже полного устранения существующей власти, уверяя своих единомышленников: “Гг., после 1 ноября (то есть после его великой речи! — В. К.) страна вас вновь нашла и готова признать в вас своих вождей, за которыми она пойдет...” Если бы пришло к власти “то правительство, которого мы желаем, мы совершили бы чудеса”²¹. Какие “чудеса” совершили после Февраля Милюков со то-

варищи, хорошо известно...

Стоит привести здесь по-своему замечательное позднейшее высказывание генерала Сухомлинова. Временное правительство за отпущенный ему срок не успело загнать его в "каторжные норы"; после некоторых мытарств он в октябре 1918 года эмигрировал и в 1924 году издал в Берлине книгу "Воспоминания", которая заканчивалась так:

"Залог для будущей России я вижу в том, что в ней у власти стоит самонадеянное, твердое и руководимое великим политическим идеалом (то есть идеалом коммунистическим. — В. К.) правительство... Что мои надежды являются не совсем утопией, доказывает, что такие мои достойные бывшие сотрудники и сослуживцы, как генералы Брусилов, Балтийский, Добровольский, свои силы отдали новому правительству в Москве"²².

Сухомлинов здесь был совершенно искренен и исходил из вполне понятного чувства, которое можно было бы выразить так: "Слава Богу, что во главе России эти самые большевики, а не Гучковы с Милюковыми и Керенскими!"

Но, говоря о роковой разрушительной роли Милюкова, Гучкова и им подобных, нельзя умолчать и о том, что часть "черносотенцев" и близких к ним "националистов" приняла прямое участие в разоблачении мнимого предательства Российской власти. То "рукопожатие", которым Пуришкевич обменялся с Милюковым в 1914 году, воистину оказалось символическим; вскоре после подрывной милюковской речи на заседании Думы прозвучало в сущности мощно подкрепившее ее выступление Пуришкевича (19 ноября, перед только что цитированным выступлением Милюкова о "чудесах").

Объявив "я самый правый!", Пуришкевич определил смысл своей разоблачительной речи так: "Бывают, однако, моменты, гг., когда должно быть приносимо в жертву все..." Именно так: "все"... И он нанес прямо-таки сокрушительный удар по верховной власти, утверждая (с опорой на различные мнимые "факты"), что "дезорганизация", охватившая Россию, "составляет несомнен-

ную систему... Эта система создана Вильгельмом и изумительно проводится при помощи немецкого правительства, работающего в тылу у нас...". Современный историк констатирует, что эта "самая знаменитая речь Пуришкевича была построена на непроверенных слухах и подтасованных фактах. Он не мог привести никаких доказательств связи высших правительственных лиц с Германией. Выступивший через три дня Н. Е. Марков документально опроверг обвинения... Однако в разгар политической борьбы никто не хотел устанавливать истины. Марков был лишен слова..." Само же упомянутое выступление Пуришкевича 19 ноября "вызвало шквал аплодисментов, впервые ему рукоплескали либералы и левые. Крики "браво!" не смолкали несколько минут. Подобного выражения энтузиазма IV Государственная дума еще не знала"²³.

Один из наиболее почитаемых либеральных деятелей философ Е. Н. Трубецкой писал тогда о пуришкевической речи: "Впечатление было очень сильное... За это Пуришкевичу можно простить очень многое. Я подошел пожать ему руку"²⁴. Пуришкевича за его роль в подрыве власти простили не только либералы, но даже и — позднее — большевики. Сразу после Октябрьского переворота он попытался создать антибольшевистскую подпольную организацию, был арестован ВЧК, судим ревтрибуналом и приговорен... к одному году "общественно-полезных работ". А всего через несколько месяцев, 1 мая 1918 года, Пуришкевич был амнистирован и без помех уехал в Киев, а затем в Добровольческую армию (где, впрочем, не играл сколько-нибудь существенной роли). Между тем почти все другие главные деятели "черносотенных" партий были в 1918—1919 годах расстреляны без суда.

Как же все это понять? Речь Пуришкевича показала, что он (подобно большинству его противников) в ответственный момент выступил, в сущности, не как политик, а как политикан; характер-

нейшая черта политиканства (в отличие от реальной политической деятельности) состоит в сосредоточении на сегодняшних, даже сиюминутных целях и интересах, без ответственного понимания и предвидения последствий того или иного действия. Фактически присоединившись к либералу Милюкову, Пуришкевич окончательно дискредитировал Российскую власть, которую он всеми силами вроде бы стремился отстаивать... Естественно, его речь вызвала настоящий восторг в антиправительственных кругах.

И едва ли будет ошибкой утверждение, что именно политиканство во многом и отвращало выдающихся деятелей культуры от "черносотенных" лидеров и возглавляемых ими организаций (хотя, конечно, немалую роль играла здесь и клеветническая кампания против них в либеральной печати, лжеинформации которой подчас невозможно было не поддаться). С. Н. Булгаков вспоминал: "Чем дальше, тем напряженнее становились отношения с Гос. Думой, которая — от Пуришкевича до Милюкова — принимала революционный характер"²⁵.

Вместе с тем можно все же как-то понять политический "курбет" Пуришкевича. Как и многие другие "черносотенцы", он ясно видел неотвратимость революционного катаклизма. К 1916 году он — опять-таки как и другие его единомышленники — испытывал острейшее чувство безнадежности, полного отчаянья. Через пять лет В. В. Шульгин процитировал в своей известной книге "Дни" слова Пуришкевича: "...я вам говорю, что монархия гибнет, а с ней мы все, а с нами — Россия"²⁶.

Многие "черносотенцы" воспринимали эту гибель как Божью кару за грехи России и их собственные. — кару следует претерпеть (об этом мы еще будем говорить). Но предельно экспансивный и деятельный Пуришкевич не мог прекратить борьбу и готов был, как говорится, ухватиться за соломинку. Ему казалось, что вкупе с кадетами еще можно хоть в какой-то мере спасти положение. Уже после

Февраля, когда началась подготовка к выборам Учредительного собрания, Пуришкевич заявил, что "Партия народной свободы (то есть кадетская. — В. К.) получит и свои голоса и всех тех, кто идет правее: ведь я — человек правых убеждений, монархист, подаю свои голоса за членов Партии народной свободы..."²⁷. Но это действие было не более чем безнадежный жест утопающего... И "политика" Пуришкевича только с особенной наглядностью демонстрировала полное поражение "черносотенцев" — правда, поражение практическое, а не духовное: так, ореол поклонения, который окружает сегодня "ретроградные" лики Розанова или Флоренского, свидетельствует об их духовной победе. Нет сомнения, что еще будут очищены от наклепной на них беспросветной грязи и фигуры "черносотенных" политиков, — пусть они даже и не "лучше" других политиков... А как же, — воскликнут, конечно же, многие, — оценивать те кровавые погромы, которые эти политики организовывали?!

Тут перед нами предстает, без всякого преувеличения, всемирная проблема; русское — даже древнерусское — слово "погром" вошло во все основные языки мира. Но об этом — в следующей главе.

1. Булгаков С. Н. Христианский социализм. — Новосибирск, 1991, с. 270.

2. Иоффе Г. З. Крах российской монархической контрреволюции. — М., 1977, с. 280.

3. Булгаков С. Н. Цит. изд., с. 28.

4. Палеолог Морис. Царская Россия накануне революции. М., 1991, с. 265, 291.

5. Цит. по кн.: Политическая история России в партиях и лицах. — М., 1993, с. 334.

6. Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905—1914). — М., 1992, с. 91.

7. Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало XX в. — 1920 г.) — М., 1977, с. 172.

8. Журн. "Родина", 1992, №2, с. 20.

9. Обнинский В. П. Новый строй. — М., 1909, с. 18.

10. Милюков П. Н. Воспоминания. — М., 1991, с. 281—283.
11. “Исторические записки”, т. 97. — М., 1976, с. 269—270.
12. Шульгин В. В. “Что нам в них не нравится...” — Спб., 1992, с. 234.
13. Герасимов А. В. На лезвии с террористами. — М., 1991, с. 150. Эти воспоминания известны С. А. Степанову только по цитатам в других работах (ср. с. 92 и 118 его книги).
14. Шульгин В. В., цит. соч., с. 235.
15. Политическая история России в партиях и лицах. — М., 1993, с. 325.
16. Цит. по кн.: Яковлев Н. 1 августа 1914. — М., 1971, с. 141.
17. Милюков П. Н., цит. соч., с. 445.
18. Думова Н. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917 — 1920). — М., 1982, с. 110, 114, 117. Историк, правда, неточно назвала здесь великого герцога Гессенского и Рейнского “принцем”.
19. Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е издание, т. 34, с. 348.
20. “Вопросы истории”, 1991, №7—8, с. 154.
21. Цит. по кн.: Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. — М., 1985, с. 136.
22. Цит. по кн.: Шульгин В. Годы. Воспоминания бывшего члена Государственной думы. — М., 1979, с. 267.
23. Политическая история России в партиях и лицах. — М., 1993, с. 335—336.
24. Аврех А. Я., цит. соч., с. 134—135.
25. Булгаков С. Н., цит. соч., с. 300, 308. (Выделено мною. — В. К.)
26. Шульгин В. В. Дни. 1920. — М., 1989, с. 153.
27. Буржуазия и помещики в 1917 году. Частные совещания членов Государственной Думы. — М., 1932, с. 284.

(Продолжение следует)

В апреле этого года
в книжную лавку МП “Русло” поступит
новая книга — роман П. Н. КРАСНОВА “Цареубийцы”.

Желающие приобрести как оптовые партии,
так и отдельные экземпляры могут позвонить

по тел.: 200-23-54

СЕРГЕЙ ПУТИЛОВ

”ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА” НАД ТАЙНОЙ КАГАЛА

(О ”Протоколах сионских мудрецов”)

— В 1976 году вас побили в пивной Бюргер — Келлер (место неонацистских сборищ). Было такое?

— Было! — оживился Кларсфельд. — И замечательно сделали, что побили!

(Из беседы активиста Международной лиги по борьбе с расизмом и антисемитизмом С. Кларсфельда с советским журналистом-международником А. Сабовым).*

О месте и роли антисемитского мифотворчества в планах инициаторов создания государства ”евреев всего мира” говорилось и писалось в свое время немало. Общеизвестно также, что пресловутые ”Протоколы сионских мудрецов” сыграли роль запала к не одной антиеврейской акции. Но как быть с фактами, свидетельствующими, что крупнейшие сионистские и масонские системы не только приложили руку к составлению ”Протоколов”, но затем и сделали все возможное, чтобы предать этот документ широчайшей огласке? Общая схема, по которой действуют сионисты старого и нового времени для достижения своих неблагоприятных целей, имеет свое имя — ПРОВОКАЦИЯ. Не сталкиваемся ли мы и в случае с темной историей ”Протоколов” с проявлениями провокации как метода политической борьбы?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться с самим этим сложным понятием. Поскольку провокация как метод наиболее частое свое употребление находила в практике охранных ведомств и разного рода спецслужб, то прислушаемся внимательно к мнению вице-директора департамента царской полиции П. Г. Курлова (1): ”Провокация — есть организация или пособничество к

преступлению в целях личного успеха и выслуги перед начальством”. Известный историк русского революционного движения Б. Николаевский (2), посвятивший специальный труд изучению деятельности такого мастера провокации, как Евно Азеф, обнаруживает применение провокации уже в Италии эпохи австрийского владычества, во Франции времен Луи-Филиппа и Наполеона III, в Пруссии — в царствование Фридриха Вильгельма IV. А вот как на примере секретных служб ФРГ определяют функции агента-провокатора современные исследователи Р. Гесснер и У. Херцог (3): ”Агенты-провокаторы... по заданию полиции, в интересах добывания информации втягивают людей в уголовно-наказуемые деяния, поощряя или подстрекая их различными методами к совершению преступлений”.

Итак, вооружившись определением понятия ”провокация”, попробуем разобраться, кто же в истории с ”Протоколами” выступал ”подстрекателем” и перед каким ”начальством” хотели выслужиться деятельные их распространители.

Как известно, впервые широкая публика узнала о существовании ”Протоколов сионских мудрецов” из русской консервативной газеты ”Знамя”, где они были опубликованы с некоторыми сокращениями в номерах с 28 августа по 7 сентября 1903 года. Однако такому официальному появлению документа предшествовал длительный латентный период. По утверждению сотрудника ”Нового Времени” (4), уже в 1881 году экземпляр ”Протоколов” держала в своих руках Юлиана Дмитриевна Глинка (1844 — 1918) — дочь русского дипломата, теософка и спирит, причислявшая себя к последователям Е. П. Блаватской. В 1881—1882 годах по заданию петербургских ”братьев” она посетила Париж и вступила в контакт

* С а б о в А. ”Экс” и ”Нео”. Разноликие правые. — М., 1991., с. 86.

с руководством другой крупнейшей оккультной системы — Ордена мартинистов, основанного в 1754 году португальским евреем Мартинесом Паскалисом. С именем Ю. Д. Глинки большинство исследователей и связывает первую попытку официального распространения "Протоколов сионских мудрецов".

В данном под присягой 17 апреля 1927 года письменном показании Ф. П. Степанова (5) (бывшего прокурора Московской синодальной конторы, проживавшего к тому времени в Югославии) утверждает, что "В 1895 г. мой сосед по имени Тульской губернии отставной майор А. Н. Сухотин передал мне рукописный экземпляр "Протоколов". Он мне сказал, что одна его знакомая дама, проживавшая в Париже, нашла их у своего приятеля (кажется, из евреев) и, перед тем как покинуть Париж, тайно от него перевела их и привезла этот перевод в одном экземпляре в Россию и передала этот экземпляр ему — Сухотину". Н. Кон (6) в этой связи подчеркивает, что "среди белоэмигрантов существовало твердое убеждение относительно той дамы, которая привезла рукописный вариант "Протоколов" и передала его Сухотину. Это была Юлиана Глинка". Как мы уже видели, у Ю. Глинки — адепта масонства теософического толка — не было никаких оснований "находить" этот документ у одного из своих приятелей ("кажется, из евреев") в 1895 году, когда уже в 1881 году она имела на руках экземпляр "Протоколов" во время посещения парижской каббалистической ложи. Почему же Глинка, в таком случае, не сделала попыток "выкрасть" этот документ и предать его огласке сразу же по получении доступа в мартинистскую ложу (1881 г.), но предпочла выжидать целых четырнадцать лет? Имеются веские основания полагать, что до 1895 года ее действия просто-напросто не были санкционированы самими мартинистами. Действительно, если в 1881 году Глинка и располагала каким-то экземпляром "Протоколов", то уж, во всяком случае, им не мог быть тот вариант, который благодаря Сухотину стал достоянием общественности в 1897 году с последующим воспроизведением его в "Знамени" и книге Сергея Нилуса "Великое в малом...". Дело в том, что в нилусовском (повторяющем издание 1897 года) варианте "Протоколов" говорится: "Мы ("сионские мудрецы") будем подстраивать выборы таких президентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь нераскрытое темное дело, какая-нибудь "панама" (Протокол № 10). Употребленное здесь в нарицательном смысле слово "панама" связано с известной аферой вокруг строительства Панамского канала, относящейся к 1892 году. Таким образом, если в 1881 году Ю. Д. Глинка располагала копией "Протоколов" и в то же время не предприняла ни малейших попыток предать их огласке, то сделано это было лишь потому, что рабо-

та над разработкой текста документа еще не была завершена и о выходе его в свет не могло быть и речи. Наличие нескольких вариантов или редакций текста "Протоколов" подтверждается и фактом появления документа в Одессе в 1890 году, где он был зачитан Ахадом Гаамом (7) (будущим теоретиком "духовного" сионизма) на заседании недавно основанной им ложи "Бнай Моше".

Итак, в 1895 году стараниями Глинки окончательный вариант "Протоколов" попадает к Ф. П. Степанову. Если иметь в виду, что Степанов был известен как человек откровенно консервативных убеждений (организатор "Общества активной борьбы с революцией", позднее — член "Союза русского народа"), то могут ли возникать сомнения, для чего это было сделано? Сначала Степанов в силу своих скромных возможностей отпечатал "Протоколы" на гектографе, а в 1897 году передал для публикации в тульскую губернскую типографию. Правда, тираж этого издания оказался настолько мизерным, что хотя на Бернском суде (1934 г.), попытавшемся собрать все существующие в связи с "Протоколами" материалы, и фигурировала одна из гектографических копий, но отыскать следы публикации 1897 года так и не удалось.

Когда в Париже стало ясно, что затея с Сухотиным провалилась, был предпринят новый шаг, на этот раз рассчитанный лично на императора Николая II с последующим введением "Протоколов" в правительственные сферы. Тем более, что представился подходящий случай. В 1902 году по просьбе вдовствующей императрицы Марии Федоровны руководитель зарубежного отделения тайной полиции П. И. Рачковский предпринял расследование о прошлом придворного целителя и чудотворца Филиппа (Ансельма Вашо). Чтобы прояснить ситуацию, он обращается к уже известной нам Ю. Д. Глинке, находившейся в то время в Париже. И последняя не только разоблачает несчастного Филиппа — "агента масонов", но также услужливо одаривает Рачковского экземпляром "Протоколов". Обогадившись таким бесценным свидетельством мирового еврейского заговора, Рачковский устремляется в Россию, где на первой же высочайшей аудиенции выкладывает императору все, что ему удалось выяснить. Для самого Рачковского, правда, эта интрига закончится весьма плачевно — Николай II хотя и удалит Филиппа от двора, но и, расценив действия сыщика как вмешательство в свою личную жизнь, отправит последнего в отставку без пенсии. Что же с "Протоколами"? Отныне императорский двор приобщен к тайнам "сионских мудрецов" и морально настроен на необходимость борьбы с чужеродной силой. Другим следствием интриги явилось неожиданное замещение места Филиппа Папюсом — оккультным покровителем Ю. Д.

Глиники. Если присмотреться к этой таинственной фигуре, то можно обнаружить, что Папюс (он же Жерар Анкос) не только занимал высокие посты в масонстве: Маршал Великой Манчестерской ложи, Председатель Великой Сведенборгской ложи во Франции, Великий Жрец Часовни и Храма 33, 90 и 96 степени посвящения, он одновременно являлся почетным членом Гранд Альянс Эзраилит и состоял в руководстве Приората Сиона (ПС). Чтобы понять, что смычка между масонством и сионизмом была отнюдь не случайной, можно указать хотя бы на таких закулисных руководителей Всемирной сионистской организации (ВСО), как Орден Мицраим (основан в 1814 году), Всемирный Орден Бнай Брит (основан в 1843 году) или Орден Бнай Моше (основан в 1889 году), со своими ритуалами посвящений, тайной членства и иерархией посвящения, доходящей до 99 степени. Но вот зачем понадобилось "детям вдовы" оказывать царскому правительству такую услугу, как осуществленное при помощи "Протоколов" разоблачение "мирового еврейского заговора"? Ведь единственным следствием популяризации документа могло быть лишь прогрессирующее усиление антисемитизма...

Для того чтобы понять трудноуловимую логику творцов (обратившихся затем и в распространителей) "Протоколов", нужно сначала попытаться найти ее в загадочной фразе Хаима Вейцмана — первого президента страны Израиль: "Запертых в местечковых гетто евреев-ашкенази заставляли сопротивляться эмансипации всевозможными средствами, не останавливаясь, если нужно было, и перед убийствами". И почему вследствие такого принуждения в России начала XX века, как свидетельствует о том еврейский историк Кастейн, "подавляющее большинство еврейства оказывало жестокое пассивное сопротивление всем попыткам улучшить его положение"(8). Напомним, что когда в марте 1897 года Теодор Герцль разослал на все континенты руководителям еврейских общин приглашения с призывом присылать делегатов на конгресс, то такой почин не только не встретил поддержки, но даже был резко осужден потенциальными гостями. Идея восстановления государства "евреев всего мира" вызвала протесты сначала со стороны германских раввинов, а затем, по цепной реакции, французских сефардов и реформированного американского еврейства. Неожиданно стал очевиден факт: в результате эмансипации гетто и секуляризации подавляющей части европейских сефардов открылась перспектива слияния евреев с остальным человечеством. Именно тогда, на волне спровоцированного сионистами разгула антисемитизма и всплыли пресловутые "Протоколы сионских мудрецов". При этом решающее значение маньяки неогеттоизма придавали раскачиванию наи-

более консервативной ветви международного еврейства — евреям-ашкенази. Последние, будучи расселены на Востоке Европы — в пределах Российской империи, благодаря многовековой талмудической выучке и строгости общинных старейшин сумели сохранить древний сегрегирующий дух Торы. Тем не менее, хотя на I конгрессе ВСО представительство евреев-ашкенази и было подавляющим, добиться от мировой диаспоры беспрекословного признания их авторитета оказалось непросто. Дело в том, что на ашкенази в Европе смотрели не иначе как на вынырнувшее из мрачного средневековья полухазарское племя, грозящее водворением неогеттоизма. Впрочем, путь к зарабатыванию авторитета уже был намечен.

Приблизительно к этому времени и относятся первые попытки раздуть на весь свет миф о жестоких антисемитских преследованиях в России. Как пишет в этой связи Д. Рид (9), "вырабатывалось массовое общественное мнение, не принимавшее никаких опровержений, сколь очевидными бы они ни были, о постоянном преследовании евреев, как своего рода неизлечимой болезни нееврейского мира, в России принявшей характер эпидемии...". На востоке в самих еврейских низах раввинам и общинными старейшинами планомерно разжигались националистические страсти с суровым пресечением (вплоть до убийств) проявлений как религиозного, так и политического инакомыслия, а в городах и правительственных сферах таинственные личности вроде Папюса распространяли "Протоколы", тем самым объективно провоцируя антиеврейские настроения! Показательно, что когда царское правительство после длительных проволочек приняло наконец известный указ о веротерпимости, на имя Николая II было отправлено личное послание Великого Магистра ложи Мезори Ордена розенкрейцеров. Руководитель ответвления основанной в Амстердаме в 1519 году еврейской матери-ложи поведал государю о том, что утверждение означенного указа сыграет на руку лишь "...еврейско-масонской (!) партии... втайне преследующей цель водворения повсеместно самодержавного иудейства"(10). Нужно ли говорить о том, что утверждение указа о веротерпимости, равно как и ликвидация черты оседлости автоматически выбивали почву из-под ног тех западноевропейских нееврейских политиков, которые в обмен на поддержку со стороны сионистских организаций раздували на весь свет миф об эпидемии антисемитизма в России и оказывали революционерам помощь деньгами, оружием? Не секрет, что доминирующий еврейский процент среди руководителей революционных партий в немалой степени был прямым следствием спровоцированных "Протоколами" контрэмансипационных действий вла-

стей. Но приемлемы ли упреки в адрес последних, когда они исходят из уст инициаторов возрождения еще более худшей формы духовного рабства — неогеттоизма? Скажем, в сегодняшнем Израиле раввинские суды вправе рассматривать любое гражданское дело, руководствуясь при этом исключительно предписаниями Талмуда. Более того, в свете "жизненного пути" "Протоколов" становится понятным, почему в России на пути эмансипации евреев не стоял никто, кроме самих евреев.

Две последовательно происшедшие в России революции 1917 года на некоторое время привели в замешательство даже наделенных талмудической изворотливостью руководителей международного сионизма. Еще бы! Ведь одним из первых декретов советской власти явилось специальное постановление ВЦИК о смертной казни за пропаганду антисемитизма. "Рычаг страдающего русского еврейства, которым так часто пользовался Герцль для поддержки требования Палестины у тех или иных государств, вдруг перестал существовать", — справедливо отмечает Д. Рид (11). Отныне ядро антисемитского мифотворчества перемещается в Европу и США.

В конце 1918 года американский автомагнат Генри Форд приобретает газету "Дирборн индепендент". В скором времени это периодическое издание превращается им в главный рупор американского антисемитизма, а тираж к середине 20-х годов доводится до 500 тысяч экземпляров. Но предметом особых хлопот для Г. Форда все же является усердное тиражирование (в невиданных доселе количествах) знаменитых "Протоколов". Пропаганда антисемитизма сделала Форда настоящим кумиром в глазах националистов самых разных стран. Сам Адольф Гитлер вешает его портрет в своей штаб-квартире в Мюнхене. И вдруг, когда Форд достигает пика своей популярности и становится общепризнанным теоретиком антисемитизма мирового масштаба, раздается гром среди ясного неба. В 1927 году он выступает с сенсационным покаянным "заявлением", в котором отрекается от всех своих нападок на еврейство. Объясняя этот поступок, В. Пруссаков (12) сформулировал наиболее распространенное заблуждение: "Бизнес для него, вероятно, являлся все же самым главным в жизни". В этой связи можно указать на другой, пускай и не столь явный, но непреложный факт: еще в 1894 году Генри Форд получил степень Мастера в ложе Палестины № 357, а затем до самой смерти (1947 г.) состоял в ложе Zion № 1 (13).

Как же в сопоставимых цифрах выражалась система провокационных мер, в которой "Протоколы" заняли столь достойное место? Статистическая картина места и роли антисемитского мифотворчества в планах инициаторов создания государства "евреев всего мира" выглядит

примерно следующим образом. В работах еврейских авторов принято выделять пять потоков иммиграции (алий) в Палестину. Первая алия охватывает 1882—1903 годы, когда в страну прибыло от 20 тысяч до 30 тысяч иммигрантов, главным образом из южных районов царской России после первой волны погромов, а также из Румынии. Вторая алия падает на 1904—1914 годы, в течение которых в Палестину переехали 35—40 тысяч человек, в первую очередь из России, после погромов 1905—1907 годов. Третья алия охватывает период с 1919 по 1923 год, когда в Палестину прибыло около 35 тысяч иммигрантов, преимущественно из Германии, где после первой мировой войны наблюдался рост антисемитских настроений. Четвертая алия приходится на 1924—1931 годы и насчитывает 82 тысячи евреев. Пятая алия относится к периоду с 1932 по 1938 год, когда наблюдался самый большой приток иммигрантов в Палестину (217 тысяч человек), главным образом из Германии в связи с преследованиями евреев нацистами (14). К сожалению, в рамках статьи невозможно остановиться на примерах сотрудничества главарей сионизма с гитлеровцами, но под углом зрения истории с "Протоколами", думается, не будут звучать странно слова Ле Пена: "Сионисты привели Гитлера к власти, чтобы с его помощью избавиться от еврейской диаспоры, а затем чересчур преувеличили масштабы депортации и даже выдумали геноцид, чтобы возбудить жалость к себе"(15).

В процессе работы над темой мне приходилось постоянно задумываться над общей концепцией, в рамках которой укладывалась бы сумма накопившегося фактического материала. Наиболее правдоподобно выглядела версия, выдвинутая Г. М. Шимановым на страницах самиздатовского журнала "Непрядва" (1989, №11), перепечатанная затем в американском журнале "Русское самосознание" (1992 г.). Суть ее сводится к следующему. Факт установления к концу XIX века еврейской гегемонии в финансовом и промышленном мире рано или поздно все равно стал бы достоянием общественности, что, в свою очередь, неизбежно привело бы к тягостным раздумьям и криво толкам в нееврейском мире. Чтобы избежать этого, сионистские авторы "Протоколов" решили разом разрубить гордиев узел, дав, с одной стороны, гипертрофированную картину еврейского засилья, а с другой — привязав все возможные мнения на сей счет к "Протоколам". Отныне всякое проявление антисемитизма можно будет объявить как навеянное строками этого провокационного документа. А для того, чтобы в любой момент оказалось возможным обезвредить засаженных за ограду "Протоколов" бунтарей, в сам текст были введены своего рода "мины замедленного действия" в виде выдержек из книги Мориса Жоли "Диалог в

аду...”, призванных свидетельствовать о несомненном плагиате.

Ценность “Протоколов” заключается в том, что правда в них искусно переплетена с вымыслом, и задача исследователя — правильно очертить эти части. Ну а что касается обвинения в ненормальности вышедших из-под контроля популяризаторов “Протоколов”, то это далеко не пустая угроза со стороны расплодившихся в интеллигентской среде поклонников “народа божьего”. Наглядная иллюстрация тому — присоединенная к книжке Н. Кона о “Протоколах” статья “практику-

ющего” врача-психиатра Д. А. Черняховского.. Ничтоже сумняшеся этот деятель науки поведал, что существует некая “связь между паранойей клинической и паранойей социальной...”, расшифровывая далее, что в данном случае речь идет о “больших коллективах людей, которых объединяет идея существования жидомасонского заговора”(16). Вот только к какой категории больных отнес бы господин Черняховский маньяков, готовых бросить на алтарь сионизма сотни тысяч не только гоевских, но и самих еврейских жизней?

1. Курлов П. Г. Гибель императорской России. — М., 1991, с. 120.

2. Николаевский Б. История одного предателя. — М., 1991, с. 22.

3. Гесснер Р., Херцог У. За фасадом права. — М., 1990, с. 50.

4. “Новое Время”. СПб. 7 апреля 1902.

5. J. Fry. Waters Flowing Eastwards. — Paris, 1933, p. 100.

6. Кон Н. Благословение на геноцид. — М., 1990, с. 61.

7. См.: Кон Н. Указ. соч., с. 22—23.

8. Рид Д. Спор о Сионе. — “Кубань”, 1991, с. 106.

9. Там же, с. 106—107.

10. ЦГАОР (ЦГА) СССР, ф. 102, 1905, д. 12, ч. 2., 42—43. об.

11. Рид Д. Указ соч., с. 144.

12. Пруссак В. Оккультный мессия и его рейх. — М., 1992, с. 227.

13. H o l t o r f I. Die Vershwiegene Bruderschaft. — München, 1984.

14. Государство Израиль. — М., 1968, с. 211.

15. Цит. по кн.: С а б о в А. “Экс” и “Нео”. Разноликие правые. — М., 1991, с. 108.

16. Кон Н. Указ соч., с. 61.

ИРИНА СТРЕЛКОВА

СТРАСТИ ПО КЛАССИКЕ

Статья эта не о классике, а о страстях по классике, которая — по определению современной критики — способна приобретать у нас функцию текущей литературы, в результате чего писатели-классики тоже “варятся в кипятке действительности” (вполне выразительное определение, мы к нему еще вернемся). Но закончатся ли вместе с XX веком страсти по русской классике или они найдут свое новое предназначение в дальнейшей русской жизни? Вопрос не только литературный. В большей степени это вопрос общественно-политический, исторический, национальный, имеющий еще множество смыслов и толкований.

Так, например, кто же не знает, что историю России уже не первый раз переписывают с политическими целями — и будут еще переписывать. По отношению к литературе такие попытки тоже предпринимались регулярно и предпринимаются ныне, однако сами художественные творения переписке не поддаются, нетленно живут в веках. В литературе все на своем месте, в свое время — это относится и к тем произведениям, которые увидели свет лишь многие годы спустя. Современный читатель убедился в этом на собственном опыте, когда русская литература стала собираться у себя на родине — вся полностью, во всем единстве многообразия, вместе с памятниками литературы Древней Руси и трудами церковных писателей, которые тоже вошли в круг чтения.

Характерно, что в самом начале бурной стадии объединительного процесса (последняя четверть XX века) еще предлагалось деление на так называемую официальную литературу, которая издавалась в условиях советской цензуры, за что ее и следует незамедлительно сбросить с парохода современности, — и на так называемую свободную литературу, выходящую на Западе и в самиздате. То есть, опять выплыло знаменитое “от какого наследства мы отказываемся”. Но несостоятельность такого деления обнаружилась очень скоро — и тут многое сделали самые влиятельные фигуры в литературе третьей эмигрантской волны, отнюдь не единообразной. В результате объединительного процесса исчезла и пограничная черта, проведенная по отметке “1917 год” и отделявшая “дореволюционных” писателей от “советских”, причем Бунина, Куприна, Шмелева и многих других эта черта резала по живому. Даже пресловутый “соцреализм” отслаивался у нас на глазах от помеченных им книг — как, впрочем, становится все более условным термин “критический реализм”, прилагавшийся к XIX веку в качестве награды. В русской классике была глубина духовных исканий и жажда истины, а не суетная цель “изобличения” корыстного чиновничества или царской власти. И только с большой досады можно из сегодняшнего времени бросать упреки отечественной словесности, будто она только и подпевала разрушительным революционным идеям.

Единство русской литературы XX века — обретение ныне живущих поколений читателей в пору самых тяжелых испытаний. Общая память этих поколений охватывает немалый отрезок истории литературы — как истории народа и страны — со всеми великими и малыми переломами, партийными решениями и пропагандистскими кампаниями, и такой многосложный читательский опыт тоже интересен для изучения. В XX веке проверено, что, как бы ни разделяли людей события истории, национальная литература остается единой. Изменяется насильственно социальный строй, но упорствует веками сложившийся национальный характер, сохраняет традиции и нравственные ценности. Этот опыт имеет самое прямое отношение ко всему, что происходит сегодня, к проблеме “новых рус-

СТРЕЛКОВА Ирина Ивановна родилась в Москве. Окончила Казахский университет (Алма-Ата). Книги рассказов “Снег в мае”, “Там, за морем, деревня”, “Танцы в районном городе”, “Чокан Валиханов”. Живет в Москве.

ских”, которые будто бы уже совсем другие и совсем не русские — и Россия их усилиями тоже делается, и очень скоро, совсем другой. Но, как известно, предыдущая идеология тоже требовала “нового героя времени”, “нового Павку Корчагина”. Нынешние идеологи должны об этом помнить — хотя бы по собственным статьям.

Мне трудно судить — какие отношения между читателями и писателями, будь то современники или классики, складываются в других национальных культурах. Те отношения, что традиционно существуют у нас, имеют что-то общее с известным определением Бердяева: русские “ушиблены” своим пространством. В такой же мере русское самосознание “ушиблено” высотой нашей классики, ее нравственной требовательностью, ее представлениями о русском национальном идеале и ее нежеланием льстить национальному самолюбию — и, конечно же, ее предчувствием всего, что могло в России произойти — и произошло, когда XX век стал “русским веком” в мировой истории, и когда наши страсти по классике, берущие начало в XIX веке, были умножены всеми перестройками русской жизни и русской культуры, всеми этими тенденциями строительства нового человека как личности денационализированной, без рода и племени. За страстями по классике — гражданская война, уничтожение храмов, истребление крестьянства — корневой системы нации, война против фашизма и рост русского национального самосознания, кризис коммунистических идей и еще многое другое.

Свое место занимает в этих страстях зарубежная русистика. Она дала не только интереснейшие исследования русской литературы. Через ее посредство передается характерное для интеллектуалов Запада восприятие русских вершин в культуре. Существует понятие, что классика — атрибут нации в мировом культурном общении. Гете — это Германия, Шекспир — Англия и т. д. В XX веке влияние Толстого и Достоевского на мировую культуру — и не только на культуру — так велико, что этого не станут отрицать даже самые яростные русофобы. Но ведь у них и нет необходимости в подобном отрицании! На Западе — с участием русистики — давно уже введено в обиход представление, что можно и должно восхищаться Толстым и Достоевским, Чайковским и Рахманиновым, но при этом вполне допустимо и даже рекомендуется крайнее неуважение собственно к России, ко всей русской жизни, складу ума, обычаям и традициям — ко всему тому, что и составляет почву русской культуры, русской классики. За такой двойственностью — давний опыт западного прагматизма, утверждающего свое бесспорное материальное превосходство над Россией с ее вечными поисками духовности. Надо ли делать из всего этого предмет чувствительной обиды? Классику каждый изучает по-своему — и у нас дома тоже все по-разному, — а тем временем и классика занята исследованием каждого отдельного мира, каждого явления, открывающегося ей внове — или вовсе не внове...

Разговор о страстях по классике будет неполным без напоминания о том, что классика у нас не только оказалась способной приобрести функцию текущей литературы. У многих еще на памяти всеобщая погоня за престижными подписными изданиями, многосуточные очереди у книжных магазинов. Сколько юмора и иронии на все это было излито... Но сегодня добротные собрания сочинений, если и не были владельцами читаны-перечитаны, сослужили свою пользу. Обнищавший люд несет классику на продажу наравне с прочими семейными ценностями, сервизами и коврами и т. п. Однако никуда не денется это явление русской жизни, когда у нас была *такая массовая культура*...

Грешно сегодня было бы развенчивать Чернышевского и Добролюбова. Ведь это они помогли классике пройти идеологические врата — и Пушкину, и Гоголю, и Толстому в качестве “зеркала”, и Гончарову, которого буквально спас Илья Ильич Обломов, хотя Ленин, заклеивший “обломовщину”, казалось бы, имел основания недолюбливать Гончарова за кое-какие черточки Штольца.

И была еще причина, почему Сталин и его единомышленники не отказались от классики. Политики всех времен используют классическое наследие в своих целях. Не только с помощью цитат, вставляемых в доклады, — есть вещи посерьезнее. Сравним, какое предпочтение отдавалось в сталинские времена Пушкину перед Некрасовым. Что же изменилось в мировоззрении революционеров с тех пор, как на похоронах Некрасова Достоевский в своей речи поставил поэта-гражданина *рядом* с Пушкиным, а из толпы молодежи возразили: *выше!* Ответ надо искать не только в общеизвестной неприязни вождя к русскому крестьянину — главному герою Некрасова. И не только в том, что “Выдь на Волгу...”, бывало звучавшее, как “долой самодержавие!”, стало трагически звучать в России 20-х,

30-х и последующих годов. Для Сталина и его единомышленников Пушкин — государственный, а Некрасов — нет. В русской классике Сталин и его единомышленники ценили объединяющую идею, которая свойственна любой национальной классике, а русской в особенности — классике державного народа в многонациональном государстве. Сталин русских не любил и боялся, но знал, что только русские могут держать державу и будут это делать при любых обстоятельствах. У вождя был свой расчет, когда в середине 30-х годов в школах всего СССР ввели почти гимназическую программу по русской литературе. Впереди была война, и не приходилось рассчитывать на международную солидарность пролетариата. Один старый писатель, много лет наблюдавший игры правящей идеологии, бывало, говаривал, что если у нас борются против русского шовинизма — это, слава Богу, война не скоро. А как начнут восхвалять русский героизм — жди войны! Но оказалось, что и в этом правиле могут быть исключения. Перестройка началась как раз с дегероизации русского национального самосознания. У теперешней правящей идеологии тоже свои расчеты когда-то официальным данным, классика составляет только два процента в общем количестве книг и когда из школьных программ изгоняют русское классическое наследие с его объединяющими идеями.

КЛАССИКА И МЫ

21 декабря 1977 года в Центральном доме литераторов состоялась долгожданная дискуссия на тему “Классика и мы”. Экология культуры, защита великого наследия от произвола интерпретации на сцене — очень многих это тревожило. Тогда еще могло ужасать общественность, что в фильме “Неоконченная пьеса для механического пианино” всего лишь 30 процентов текста принадлежит Чехову, зато 70 — авторам фильма. Или что один писатель где-то в газете заявил, что каждая вторая десятиклассница чувствует в сто раз богаче, чем пушкинская Татьяна. Тогдашней аудитории в Доме литераторов не надо было долго доказывать, что даже самую милую и умную десятиклассницу недопустимо сравнивать с великим творением Пушкина. Игра на понижение культуры началась в 80-е годы, при Горбачеве. Этот прием безошибочно рассчитан на популярность и поддержку со стороны тех, кому в смысле высоты терять, в общем-то, нечего. Одним из самых запоминающихся фактов игры на понижение стал “вселенский восторг” вокруг “Детей Арбата” Анатолия Рыбакова, срежиссированный интеллектуалами, вовсе не лишенными литературного вкуса. Одного только не учли: самим пришлось опускаться все ниже и ниже. Ведь сегодня и они цитируют в своих беседах уже не Пастернака или Цветаеву, а Жванецкого. Еще пример. Не так давно в литературной передаче по телевидению меж собравшимися писателями зашла речь о великих женских образах русской классики. Создано ли что-то в современной литературе, что можно поставить рядом? Это был, конечно, риторический вопрос. Но участвовавший в передаче Виктор Ерофеев без тени сомнения назвал героиню своего романа “Русская красавица”.

На дискуссии “Классика и мы” довольно много места было уделено авангарду, оживившемуся в 70-е годы, но заявляющему о себе, главным образом, как об интерпретаторе классики, хотя по своей культуре, по своей эстетике авангард полярно противоположен классической культуре. Говорили о новом явлении “бесов” — к этой теме обратился Шукшин в повести-сказке “До третьих петухов”, где черти рвутся захватить монастырь, а захватив, требуют переписать иконы: отныне вместо святых на иконах надо изображать чертей... Все, оказывается, предвидел Шукшин — и настырность бесов, и русскую слабинку.

На дискуссии обнаружилось все то же, вечное для России, противостояние, когда одна сторона заявляет о своей позиции прогресса и новаторства, а другая не без лукавства соглашается, что ее позиция консервативна. Об остроте споров можно судить хотя бы по ответу Анатолия Эфроса на реплику Ломинадзе о уровне посредничества между классикой и зрителем в современном театре: “Без посредничества сидите дома и читайте!”. Тогда-то и прозвучали слова, приведенные в начале этой статьи, — о том, что классики тоже были люди и потому они “варились в кипятке действительности”, но вместе с тем всегда умели парить над действительностью и ощущать идеальное существо человеческой жизни. Эти успокоительные, как ему казалось, слова произнес Золотусский — даже чудно теперь, что были времена, когда с одной и той же трибуны могли выступать критики, придерживающиеся разных взглядов. “Кипяток действительности” —

жутковато звучит для классика даже в давнопрошедшем времени. Но, согласимся, в том-то и соль, что и взгляды разные, и классик всегда современен — и для Золотусского, и для Лобанова, Кожина, Роднянской, Селезнева, для всех других участников дискуссии, длившейся до позднего вечера.

То, что произошло на дискуссии “Классика и мы”, а затем вокруг нее, имеет немало общего с выходом в 1909 году сборника “Вехи”. Но, конечно, хорошо было авторам “Вех” — написали и напечатали все, что считали важным и необходимым, заранее зная, что за этим воспоследует. У нас в 70-е годы никакой сборник статей того направления, которое четко и определенно заявило о себе на дискуссии “Классика и мы”, не мог быть опубликованным. Ни дома, ни на Западе. Даже устное, сжатое по требованиям регламента, изложение собственных взглядов на классику и на современность, а значит, и на положение дел в культуре и вообще в государстве, было воспринято как покушение на основы основ. И хотя, казалось бы, основы у либеральной интеллигенции 70-х годов и основы правящей идеологии должны были быть совершенно различными, после дискуссии смешались в кучу обвинения в “патриархальщине”, “сталинизме”, “черносотенстве” и т. д. и т. п. Все те же лица, что и сейчас, требовали от Старой площади принятия строжайших мер.

Вехи, которыми обозначены 70-е годы, приобретают все большее значение по мере того, как в России идет осмысливание происходящего у нас на исходе XX века. Вот почему необходимо вспомнить, о чем предупреждал тогдашний спор, в чем заключалась суть борьбы за влияние на умы и сердца.

В начале 70-х годов появилась статья А. Яковлева “Против антиисторизма”. Я понимаю, что читателям его фамилия надоеда, но тем не менее. Не будучи поклонником автора, многие хранят упомянутую статью как важный документ. На Яковлеве, “Мудреце” из повести-сказки Шукшина “До третьих петухов”, уже четверть века все сюжеты сходятся. Статьи типа той, что называлась “Против антиисторизма”, да еще подписанные функционерами ЦК, обычно публиковались в качестве руководящего указания, против кого партия призывает бороться на этот раз. Творческий актив все правильно понял и принялся развивать тему “антиисторизма”. Новому времени нужен новый герой, а в литературу пролезли старики и старухи. Какая-то патриархальщина и абстрактный гуманизм... Однако в атмосфере идеологических проработок явно стало витать что-то непривычное. Какое-то неожиданное упорство. Яковлев то ли опоздал, то ли поторопился. Дело его жизни отложилось на 80-е годы, на перестройку, когда он у Горбачева возглавил идеологию и игру на понижение, а затем и на 90-е годы...

Разговоры вокруг той статьи Яковлева могли бы и прекратиться, но недавно он опять объяснил причины ее появления. Оказывается, работника ЦК уже тогда тревожили симптомы сепаратизма, угроза распада России, и он старался эту беду предотвратить. Но статья существует в первозданном виде, и ее нельзя переписать заново. Было бы бессмысленно упрекать партийного пропагандиста в обилии цитат из классиков марксизма и в философствовании о развитом социализме. Но ведь статья написана в те времена, когда уже увидела свет повесть Белова “Привычное дело”, ставшая литературным манифестом нового направления, были напечатаны “Деревянные кони” Федора Абрамова, “Пастушка и пастух” Астафьева, “Последний срок” Распутина, “Письма из русского музея” Солоухина, “Характеры” Шукшина, “Шопен, соната номер два” Евгения Носова... Не видеть и не слышать, о чем заговорила русская литература? Ничего в происходящем не понимать? Или, напротив, все зорко видеть и анализировать?

На Западе пишут, что внутри КПСС тогда существовала некая “русская партия”. Это вряд ли достоверно. И уж во всяком случае аргументом в подтверждение, что такая партия была, не может служить “моральный кодекс”, позаимствованный из христианских заповедей и включенный в устав КПСС. Обычный цинизм правящей верхушки, сросшейся с жульем. Но, конечно, еще и страх, заставлявший заискивать перед “массами”. Уже ничем не удавалось замаскировать пустоту официальной идеологии, в рядах КПСС подрастали будущие президенты и премьеры, сколачивались группировки, готовые к номенклатурному делению общенародного достояния. Однако — и это характерная черта русской жизни — люди продолжали налаживать какой-то свой, собственного изобретения, справедливый... то ли коммунизм, то ли еще что-то. Русское переустройство социалистической системы можно сравнить с тем, как любой уважающий себя комбайнер, получив новехонькую, с заводского конвейера, машину, заведомо неспособную чисто и без потерь убирать хлеб, не отправлял комбайн обратно изготовителям — все равно не наладят! — а сам доводил машину до ума — и

только тогда выезжал в поле. Так и экономика социализма, дооборудованная своими силами, могла работать, вопреки руководящим указаниям, более близкая к “антиисторизму”, к прежнему российскому опыту и общим экономическим законам, чем к Марксу и Ленину. Этим занимались и Михаил Лапшин в сельском хозяйстве, и Николай Травкин в промышленности, пока Черномырдин руководил из ЦК КПСС, Гайдар писал статьи об экономике развитого социализма для “Правды” и “Коммуниста”.

На обрусение коммунизма, а значит, и на тенденцию возвращения России на собственный исторический и хозяйственный путь развития повлияли русские патриотические настроения — их принесло с войны фронтовое поколение, и они сразу же были поняты теми, на чью долю выпали испытания военного детства. Здесь очень важным оказалось единство двух поколений. И, наверное, от когда-то гремевшей “военной прозы” останется, дай Бог, несколько книг. Главное, что вынесло национальное самосознание из страшных лет войны — это русский патриотизм. Здесь есть много общего с влиянием Отечественной войны 1812 года на духовную жизнь России. Русская идея, еще не оформившаяся в новых для нее исторических условиях, пугала верхушку КПСС куда сильнее, чем хорошо организованные и поддерживаемые Западом диссиденты. Не так давно сделались известными слова Андропова, что русские патриоты опасней, чем диссиденты-западники. Но опасней — для кого? Для великой державы, которой досталось удерживать мировой баланс сил?

В связи с этим вопросом надо напомнить сегодняшним читателям “Нашего современника” выступление на дискуссии “Классика и мы” Юрия Селезнева. О нем вообще надо бы почаще вспоминать, о его статьях, о книге “Достоевский”! Ведь это Юрий Селезнев говорил еще в 1977 году, что в мире идет третья мировая война и на ней применяется страшное идеологическое оружие, разрушающее сознание, разрушающее человека. И литература, говорил он, уже стала полем битвы в этой третьей мировой идеологической войне. Но Селезнев и подумать тогда не мог, что идеологическая война закончится для России поражением. Откуда ему знать, что в 70-е годы правящая верхушка, и Андропов, и Яковлев, свой выбор уже сделали...

Но вернемся к страстям по классике. Вступительное слово на дискуссии было предоставлено Палиевскому. А перед тем секретарь писательского союза со своего председательского места сделал строгое предупреждение, по тому времени привычное: и про две культуры в одной культуре упомянул, и про классовые критерии, и про то, от какого наследства мы отказываемся. В заключение он предостерег и от опасности “сбиться на ностальгический консерватизм”. Это напоминало о навязшей в зубах “патриархальщине”, идеализации отмирающей старой деревни и ее “темных” жителей, “абстрактном гуманизме” и т. п. Но, как затем выяснилось, “ностальгическому консерватизму”, как отличительной черте Палиевского, было присуще и что-то иное, сближавшее разные времена.

Помянутый перечень ошибочных или — что еще хуже! — опасных и вредных взглядов идеологи ЦК неизменно предъявляли редактору “Нашего современника” Викулову после выхода едва ли не каждого очередного номера журнала, и без того ободранного цензурой. Хотя, казалось бы, что общего находили на Старой площади между “темными” жителями и “абстрактным гуманизмом”? Происходила обычная подмена терминов, как это делалось идеологами и потом, когда “правых” поименовали “левыми”, а “левых” — “правыми”, и как делается сейчас, когда идеологи, доказывающие необходимость для России жестокой диктатуры, генсековского правления с цековским административным аппаратом на той же Старой площади, называют всех несогласных с ними русских патриотов “фашистами” и т. п.

Само по себе понятие “абстрактный гуманизм” могло существовать только в смысле безыдейного отклонения от правильного “социалистического гуманизма”, являющегося важной составной частью идеологии пролетариата. К тому гуманизму мы еще вернемся. А гуманизм прозы Абрамова, Белова, Астафьева, Распутина не содержал в себе ничего абстрактного. Это и были те самые общечеловеческие ценности, о которых сегодня нередко говорят как о некоем “открытии” для России, пришедшем с цивилизованного Запада на волне гласности и демократии. Гуманизм новой прозы 60-х и 70-х годов вырос на русской почве, выражал традиции народной нравственности и, конечно же, нравственные и эстетические традиции русской классики. И эта проза заговорила с читателем таким свежим, таким обновившимся русским языком, какой может явиться только вместе со свежим и обновившимся взглядом на окружающую жизнь и на человека, на его

духовную сущность. Впоследствии читатель мог судить об этом в сопоставлении с пришедшей к нему прозой Набокова — как не хватало Набокову, при всем его умении найти точное слово, живой и меняющейся русской речи, сопутствующей новым русским поколениям!

Но, думается, что для представителей новой прозы 60-х и 70-х годов, которую называли “деревенской”, и для новой критической школы, образовавшейся тогда же, оказались достаточно неожиданными размышления Палиевского о 30-х и 40-х годах, о времени тяжелом и суровом. Коллективизация, война, послевоенное восстановление страны за счет деревни. Но дело не в осуждении — или оправдании — времени, а в желании понять. В 70-е годы в кругах творческой интеллигенции преобладала “революционная ностальгия” по 20-м годам. О 30-х и 40-х полагалось говорить либо плохо, либо ничего. Поэтому “ностальгический консерватизм” Палиевского был назван еще и “сталинизмом”. Правящие идеологи охотно посмотрели бы сквозь пальцы на любой “сталинизм”, но выход из строго очерченных рамок “социалистического реализма” и “социалистического гуманизма” на проблемы единой русской культуры в ее непрерывном развитии — это уже был уход от классовых критериев. А тут еще разговор о Шолохове. Отношение к нему либеральной интеллигенции давно известно и понятно. Однако ведь и новая русская критическая школа поначалу видела больше противоречий между Шолоховым и “деревенской прозой”, чем общих корней. Хотя уже состоялась в Вешенской после съемок фильма “Они сражались за родину” встреча Шолохова и Шукшина.

Оспаривая в своем вступительном слове расхожее мнение, что 30-е и 40-е годы представляли в культурной жизни народа и страны зияющую пустоту, Палиевский к тому же поставил рядом два имени, тогда, казалось, далеких, несовместимых: Шолохов и Булгаков. Он обратил внимание участников дискуссии на то, что в эти годы был создан лучший роман XX века “Тихий Дон” и тогда же у нас писал Булгаков: “Именно писал, — повторил Палиевский, — это прежде всего, это важнее, чем печататься”.

Передо мной опубликованная спустя годы магнитофонная запись дискуссии, где после этих слов — скобки: “Смех, шум, аплодисменты”. Кто же из литераторов не знал, как тяжело печататься вольномыслящему. И, конечно же, позицию, что все-таки важнее, можно, несколько перефразируя, отнести и к дискуссии “Классика и мы”. Запись, которой я пользуюсь, опубликована в 1990 году в журнале “Москва” (№ 1—3), а до этого имели широкое хождение устные пересказы и приблизительные газетные сообщения, но ведь не в том дело, когда напечатаны эти “вехи”, а в том, что в истории русской общественной мысли они принадлежат 1977 году. Да и если говорить об уже упомянутой директиве Андропова — не так уж важно, когда она сделалась достоянием гласности. Важно, когда на ее основании действовали.

Цитирую дальше по журналу “Москва”: “Несмотря на очень тяжелое, суровое время, известное каждому из нас, — говорил Палиевский, — все-таки мы можем сказать, что культура классическая и сращение культуры классической с народной культурой в тридцатые — сороковые годы достигли очень значительных успехов, во многом определяющих атмосферу художественную наших дней... И больше того, — нынешняя острота проблемы говорит о том, что мы начинаем постепенно, все-таки постепенно, возвращаться к сознанию того, какое значение имеет это для нас — сращение культуры классической и народной культуры, и какое значение имеет это для будущего людских судеб, вообще — для человеческих душ наших”.

Нынешняя острота проблемы для 70-х годов заключалась в запрограммированной дегуманизации человеческого сообщества, запуганного неминуемой перспективой атомной войны. Партийная пропаганда требовала от литературы участия в НТР — научно-технической революции. О ней писали, как сейчас пишут о гайдаровских реформах — долгожданная НТР нам все даст, и пищу, и жилье, и счастливое будущее. Множество тут же явилось и романов, и пьес. И, разумеется, был задан сакраментальный вопрос: можно ли доверить управление синхрофазотроном Ивану Африкановичу из “Привычного дела” Белова? Ну, конечно же, нельзя. Так что, прощайте, Иван Африканович, вы уже никому не нужны. Но пройдет не так уж много времени, и после Чернобыля академик Легасов скажет, что человек, управляющий атомной энергией, должен опираться на Толстого и Достоевского, а не на идеи технократов. И впереди был ракетно-бомбовый удар по древнему Багдаду, унесший тысячи и тысячи жизней. Впереди был обстрел кумулятивными снарядами здания в центре Москвы — и то и другое

с назидательной демонстрацией по телевидению всему цивилизованному миру.

Нынешняя острота проблемы для литературы 70-х годов заключалась в том, можно ли считать обоснованным распространенное в литературной среде мнение о двух ветвях в русской литературе как явлениях равнозначных. Отвечая на этот вопрос, Солоухин однажды сказал — уже ближе к нынешнему времени, что в литературе есть ствол и корни — и только потом ветви.

Прочитую еще одно высказывание из недавних, когда неясное стало все больше проясняться: “Литература вненациональна. Национальность каждой литературы — это высочайшая культура. Так что для меня все другие обстоятельства просто не существуют”. С непривычки это может насмешить. Кто-то, значит, родом из России, а кто-то прямиком из высочайшей культуры. Но на самом деле Вячеслав Пьецух выразил здесь серьезную и четкую позицию. И нелепо ее оспаривать, потому что существует именно такая литература — не только у нас, но и в других странах. Вненациональная, международная. Как существовала и существует национальная литература. Для определения различий прибегнем к иностранному авторитету. Нобелевский лауреат Томас Стернз Элиот писал, что во всяком писателе, знаменующем собой эпоху в жизни национальной литературы, сочетаются сильно выраженный местный колорит и неосознанный всеобщий смысл произведения.

Вненациональная, международная литература не могла не возникнуть в цивилизованном мире, достигшем высокого уровня экономических связей и овладения информационным пространством. Что-то аналогичное существовало и в СССР, благодаря форсированности межнационального общения, и Роберт Рождественский был вполне искренен, когда писал: “Я — не русский, я — советский”. У международной литературы есть свои преимущества при переводе на другие языки. В стране, не испытавшей такой революции, как Россия, где перемешались сословия и наречия, невероятно трудно перевести Платонова. Зато легко переводится игра словами в постмодернизме, и практически можно воспроизвести на другом языке самый усложненный стиль. По мере своего развития вненациональная литература все больше использует лексику международного общения и безусловно отражает появление человеческого типа, для которого внятен деловой язык единого мирового правительства, а национальные интересы считаются уже вчерашним днем, ксенофобией. Однако качествами вненациональной литературы обладает не только вся бесчисленная полулитература, где коммерческий успех и выработку общественного мнения средствами массовой коммуникации, о чем говорил в своем выступлении на дискуссии Вячеслав Куприянов, стремятся истолковать как успех художественный, достижения гения. Произведения, чья высочайшая культура несомненна и которые своей тщательно обдуманной сложностью так умело льстят читателю, создавая ощущение избранности, тоже нередко принадлежат к международной литературе.

КЛАССИКА XX ВЕКА

Острота проблемы на дискуссии “Классика и мы” была в том, какое классическое наследие останется будущим поколениям от XX века.

Толстой в одном из писем Страхову изобразил параболу развития русской литературы. Она шла от горизонтальной черты, от Карамзина, вверх, к Пушкину — там была ее наивысшая точка, и парабола пошла вниз — Лермонтов, Гоголь. Ближе к горизонтальной черте у Толстого написано: “мы грешные”. Затем парабола пересекла черту, пошла в глубину — там написано: “изучение народа” — и оттуда парабола начинает подъем, пересекает горизонтальную черту и уходит вверх к надписи “будущее”. Как представлял себе Толстой это погружение в народ? Среди писателей из народа, появлению которых радовался Толстой, самая яркая фигура — Горький, но он по рождению из той же среды, что и Чехов, и лучше всего у Горького написаны не бродяги и не рабочий класс, а российское купечество и мещанство. Все предсказанное Толстым случилось после революции. Но параболу грубо выдернули — и народ вывалился за черту. Этот хаос жизни напрямую схвачен у Пильняка, у Артема Веселого. И воспет революционным авангардом.

Характерный пример из дискуссии “Классика и мы”. Речь зашла о Багрицком, зачисленном в почетный список “классиков советской литературы” — вслед за Маяковским, Блоком, Есениным. В таком установленном порядке поэты были перечислены в юбилейной статье к 80-летию Багрицкого в “Литературной газете”.

те". Причем перечислению предшествовала строгая оговорка, что ради утверждения высоких критериев "на сегодня и на года вперед" мы признаем классиками лишь нескольких советских поэтов. В 70-х годах еще далеко было до итогов века, однако проблема вечности всегда актуальна для "мы", пишущего юбилейную статью. Как известно, юбилеи способствуют новой волне интереса к творчеству юбиляра. Но ничего похожего не произошло с Багрицким в год его 80-летия — и не могло произойти. Уже сказывалось идущее из глубин русское возрождение. Тютчев и Фет стали самыми почитаемыми поэтами, и восходила звезда Николая Рубцова... Багрицкий оставался где-то в своем времени, в студенческой революционной романтике предвоенных лет. Фигура "советского классика", автора "Думы про Опанаса" и "Смерти пионерки", по мере отдаления от пика его популярности не вырастала. В 1993 году примерно то же произошло со 100-летием Маяковского: почти ничего о поэзии, только любопытство к подробностям биографии. Даже сравнить нельзя с тем, как вырастала в течение всего XX века фигура Блока, как заново перечитываются в наши дни "Двенадцать".

Потому и был удивлен зал ЦДЛ, когда Куняев заговорил о Багрицком. Какой смысл рыться на забытых книжных полках? Где-то там все уже установилось по ранжиру. Отвечая на это, Куняев коснулся системы возведения в классики через посредство дружеских мемуаров. О Багрицком в томе "воспоминаний современников" писали, как о равном Тургеневу, Фету, Бунину. Поэмы сравнивались со "Словом о полку Игореве" и с "поэтической ракетой", которая "запущена в историю советской и мировой литературы". Неумеренные восторги скатывались в пародию, но это Багрицкому так не повезло — обычно мемуаристы пишут солидно, и этот способ утверждения классиком процветает и поныне.

Критический анализ революционной романтики 20-х годов часть зала с ее "революционной ностальгией" встретила в штыки. Багрицкий считался самым ярким выразителем социалистического гуманизма — того самого, который выше и лучше гуманизма "абстрактного". Революционная необходимость начисто оправдывала знаменитое "убей". Но было ли в эпоху войн и революций место для пушкинского гуманизма, для бессмертного идеала: "в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал"? Куняев приводил в своем выступлении строки поэтов, ставших символом связи поэзии XX века с классической традицией, — строки Есенина, Мандельштама, Смелякова... И приводил рядом строки из Багрицкого — о том же времени, о той же революции: натуралистические описания убийств, торжество разрушения жизни, воспевание жестокости, классовой ненависти и мести. Поэтический авангард демонстративно отрекался от всего, что составляет основы жизни на земле. Это был радостный для романтиков революции разрыв с классическим наследием. "Социалистический гуманизм" выступал с антигуманных позиций. Строки из Багрицкого составили настолько убедительный ряд, что у оппонентов Куняева доводов в защиту авангарда не нашлось, только возмущение: не надо Мандельштамом бить Багрицкого. Как будто не развело этих двух поэтов само их восприятие революции! Впоследствии дискуссия о Багрицком и предвоенной студенческой поэзии перенеслась в периодический и завершилась, в общем-то, признанием, что упреки в антигуманности революционной романтики не беспочвенны, что-то такое там было... Но разве не характерно, что когда КПСС объявила новую революцию — "революцию сверху", поддержанную интеллектуалами, — литературные страсти снова закипели вокруг 20-х годов и, конечно же, вокруг авангарда с его ярко окрашенной революционностью и откровенной чужеродностью по отношению к классическому наследию России. Оживление авангарда, интереса к нему и должно было предвещать, что впереди смута и разруха. Это предупреждение прозвучало еще в 70-е годы на дискуссии "Классика и мы". А сегодня как-то яснее сделалось, что и революция 1917 года была для авангарда тоже чужой, в "этой стране" — весьма странно, при таком-то горячем его соучастии!..

Но ведь именно в 20-е годы были написаны "Белая гвардия" Булгакова, "Мы" Замятина, "Вор" Леонова. И на это же время пришлись самые значительные годы у писателей, оказавшихся в изгнании. Русский писатель со времен Тургенева и Достоевского умел работать на чужбине. Но поразительно, на каком высочайшем уровне таланта и мастерства писали в разоренной России. Именно писали, вот что важнее — ведь и роман "Мы" создан до эмиграции.

Можно попытаться объяснить это феноменальное явление русской жизни 20-х годов — с ее комиссарами, коммуналками и новым искусством — тем, что еще совсем близко были традиции дореволюционной литературы. Однако в том-

то и дело, что классические традиции подверглись очень сильной и опасной эрозии как раз в предреволюционные годы. Бунин говорил в 1913 году, что “произошло невероятное обнищание, оглупление и омертвление русской литературы” и назвал происходящее “Вальпургисовой ночью”. Известны его слова об опасности, грозящей русскому языку в результате расширения потока литературы, которую теперь называют международной. У Булгакова неприятие авангарда в любой его форме было связано еще и с тем, что разрушители традиций с их явным буржуазным прошлым умело пристроились к советской власти, к так называемой пролетарской литературе. Поэтому в отношении 20-х годов, со всеми тогдашними гонениями на русскую интеллигенцию, с вытеснением ее из сферы культуры и искусства, речь должна идти не о том, что в обстоятельствах, абсолютно для того не подходящих, русская литература каким-то чудом выжила и смогла продолжить нравственные и эстетические традиции классики. Напротив, именно эти *неподходящие обстоятельства* и обусловили мощный выход духовной энергии, необходимый для решения важнейшей в 20-е годы жизненной задачи русской литературы — не допустить обрыва, создать повышенный запас прочности. Одно из удивительных явлений того времени — крестьянские поэты. И это в пору, когда бал правили ЛЕФ, Пролеткульт и Демьян Бедный...

Сейчас, когда вся русская литература XX века собралась в России воедино, виден этот запас прочности, созданный в 20-е годы. Как отзовутся в литературе 90-е годы — сегодня можно только гадать. Время покажет. Но расцветший было постмодерн увядает на глазах у своих поклонников — это не мои наблюдения, а свидетельства близкой ему прессы, которая не скрывает своего разочарования и от новой интерпретации “Мастера и Маргариты” под выразительным переименованием в “Шизофрению, как и было сказано” с одним актером в ролях Мастера и Пилата, — и от того, что “Князь Игорь” теперь идет в Большом с новым финалом, куда перенесены половецкие пляски, олицетворяющие торжество и ликование победителей.

Тем временем одно из московских издательств объявило итоговую библиотеку “Классика XX века”. По нашему времени — соблазнительная идея. И любопытно, как издатели собираются отобрать классику века — или уже отобрали — открытым или тайным голосованием? Дело не в персоналиях. Все-таки классика нечто иное и загадочное — не присуждение очередного Букера и не политика правящей партии в области культуры, осуществляемая через школьную программу по литературе, где теперь Аксенов, Высоцкий, Окуджава — как были когда-то любимец партии Демьян Бедный, Безыменский и т. п., а еще совсем недавно “Дети Арбата”...

Но подлинная иерархия ценностей в русской литературе фактически не исчезала никогда, даже в самые тяжелые времена. Об этом можно судить и по давним критическим дискуссиям в периодике. Все-таки прорывался разговор о настоящей литературе, о форме романа, о языке, о национальном характере — и тогда пресловутая “обойма” имен оказывалась где-то в стороне, за пределами дискуссии, их место было в комплиментарных рецензиях. К таким литературным дискуссиям относятся и страсти по классике 70-х годов. Но в ту пору только литературоведы имели представление о литературе русского зарубежья. Сейчас, когда русская литература пришла к читателю вся воедино — или почти вся, — тему “Классика и мы” можно бы продолжить — даже нужно. Ведь вместе с потоком неизвестной ему прежде литературы современный читатель получает, главным образом, всевозможные литературные мифы, ему предлагают опять же “обоймы” — и не всегда новые, продолжается возведение в классики с помощью мемуаров. По русской традиции читатель привык соотносить свои впечатления и свою оценку с критическими дискуссиями — на том стоит традиция литературных журналов с их непременными направлениями, и на том основано общественное влияние писателя в России. Разное ведь дело — напечататься в журнале или выпустить книгу, не прошедшую через журнал. У нас и возвращенная литература поначалу шла через журналы, становилась предметом дискуссий. Однако в числе успехов, достигнутых правящей идеологией в игре на понижение культуры, несомненно находится исчезновение условий, в которых все же существовала и полярность литературных взглядов, и подлинная иерархия ценностей. Признать это, очевидно, могут все, кому дорога судьба русской литературы — и писатели, и критики, и читатели.

КРИТИКА

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

(К выходу первого тома Сочинений И. Ильина)

ОСЕНЬЮ 1992 ГОДА попался мне на глаза рекламный проспект издательства "Советская Россия", посвященный готовящемуся "первому в мире" Собранию сочинений Ивана Ильина. Я не верил тому, что читал: в стране разруха, на книжном рынке — чернуха и порнуха, а тут строгий и светлый мыслитель-монархист. Да еще в издательстве "СОВЕТСКАЯ РОССИЯ" — какая ирония судьбы! Тираж был обещан — 100 тысяч экземпляров. Утопия!

Но, как давно уже известно, мы живем в эпоху, когда утопии сбываются. Прошло полгода, и вот в моих руках аккуратно изданный первый том, за которым вскоре должны последовать другие. Издательство, правда, называется теперь "Русская книга" (это в духе Ильина). Тираж скромнее обещанного — 25 000 (это в духе времени).

Спасибо издательству, сделавшему доброе дело. Спасибо Юрию Лисице, составителю и комментатору издания, оно подготовлено со знанием и любовью. Первый том открывается вступительной статьей, написанной на основании широкого круга источников, в том числе архивных. Безупречна библиография работ Ильина, русских и иноязычных (последняя — с минимумом опечаток).

Из библиографического списка узнаем, что первое опубликованное произведение Ильина — рецензия на книгу, как ему могло тогда показаться, его однофамильца Вл. Ильина "Материализм и эмпириокритицизм". Автором книги был вождь российской социал-демократии Ульянов, вошедший в историю под другим псевдонимом — Ленин. Найти рецензию нетрудно — она напечатана в третьем издании сочинений вождя, а прочитать любопытно, особенно тем, кто при получении высшего образования был не в ладах с "гениальным" трудом.

Рецензия лапидарна и резко критична. Заканчивается она следующим пассажем: "Нельзя не обратить внимания на тот удивительный тон, которым написано все сочинение; литературная развязность и некорректность доходят здесь поистине до геркулесовых столпов и иногда переходят в прямое издевательство над самыми элементарными требованиями приличия: словечки вроде "прихвостни" (36), "безмозглый" (41), "безбожно переврал" (71), "лакей" (254) попадают буквально по нескольку раз на странице, а превращение фамилий своих противников в нарицательные клички является далеко не худшим приемом в полемике г. Вл. Ильина".

Трудно сказать, помнил ли Ленин об этой рецензии, знал ли вообще о ней, когда его заплечных дел мастера критиковали Ильина за "белый" образ мысли. Чекисты "брали" Ильина шесть раз. Протокол одного из допросов философа приведен в статье Лисицы.

В свободное от арестов время в мае 1918 года Ильин защитил диссертацию о Гегеле. Диспут разворачивался драматически: накануне Ильин узнал, что арест грозит его оппоненту и учителю П. Новгородцеву и предупредил его об этом. Новгородцев не ночевал дома, куда, действительно, нагрянули чекисты, устроили обыск, задержали семью. Защита была назначена на 2 часа пополудни. Факультет собрался, пришел второй оппонент князь Е. Трубецкой. В половине третьего как ни в чем не бывало появился Новгородцев, извинился, защита началась. Диспут продолжался до 7 часов и принес Ильину помимо искомой магистерской единодушно присужденную докторскую степень. Диссертация увидела свет — "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека".

Эта книга помогла Ильину в контактах с ЧК: у чекистов рука чесалась расстрелять профессора, но, зная философские симпатии своего вождя, они не решались убить автора единственной в Советской России книги о Гегеле. Есть сведения, что в 1920 году при очередном аресте Ильина в его дело вмешался Ленин и распорядился не применять к нему репрессивных мер. Но через два года Ильин

разделил судьбу русской интеллектуальной элиты: под угрозой казни был пожизненно изгнан из страны.

Я остановился на этом эпизоде не только потому, что он значил много для Ильина. Он много значил и для нашей науки. Два десятилетия спустя, когда мне довелось учиться на философском факультете, мой профессор, осколок недобитой интеллигенции, внушал мне (в частном разговоре, не с кафедры), что книга Ильина — лучшее, что написано в России о Гегеле. Я и сегодня так считаю. После войны она была издана на немецком и получила высокие оценки. Немецкий вариант отличается кое-чем от русского, при подготовке нового издания (работа о Гегеле увидит свет в последнем томе Собрания сочинений) следует учесть дополнения, внесенные автором в текст; оригинальны и поучительны схемы, которыми Ильин иллюстрирует идеи Гегеля.

Собрание сочинений построено по тематическому принципу. Первый том открывается весьма характерной для Ильина работой "Путь духовного обновления". Это манифест нового философствования, которое не преподносится с университетских кафедр, а находит индивидуальную дорогу к сердцу человека, учит его не системе взглядов, а созерцанию жизни. Создание философской системы — немецкий предрассудок, считал Ильин. Кто докажет, что родившаяся в голове мыслителя система категорий соответствует порядку вещей?

Для философской манеры Ильина характерны живое слово, обращенное к широкому читателю, подкупающая простота и яркость изложения. "Это философия — простая, тихая, доступная каждому, рожденная главным органом Православного христианства — созерцающим сердцем, но не подчеркивающая на каждом шагу своей "школы". Евангельская совесть — вот ее источник", — читаем мы в одном из писем Ильина, приведенном во вступительной статье (с. 34).

Обращаясь к читателю, Ильин вопрошает его: откуда известно, что изучаемый предмет систематичен и живет по законам человеческой логики (пусть диалектической)? Неужели шапка определяет размер головы? Жалок и смешон философ, воображающий себя бухгалтером, наводящим порядок в бумагах, или унтер-офицером, командующим шеренгой понятий. Надо честно, ответственно изучать предмет. Созерцание — средство, очевидность — цель.

Очевидность — любимая присказка Ильина, его "волшебное слово", он повторяет его столь же часто, как Федоров свою формулу воскрешения мертвых. Ильин говорит очевидные вещи, но так, что они привлекают внимание, снова и снова становятся предметом размышления и, это главное, вызывают желание вести себя соответствующим образом. Средства духовного обновления, о которых идет речь у Ильина, — это вера, любовь, свобода, совесть, семья, родина, национализм, правосознание, государство, частная собственность. Каждому из них посвящена особая глава. Читатель рецензируемого тома может убедиться в том, что Ильин находит для каждой из этих вечных проблем слова проникновенные и убедительные, злободневные.

Веру Ильин определяет предельно широко: это "главное и ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, его воззрения, его стремления и поступки" (с. 43). Без веры человек не может существовать. Жить — значит выбирать и стремиться, для этого надо владеть некоей ценностью, верить ей, служить ей, все люди во что-то верят. (Коммунисты верили в коммунизм, молились вождям и родоначальникам, сегодня иные могут возглавить крестный ход, как в былые годы уличную демонстрацию, следует ли верить их вере?) Ильин предупреждает: "Иногда под корою теоретического неверия живет втайне настоящая глубокая религиозность; и наоборот, ярко выраженная церковная набожность скрывает за собой совершенно недуховную душу" (Ильин И. Путь к очевидности. Мюнхен, 1957, с. 148).

Определяющая форма духовности, источник веры и религиозности — любовь. Обращаясь к ней, Ильин проводит тонкое различие между двумя видами любви — инстинктивной и духовной. Любовь, рожденная инстинктом, субъективна, необъяснима. Иногда — это ослепление, всегда — идеализация. "По милу хорош", — гласит пословица. Но есть к ней антитеза — "по хорошему мил", это уже о другом виде любви — любви духа, в основе которого лежит восприятие совершенства, объективного идеала. Такая любовь лежит в основе религиозного чувства.

Критическую настороженность современного читателя может вызвать глава

о национализме: нас приучили к отождествлению этого слова с шовинизмом, неприязнью к другим народам. Но Ильин толкует национализм иначе — только как позитивное проявление национального духа. "...Любовь к своему народу не есть неизбежно ненависть к другим народам; самоутверждение не есть непременно нападение; отстаивание своего совсем не означает завоевание чужого. И таким образом национализм и патриотизм становятся явлениями высокого духа, а не порывами заносчивости, самомнения и кровопролитного варварства, как пытаются изобразить это иные современные публицисты, не помнящие родства и растерявшие национальный дух" (с. 216).

Аналогичные мысли высказывает Ильин в работе "Основы христианской культуры", также украшающей рецензируемый том. "Национализм есть вера в богоблагодатную силу своего народа и потому — в его призвание...

Национализм созерцает свой народ перед лицом Божиим, созерцает его душу, его таланты, его недостатки, его историческую проблематику, его опасности и его соблазны...

Вот почему истинный национализм есть не темная, антихристианская страсть, но духовный огонь, возводящий человека к жертвенному служению, а народ — к духовному расцвету" (с. 326).

Вернемся, однако, к работе "Путь духовного обновления", чтобы обратить внимание читателя на главу о правосознании, весьма актуальную сегодня. Дело в том, что широко распространенное ошибочное мнение приписывает русской философии — дефицит правосознания. Недооценка права отличает якобы русскую философию от западной. Ильин — живое тому опровержение. Притом он не первый. Двух его учителей-правоведов — Новгородцева и Е. Трубецкого я уже называл. До них были Чичерин и В. Соловьев. Современник Ильина Вышеславцев — тоже юрист и философ права. Это имена.

А концепции состоят в том, что русская школа философии права выработала некоторые принципы, говорящие о высокой культуре юридической мысли, хотя и несколько иной, чем на Западе. "В 19 веке в Европе расцвела абстрактная и формальная юриспруденция, которая считалась только с положительным правом и не хотела слышать о естественном (т. е. верном, идеальном, совестном) праве; и лишь там и сям можно было отыскать в этой юриспруденции скудные намеки на социальную идею и бледные остатки христианской идеологии, причем и то и другое считалось "субъективным" и "ненаучным" (с. 222). Расцвету формальной юриспруденции соответствует разлагающееся правосознание — один из наиболее характерных признаков современного духовного кризиса.

Ильин — сторонник "естественного" права, которое дается человеку "от природы", связано с его совестью, сливается с моралью. Закон формален, но его применение определено всей широтой духовной жизни, здесь любовь и вера, чувство справедливости и т. д. Кроме того, необходима борьба (сугубо лояльная, в пределах закона) за улучшение существующего законодательства.

Последнее обстоятельство помогает и при решении вопроса о собственности. Частная собственность целесообразна, иное дело — имущественное неравенство. Однако никакие силовые методы здесь не помогут. Разрешение проблемы "состоит в том, чтобы сочетать строй частной собственности с "социальным" настроением души: свободное хозяйство с организованной братской справедливостью" (с. 277). При строгом соблюдении закона!

После высылки из России Ильин обосновался в Берлине, но когда воцарились нацисты, пришлось эмигрировать — в Швейцарию (Цюрих), где философ скончался в 1954 году. Могилы русских мыслителей Леонтьева, Федорова, Розанова, умерших на родине, были при советской власти уничтожены. Могила Ильина — в порядке. Ю. Лисица описывает ее: мраморная плита (сооружена почитательницей философа Ш. Барейсс), эпитафия по-немецки, — столь проникновенная и поэтичная, что я не могу удержаться от искушения дать собственный перевод.

Все пережито,
Так много страданий.
Пред взором любви
Встают прегрешенья.
Постигнуто мало.
Тебе благодарность, вечное благо.

ПОИСКИ ИСТИНЫ

ДУГЛАС РИД

СПОР О СИОНЕ

2 500 лет еврейского вопроса

ПАУТИНА ИНТРИГИ

Слова “заговор” и “интрига”, часто употребляющиеся в этой повести, принадлежат не автору этих строк, а исходят из осведомленных источников. Артур Д. Хоуден (Howden), писавший биографию “полковника” Хауза в тесном контакте с этим последним, сам дал заглавие настоящей главе. Описывая события, в центре которых в Америке во время войны 1914—1918 годов стоял Хауз, он писал: “Паутина интриги плелась вокруг обоих берегов Атлантического океана”. Правительство Ллойд Джорджа в Англии и президент Вильсон в Америке вначале завязли в этой паутине независимо друг от друга. В годы 1914—1917 обе “сети”, в Лондоне и Вашингтоне, были объединены связями через океан, и Хоуден описывает, как это происходило. После этого оба правительства оказались опутанными одной сетью, и никогда более с тех пор не могли из нее вырваться.

В годы президентства Вильсона настоящим президентом Соединенных Штатов был Хауз, которого раввин Уайз характеризует в своих записках как “связного между правительством Вильсона и сионистским движением”. Член Верховного суда США Брандейс, решивший, как упоминалось выше, “посвятить свою жизнь” сионизму, был “советником президента по еврейским вопросам” (Вейцман); здесь впервые в ближайшем окружении американских президентов появляется влиятельная фигура “советника”, неизвестная до тех пор, не предусмотренная никакими конституциями и становящаяся теперь постоянным атрибутом правительственного аппарата. Главным сионистским активистом был раввин Уайз, находившийся в постоянной связи с Хаузом и Брандейсом. Хауз (вместе с выплывшим в ту же эпоху на поверхность Бернардом Барухом) фактически назначал министров, так что один из выбранных ими представился Вудро Вильсону со словами: “Мое имя Лэйн, господин президент, и мне кажется, что я — министр внутренних дел”. Президент проживал в Белом доме в Вашингтоне, но его часто видели посещавшим маленькую квартиру на Восточной 35-й улице Нью-Йорка, где жил Хауз. Со временем это повело к недоуменным вопросам, и президент объявил как-то одному из своих партийных коллег: “Хауз — мое второе я, мое независимое я. Наши мысли совершенно одинаковы”. Хауз постоянно бывал в Вашингтоне, где он руководил президентскими интервью и ведал корреспонденцией президента; поджидая министров вне зала совещаний кабинета, он давал им указания, что они должны были говорить внутри. Из своей нью-йоркской квартиры он управлял Америкой, пользуясь частными телефонными линиями, соединявшими его с Вашингтоном: “Мне достаточно было снять трубку, чтобы немедленно говорить с государственным секретарем”. Для государственных решений не нужно было спрашивать согласия президента. Хауз “не нуждался в подтверждении своих распоряжений... достаточно было, чтобы президент не возражал, и я знал, что дело идет дальше”. Другими словами, Вильсону нужно было *возражать*, чтобы задержать или изменить любое принятое без его участия решение, но, как мы помним, непосредственно после выборов ему пришлось обещать, что “в будущем он не будет действовать самостоятельно”.

Если в 1900 году Хауз принял решение перейти от вопросов техасской политики к *государственной*, то в 1914 году он уже готовился заняться *международными* делами: “Ему хотелось применить свою энергию в более широких

масштабах... с начала 1914 года он стал все более и более посвящать себя тому, что в его глазах было вершиной политической деятельности и в чем он проявлял свои наибольшие способности — международной политике”. Надо сказать, что техасский опыт менее всего мог подготовить Хауза к такого рода карьере. В Техасе одно лишь слово “международная политика” было в глазах общественности синонимом нечистоплотных занятий и именно здесь, более чем где-либо в другом штате, “общественное мнение жило традициями XIX века, требовавшими в качестве первостепенного принципа американской политики *абсолютного невмешательства в политические дела Европы*” (Сеймур). Хауз, сумевший где-то в Техасе впитать в себя “идеи революционеров 1848 года” (см. выше), намерен был порвать с этими традициями, однако это еще далеко не наделяло его “наибольшими способностями” для вмешательства в международную политику.

Хауз был человеком совершенно иного склада, нежели инертный и скучающий Бальфур, уроженец шотландских холмов и туманов, или ловкий уэльсский прислужник сионизма Ллойд Джордж, однако он действовал как если бы все трое закончили курс некой тайной академии политических махинаций. В 1914 году он стал, по его собственному признанию, назначать американских послов и заводить первые связи с европейскими правительствами в качестве “личного друга президента”. Его издатель Сеймур писал впоследствии: “Трудно найти в истории другой пример дипломатии, которая была бы столь чуждой ее общепринятым путям и одновременно такой успешной. Полковник Хауз, частное лицо, кладет карты на стол и *согласовывает с послом иностранной державы, какие инструкции следует послать американскому послу и министру иностранных дел этой страны*”. Хоуден, его доверенный, выражается еще яснее: “Во всем, что происходило, инициатива принадлежала Хаузу... Государственный департамент США сошел на положение *промежуточной инстанции для воплощения его идей и архива для хранения официальной корреспонденции*. Более секретная дипломатическая переписка проходила непосредственно через маленькую квартиру на Восточной 35-й улице. Послы воюющих стран обращались к нему, когда хотели повлиять на решения правительства или найти поддержку в *паутине трансатлантической интриги*”.

Сам Хауз скромно писал: “Жизнь, которую я веду, интереснее и ярче любого романа... информация со всех концов земного шара поступает в мой маленький, незаметный кабинет”. Сеймур дополняет: “Члены правительства в поисках нужных лиц, нужные лица в поисках подходящих мест превратили этот кабинет в некое подобие контрольного бюро.

Издатели и журналисты спрашивали его совета, а сообщения для иностранной печати писались почти что под его диктовку. Чины министерства финансов США, британские дипломаты... и *столичные финансисты* приходили в его кабинет для обсуждения своих планов”.

Человек, шедший к власти на другом берегу океана, тоже был заинтересован в “финансистах”. Известная английская социалистка Беатриса Вебб пишет, что Уинстон Черчилль как-то признался ей в своих симпатиях к “*влиятельным денежным кругам, стоящим на страже мира; он был против независимой от других (британской) империи, так как, по его мнению, она разрушила бы этот международный капитализм, в то время как финансист-космополит, которого он считал высшим достижением европейской культуры, в силу своей профессии представляет собой миротворца в современной жизни*”. В свете последующих событий трудно утверждать, что ведущие финансисты, будь они “столичными” или “космополитами”, были профессиональными миротворцами.

Так обстояло дело за кулисами американской политики в 1915—1916 годах. Настоящие цели правящей клики, охватившей теперь своей “паутиной” оба берега Атлантики, стали ясны из того, что затем последовало. Асквита убрали под предлогом его некомпетентности, якобы стоявшей на пути к победе; Ллойд Джордж пошел после этого на риск катастрофического поражения, перебросив английские войска из Европы в Палестину. Вудро Вильсон был переизбран президентом, дав обещание, что согласно старым традициям он “не позволит Америке ввязаться в войну”; после выборов он ввязался в нее без промедления. “Слова дипломатов”, как видно, по-прежнему сильно расходились с их делами. Как сообщает его биограф, Хауз частным порядком “пришел к заключению, что война с Германией неизбежна” (30 мая 1915 года), однако в июне 1916 года выдвинутым им лозунгом для второй президентской кампании Вильсона было: “он уберет нас

от войны”, что принесло ожидаемый успех. Стефен Уайз *перед выборами* также всячески помогал Хаузу, выражая в письмах к президенту “сожаление, что он стоит за программу готовности к войне”, и выступая на митингах против войны. Все шло по плану: “стратегия Хауза действовала превосходно” (Хоуден), и Вильсон одержал на выборах блестящую победу.

Похоже, что Вильсон в этот момент сам поверил тому, что говорил по чужой шпаргалке, и начал сразу же после выборов действовать в роли миротворца, составив для воюющих государств ноту, в которой говорилось, что “*причины и цели войны неясны*”. Это было недопустимым проявлением независимости со стороны президента, приведшим Хауза в бешенство. Перепуганный президент переделал фразу: “цели, преследуемые военными политиками *на обеих сторонах*, фактически одни и те же”, что привело Хауза в еще большее бешенство. На этом поползновения Вильсона разоблачить характер опутавшей его “паутины” закончились, и некоторое время он, видимо, не знал, в чем будет заключаться его роль дальше, сообщив Хаузу 4 января 1917 года, что “войны не будет. Наш народ не хочет участвовать в войне... Вступление в войну было бы преступлением против культуры”.

Правящая клика постаралась рассеять эти иллюзии; не успел Вильсон во второй раз благополучно вступить в должность президента, 20 января 1917 года раввин Стефен Уайз известил президента, что ситуация изменилась: он был теперь “убежден, что настало время, когда американскому народу придется понять, что судьба велит нам принять участие в этой борьбе”. Хауз, который во время избирательной кампании под лозунгом “*долой войну*” записал в свой дневник, что “мы теперь на пороге войны”, доверил тому же дневнику 12 февраля 1917 года: “Мы втягиваемся теперь в войну с быстротой, которой я ожидал”, придав слову “втягиваться” несколько необычный для него смысл. 27 марта 1917 года президент Вильсон спросил у г-на Хауза, нужно ли, по его мнению, “*просить Конгресс объявить войну или же лучше сказать, что состояние войны уже существует*”. Хауз “посоветовал последнее”, и 2 апреля 1917 года американскому народу сообщили, что состояние войны, в которую он никак не собирался ввязываться, уже имеет место.

Здесь уместно несколько отвлечься в сторону. Когда лорд Сайденхэм писал впоследствии об “убийственной точности” Протоколов, датируемых самым началом XX века, он несомненно имел также в виду следующий их отрывок: “Мы предоставим президенту право объявления военного положения. Это будет мотивировано тем, что президент, как главнокомандующий вооруженными силами, должен иметь их в случае необходимости в своем распоряжении”. Это стало твердо установившейся практикой в нашем столетии. В 1950 году президент Трумен отправил американские войска в Корею “для отпора коммунистической агрессии”, не спрашивая согласия у Конгресса. Позже было объявлено, что война ведется “Объединенными Нациями”, и к ним присоединились войска 17 других стран под общим командованием американского генерала Макартура. Это было первой репетицией ведения войны “мировым правительством”, но велась она так, что сенатор Тафт поставил в 1952 году вопрос: “Принимаем ли мы нашу антикоммунистическую политику всерьез”? Генерал Макартур был отстранен от командования после его протеста против запрещения преследовать коммунистическую авиацию в ее китайском убежище, а в 1953 году, уже при президенте Эйзенхауэре, война была объявлена законченной, оставив половину Кореи в руках “агрессора”. Генерал Макартур и другие американские командующие выдвинули впоследствии обвинение, что приказ, запрещающий преследование, был сообщен врагу “шпионской организацией, выкрадывавшей секретные документы в Вашингтоне” (журнал “Life” от 7 февраля 1956 года), а китайский главнокомандующий подтвердил это в “New York Daily News” от 13 февраля 1956 года. В июне 1951 года из Лондона исчезли два ответственных сотрудника британского министерства иностранных дел (Бургесс и Маклин), английское правительство 4 года подряд отказывалось давать о них какие-либо сведения, но в сентябре 1955 года подтвердило давно высказывавшиеся догадки, что они оба в Москве и что они “в течение долгого времени шпионили в пользу Советского Союза”. В цитированном выше журнале “Life” генерал Макартур заявил, что именно эти два шпиона выдали “агрессору” приказ о непреследовании.

4 апреля 1956 года один из корреспондентов спросил президента Эйзенхауэра на пресс-конференции, даст ли он, “не спрашивая Конгресса”, боевой приказ

недавно посланному в Средиземное море батальону морской пехоты (в то время возможность войны на Среднем Востоке была весьма реальной). Президент рассерженно ответил: “Я говорил уже много раз и повторяю, что я никогда не предприму ничего, что могло бы быть понято, как война, без согласия Конгресса, имеющего на то конституционные права”. С января 1957 года, однако, первым его действием по вторичном избрании было послать Конгрессу законопроект о присвоении президенту постоянного и неограниченного права открыть военные действия на Ближнем Востоке “для *предотвращения коммунистической агрессии*”.

Возвращаясь к нашему повествованию, остается отметить, что между ноябрем 1916 и апрелем 1917 года “паутина интриги”, опутавшая океан, достигла своих главных целей: устранения Асквита и замены его Ллойд Джорджем, отправки британских армий для диверсии в Палестине, переизбрания президента, обязавшегося поддерживать это предприятие, и вмешательства в войну Америки. Сообщение Конгрессу об *имеющей место войне* говорило, что *целями* ее, которые еще за несколько недель до того были столь “неясными” президенту Вильсону, было *установление нового международного порядка*. Другими словами, открыто, хотя и туманно, была объявлена новая цель мировой войны.

Для широких масс эти слова могли означать все что угодно или вообще ничего. Для посвященных в них скрывалось обязательство поддерживать план, орудиями которого были одновременно сионизм и коммунизм: создание принудительной “всемирной федерации” при обезличении всех наций, кроме одной, которую еще нужно было воссоздать. С этого момента правящие клики в Америке и Англии действуют при полной синхронизации своих мероприятий, так что две цепи событий сливаются в одну и ту же “паутину”. Внешне облеченные властью политики координировали в Лондоне и Вашингтоне свои действия под диктовку работавших сообща сионистов по обе стороны океана. Хаим Вейцман в свое время также обнаружил предвидение будущих событий, написав уже в *марте 1915 года* своему союзнику Скотту из “Манчестер Гардиан”, что на будущей мирной конференции британское правительство, *насколько ему известно*, поддержит сионистские требования (упоминавшийся выше Макс Нордау знал это уже в 1903 году). Именно этого Асквит делать не собирался, другими словами, Вейцман уже в марте 1915 года видел во главе “британского правительства” людей, сменивших Асквита только в декабре 1916 года. Это “британское правительство”, по словам Вейцмана, должно было передать организацию еврейского “содружества наций” в Палестине целиком в руки евреев. Однако сионистам вряд ли удалось бы установить подобное “содружество” даже в завоеванной для них другими Палестине против желания коренного населения. Это могло быть осуществлено только за спиной великой державы и при поддержке ее вооруженных сил. Вейцман считал, точно предвидя в 1915 году, что произойдет в 1919-м и в течение последующих двадцати лет, что в Палестине должен быть установлен британский “протекторат” (для защиты сионистских захватчиков). Это означало, как он писал, что “заняв Палестину, евреи возьмут на себя *все бремя* организации страны, но будут в течение следующих 10—15 лет действовать под *временным протекторатом* Англии”. Вейцман добавляет, что это было “предвосхищением мандатной системы”, так что сегодняшнему историку ясно, где и как родилась идея “мандатов”. Система управления завоеванными территориями по праву “мандата”, полученного от самопровозглашенной “лиги наций”, была выдумана исключительно имея в виду Палестину. Последующие события не оставляют в этом сомнений: все остальные “мандаты”, распределенные после войны 1914—1918 годов, чтобы придать этой процедуре видимость общего характера, очень скоро сошли на нет, либо передав управляемые территории коренному населению, либо предоставив их во владение завоевателя. “Мандаты” существовали только пока это нужно было сионистам, чтобы собрать достаточно сил и оружия для полного захвата Палестины в свое владение.

Таким образом, после продвижения Ллойд Джорджа на пост премьера и переизбрания Вильсона в президенты очертания будущего на долгое время после окончания войны были совершенно ясны Вейцману, сидевшему в центре “паутины”, и он начал энергично действовать. В меморандуме британскому правительству он потребовал, чтобы “*еврейское население Палестины* было официально признано, как *еврейская нация*”. После этого собралось то, что Вейцман характеризует как “первая полноценная конференция, приведшая к Декларации Бальфура”. Компания, собравшаяся для составления официального документа британского правительства, заседала в частном еврейском доме и состояла из

девяти ведущих сионистов и одного представителя затронутого этим делом правительства, сэра Марка Сайкса, и то всего лишь на правах “частного лица”. Результатом была поездка Бальфура в Америку для окончательного согласования вопроса.

Вейцману и его сотрудникам нужно было в этот момент умело лавировать между двумя препятствиями, и их легко могла постигнуть неудача, если бы вышеописанная “паутина” не дала им возможности продиктовать то, что Бальфур должен был услышать в Америке от тех, с которыми он собирался там встретиться. Британское правительство, при всем своем проеврейском усердии, было весьма встревожено перспективой оказаться в положении единственного покровителя сионистов и желало, чтобы и Америка участвовала в оккупации Палестины. Сионистам было прекрасно известно, что такое предложение вызовет в Америке резко отрицательную реакцию (будь оно осуществлено, Америку, наученную горьким опытом в Палестине, было бы труднее заставить принять участие в позорном деле 1948 года), и они вовсе не желали, чтобы вопрос об участии Америки в оккупации был вообще поставлен. Опасения Вейцмана еще более усилились, когда он в “долгом разговоре” с Бальфуром перед отъездом последнего услышал, что он непременно стоит за “англо-американский протекторат”.

Вейцман срочно отправил письмо судье Брандейсу, предупреждая его о необходимости противодействовать всем подобным планам и заверить Бальфура в американской поддержке чисто английского протектората (письмо от 8 апреля 1917 года); это письмо Брандейс “получил ко времени прибытия Бальфура”. Будучи назначен в Верховный суд США, Брандейс официально должен был отстраниться от руководства сионизмом в Америке, поскольку, согласно конституции и традиции, как член Верховного суда он должен был стоять выше политики: тем не менее, однако, в качестве “советника по еврейским вопросам” он поставил президента в известность, что он “за британский протекторат и категорически против всякого кондоминиума” (т. е. совместного англо-американского контроля).

Приехав в Америку, где состояние “имеющей место войны” не продолжалось еще и трех недель, Бальфур, по всем данным, вообще ни разу не обсуждал вопроса о Палестине с президентом. На этой стадии роль Вильсона ограничилась послушным обещанием, данным им раввину Уайзу: “В любое время, когда вы и судья Брандейс решите, что мне пора говорить и действовать, я буду готов”. Раввин, в свою очередь, сообщил Хаузу: “Он полностью завербован для нашей цели, в этом нет больше никаких сомнений. Полагаю, что в Вашингтоне дело пройдет без замедлений” (датировано 8 апреля 1917 года, через 6 дней после объявления “имеющей место войны”). Бальфур встретился с Брандейсом, хотя он с тем же успехом мог остаться дома с Хаимом Вейцманом, поскольку Брандейс лишь повторил, что писал последний; Бальфур всего лишь переполз с одного конца “паутины интриги” на другой. Как пишет г-жа Дагдейл, Брандейс “с растущей настойчивостью подталкивал желание сионистов видеть в Палестине чисто британскую администрацию. Бальфур же, по выражению его биографа, “обязался оказывать сионизму свою личную поддержку, он уже раньше обещал то же д-ру Вейцману, но теперь он был британским министром иностранных дел”.

Здесь заслуживает нашего внимания более поздний американский комментарий о роли Брандейса в этой истории. Профессор Джон О. Бити (Beaty) из Южного Методистского Университета в Америке пишет, что день утверждения назначения Брандейса в Верховный суд США был “одним из самых примечательных в американской истории, так как впервые со времени первого десятилетия XIX века у нас на одном из высших постов оказалось лицо, главные заботы которого не имели отношения к Соединенным Штатам”. Брандейс, как пишет Вейцман, “сделал больше, чем просто продвинуть идею еврейской Палестины под британским протекторатом”. Он и Хауз сочинили скрепленную подписью президента знаменитую декларацию об отказе от тайной дипломатии. Широким массам эта декларация очень понравилась и они слышали в ней голос смелого нового мира, бросившего упрек старому и порочному. Пропаганда рисовала публике картину закутаных в плащи дипломатов, крадущихся потайными ходами в секретные кабинеты; теперь, когда Америка вступила в войну, этим феодальным махинациям придет конец и все будет делаться открыто, на глазах “народа”. Все это было лишь иллюзией, а высокопарные слова должны были прикрыть новое подчинение требованиям сионистов. Турцию (владевшую Палестиной) еще пред-

стояло победить, для чего французскому и английскому правительствам, чьи солдаты были этим заняты (главные поражения Турция понесла на Кавказском фронте, где русские войска в 1916 году заняли всю территорию бывшей “Великой Армении”; после февральского переворота Кавказский фронт развалился. — Прим. перев.), надо было привлечь на свою сторону арабов, с ними было заключено “соглашение Сайкса—Пико”, которое предусматривало независимую конфедерацию арабских государств и среди них Палестину “под международным управлением”. Вовремя информированному об этом Вейцману было совершенно ясно, что о сионистском *государстве* в Палестине при *международном* контроле не может быть и речи, для этого нужен был чисто британский протекторат. В результате немедленно оказанного закулисного давления вильсоновы громкие обличения “тайной дипломатии” и “секретных договоров” оказались ударом по одним только палестинским арабам и их надеждам на свободное будущее. Америка *требовала* поручить дело Англии, нарушив обещания арабам как результат “тайной дипломатии”. Этот скрытый успех позволил биографу Бальфура с торжеством констатировать, что “*национальная еврейская дипломатия стала теперь действительностью*”; эту цитату можно было бы при желании поставить заглавием настоящей главы. Лондонское министерство иностранных дел с некоторым смущением, но слишком поздно, поняло, что британское правительство фактически связало себе руки. Америка, хотя и вступив в войну, против Турции не воевала, но, тем не менее, стараниями Брандейса секретно обязалась способствовать передаче турецкой территории в третьи руки. Участие Соединенных Штатов в этой интриге следовало, разумеется, в тот момент держать в тайне от публики, что не мешало дать Бальфуру распоряжения в весьма повелительном тоне.

Лето 1917 года было занято подготовкой знаменитой “декларации Бальфура”, которой Америка была тайно вовлечена в сионистскую авантюру. Единственная оппозиция, кроме как со стороны генералов и немногих высоких чинов Форин Оффиса, исходила со стороны коренных евреев Англии и Америки. Она не могла оказать влияния на события, поскольку руководящие политики обеих стран были настроены по отношению к своим еврейским согражданам еще более враждебно, чем сами сионисты. Как мы видим, так называемые “христиане” играли во всей этой истории столь крупную роль, хотя и исключительно в качестве марионеток, что поневоле приходится быть осторожным, приписывая авторство “Протоколов” одним только евреям. Объединенный Комитет так называемой Англо-Еврейской Ассоциации в Лондоне официально заявил в 1915 году, что “в глазах сионистов гражданская и политическая эмансипация евреев недостаточна для ликвидации их преследования и угнетения, и они считают, что окончательная победа может быть достигнута только путем создания гарантированного законами убежища для еврейского народа. Объединенный Комитет считает “национальные” лозунги сионистов, как и особые привилегии для евреев в Палестине опасными и провоцирующими антисемитизм. Комитет не намерен обсуждать вопросы британского протектората с *международной организацией, которая состояла бы из самых различных элементов, включая даже наших военных противников*”. В любое нормальное время британское и американское правительства могли бы подписаться под этим, обеспечив себе поддержку своих еврейских сограждан. Однако еще в 1914 году Хаим Вейцман писал, что этих евреев “надо заставить понять, что *хозяевами положения являемся мы, а не они*”. Объединенный Комитет представлял евреев, давно уже обосновавшихся в Англии, однако британское правительство сочло нужным признать претензии заговорщиков из России на господство над всем еврейством.

В 1917 году, с приближением непоправимого решения, Объединенный Комитет снова заявил, что евреи — всего лишь религиозная община и ничто более, что они не могут претендовать ни на какую “национальную территорию” и что палестинские евреи нуждаются только “в обеспечении религиозной и гражданской свободы, приемлемых возможностей для иммиграции и т. д.”. К этому времени подобные заявления приводили в совершенную ярость многочисленных гоев, готовых идти в бой за Хаима Вейцмана. Небезызвестный Викхэм Стид из “Таймса” выразил свое “глубокое возмущение” такой позицией британского еврейства после того, как “в течение доброго часа” обсуждал (с Вейцманом), “кто бы из ведущих политиков смог наилучшим образом подействовать на английскую публику”, блестяще изложив (по словам Вейцмана) “суть и задачи сионизма”. В

Америке на страже против своих евреев столь же бдительно стояли Брандейс и раввин Уайз. Рабби, выходец из Венгрии, задал президенту Вильсону вопрос: “Что вы сделаете, если к вам поступят их протесты?” Помолчав немного, президент указал на корзину возле его стола: “Вы думаете, ее не хватит для всех их протестов?”

В Англии Хаим Вейцман был в бешенстве от *“постороннего вмешательства исключительно со стороны евреев”*. В этот момент он явно чувствовал себя членом правительства, может быть даже его *важнейшим* членом, и, в смысле фактической власти, он таковым несомненно являлся. Он не только отбрасывал возражения британских евреев, как *“постороннее вмешательство”*, но и диктовал кабинету, что именно нужно обсудить, требуя места на заседаниях кабинета, когда ожидалось возражения со стороны министра-еврея! Далее он потребовал, чтобы Ллойд Джордж поставил вопрос чисто английского протектората над Палестиной на повестку дня заседания военного кабинета, назначенного на 4 октября 1917 года, но уже 3 октября заранее послал в министерство иностранных дел протест против возражений, которые, по его мнению, должен был сделать на этом заседании *“влиятельный англичанин еврейской веры”*: имелся в виду министр Эдвин Монтегю. Вейцман потребовал ни много ни мало, чтобы коллеги Монтегю не спрашивали мнения последнего, а если он все-таки его выразит, то чтобы позвали Вейцмана для ответа ему! В день заседания Вейцман явился в кабинет секретаря премьер-министра, Филиппа Керра (также одного из его *“друзей”*), изъявив желание присутствовать при совещаниях на случай, если министры *“захотят, прежде чем принять решение, задать мне вопросы”*. Керр ответил ему, что *“с тех пор, как существует британское правительство, ни одно частное лицо никогда еще не допускалось на его совещания”*, и Вейцману пришлось убраться восвояси. Тем не менее, британский премьер-министр счел нужным создать прецедент, и не успел Вейцман уйти, как после выступления Монтегю Ллойд Джордж и Бальфур немедленно за ним послали. Монтегю удалось, будучи зажатым в тиски со стороны *“христианских”* коллег, добиться некоторых поправок к законопроекту, за что Вейцман впоследствии упрекал Керра: *“И вы, и ваш кабинет придаете совершенно преувеличенное значение мнению так называемого британского еврейства”*. Двумя днями позже (9 октября 1917 года) Вейцман с торжеством телеграфировал судье Брандейсу, что британское правительство официально обязалось создать в Палестине *“национальное убежище для еврейской расы”*.

Между 9 октября и 2 ноября, когда законопроект был опубликован, с ним произошли любопытные приключения. Его послали в Америку, где он подвергся редактированию со стороны Брандейса, некоего Якова де Хазе и раввина Уайза, прежде чем быть показанным президенту Вильсону для *“окончательного утверждения”*. Вильсон без долгих проволочек просто отослал проект обратно Брандейсу (получившему его от Вейцмана), а тот послал его раввину Уайзу, *“чтобы он передал его полковнику Хаузу, для пересылки британскому кабинету”*. Так было подготовлено одно из важнейших и чреватых громадными последствиями решений британского правительства.

Проект, включенный в письмо, адресованное Бальфуром лорду Ротшильду, вошел в историю как *“декларация Бальфура”*. В семье Ротшильда, как и во многих других влиятельных еврейских семьях, были резкие расхождения в мнениях относительно сионизма. Письмо было послано на имя одного из Ротшильдов, симпатизировавшего сионизму, очевидно чтобы произвести впечатление на западное еврейство и отвлечь внимание от восточноеврейских корней авантюры. Настоящим адресатом был, разумеется, Хаим Вейцман. Поскольку он безвыходно торчал в приемной военного кабинета, документ был передан ему лично, и сэр Марк Сайкс, вручая ему письмо, сказал: *“Д-р Вейцман, это — мальчик”*, как говорят в больнице отцу, поздравляя его с рождением наследника. Мальчик тем временем подрос, и характер получившегося из него взрослого субъекта не представляет в наши дни сомнений.

Для объяснения того, почему ведущие западные политики решили поддержать эту совершенно чуждую им затею, никогда не было приведено ни одного разумного довода, а поскольку вплоть до опубликования *“декларации Бальфура”* все это предприятие было тайным и строго конспирированным, исчерпывающего объяснения и *не может быть* дано, добрые дела не нуждаются в конспирации, и одно ее наличие указывает на мотивы, не подлежащие раскрытию. Когда кто-либо из замешанных в этом деле лиц давал какие-либо официальные объяснения,

они обычно сводились к туманным ссылкам на Ветхий завет, и этот ханжеский довод считался достаточным, чтобы запугать сомневающихся. Как с иронией сообщает раввин Уайз, Ллойд Джордж любил заявлять своим сионистским посетителям: “Вы получите Палестину от Дана до Биршебы”, мня себя, видимо, исполнителем Божьей воли. Как-то он созвал на завтрак озабоченных развитием событий еврейских членов парламента, “чтобы убедить их в правильности моего понимания сионизма”. В столовой британского премьер-министра собрался соответствующий “миньян” (еврейский религиозный кворум из десяти верующих), и Ллойд Джордж прочитал гостям несколько отрывков из Ветхого завета, которые, по его мнению, предписывали переселение в 1917 году евреев в Палестину. По окончании он сказал: “Теперь вы знаете, господа, что говорит ваша Библия, на этом вопрос можно считать исчерпанным”. В других случаях он давал иные объяснения, к тому же противоречившие одно другому. Королевской палестинской комиссии он заявил в 1937 году, что за 20 лет до того он стремился получить “поддержку американского еврейства”, заручившись “определенным обещанием” со стороны лидеров сионизма, “что если союзники обеспечат условия для создания в Палестине национального убежища для евреев, то они, со своей стороны, сделают все для поддержки дела союзников евреями всего мира”.

Перед лицом истории это было наглою ложью. Когда Бальфур поехал в Америку согласовывать свою “декларацию”, Америка уже была “в состоянии войны”, а биограф Бальфура категорически отрицает наличие какой бы то ни было сделки. Еврейский комментатор, раввин Эльмер Бергер, пишет, что якобы данное сионистскими лидерами обещание помощи “... вызывает непреодолимое возмущение во мне, моей семье и в моих еврейских друзьях, — обыкновенных евреях... это самая бесстыдная клевета в истории. Лишь бесчувственные циники могут сомневаться в том, что евреи в союзных странах делали все, что могли, дабы помочь ведению войны”. Лучше всего известно *третье* утверждение Ллойд Джорджа: “Ацетон сделал из меня сиониста”. По этой версии, Ллойд Джордж спросил Вейцмана, чем можно вознаградить его за полезное химическое открытие, сделанное им во время войны (в свободное от сионистских занятий время Вейцман работал в лаборатории), на что тот ответил: “Мне ничего не надо для себя, но мне нужно все для моего народа”, после чего Ллойд Джордж решил отдать ему Палестину! Вейцман сам высмеивает эту сказку: “История не делается чудесами Аладиновых ламп. Ллойд Джордж поддерживал идею еврейского государства задолго до того, как стал премьером”. Заметим, кстати, что британское правительство довольно щедро вознаграждает подобного рода заслуги, и химик по профессии д-р Вейцман, хотя он якобы и не желал ничего для себя, получил громадную по тому времени сумму в 10 000 фунтов стерлингов. Он же получил колоссальное вознаграждение за патент, проданный в свое время германскому химическому концерну, и также не брезговал пользоваться этими доходами в течение многих лет: патент представлял собой ценность не в одно только мирное время, но также и в военное.

Трудно не придти к выводу, что если бы действиям Ллойд Джорджа можно было найти пристойное объяснение, то он нашел бы его сам. Начиная с этого периода 1916—1917 годов можно ясно проследить полный упадок парламентских и представительных правительств, как в Англии, так и в Америке. Если неизвестные общественности лица могли диктовать важнейшие мероприятия американской государственной политике и крупнейшие операции британским армиям, то понятия “выборов” и “ответственного министерства”, естественно, теряли всякое значение. Партийные различия сглаживались в обеих странах по мере того, как скрытая от взоров высшая власть стала руководить западными политиками, а американские и британские избиратели потеряли всякую возможность сделать настоящий выбор. Сегодня это положение стало всеобщим и общеизвестным. Лидеры *всех* партий раскланиваются перед сионизмом еще до выборов, а избрание того или иного президента или премьер-министра, победа на выборах той или иной партии не имеют реального значения.

В ноябре 1917 года американская республика, как и Великобритания, была втянута в сионизм, показавший свою разрушительную силу. Он был лишь одним из орудий общего “принципа разрушения”. Читатель вспомнит, что в дни молодости Хаима Вейцмана руководимые талмудистами евреи в России были объединены революционными целями, разделяясь лишь на революционеров-сионистов и революционеров-коммунистов. В ту самую неделю в ноябре 1917 года, когда

появилась “декларация Бальфура”, другая группа русских евреев также достигла своей цели — разрушения русского национального государства. Так западные политики вырастили двухголовое чудовище, одна голова которого была власть сионизма в западных столицах, а другая — власть коммунизма, наступавшая из захваченной им России. Покорность сионизму подрывала способность Запада сопротивляться мировой революции, поскольку сионизм держал западные правительства в подчинении и отвлекал их политику от национальных интересов; именно в этот момент впервые поднялся крик, что оппозиция мировой революции — не что иное, как тот же “антисемитизм”. Правительства, подорванные тайными капитуляциями в одном направлении, уже не способны твердо действовать в любом другом; слабость Лондона и Вашингтона по отношению к мировой революции в последующие четыре десятилетия (написано в 1955 году. — Прим. перев.) явно проистекает из их начального опутывания “паутиной интриги”, охватившей Атлантику, то есть Америку с Европой, в период между 1914 и 1917 годами.

Другими словами, после 1917 года перед всем XX веком встал вопрос, сможет ли еще Запад собственными силами вырваться на свободу и освободить своих политических вождей от этого двойного рабства. Для оценки конца периода нашего повествования читатель должен познакомиться с действиями, к которым принуждены были политики Англии и Америки в ходе первой мировой войны.

(Продолжение следует)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В 1994 году на страницах нашего журнала вы прочтете:

— повесть Петра АЛЕШКИНА “Я — убийца”, написанную от лица омовца, принимавшего участие в кровавых событиях осени 1993 года;

— новое произведение Владимира БОГОМОЛОВА, автора любимшегося широкому читателю бестселлера “Момент истины” (“В августе сорок четвертого...”);

— педагогические размышления об искусстве стать писателем ректора Литературного института, писателя Сергея ЕСИНА “Отступление от романа”;

— повесть Владимира КРУПИНА “Слава Богу за все”;

— продолжение романа Владимира ЛИЧУТИНА “Раскол”;

— повесть Вячеслава МАРАКОВА “Дитя потехи”;

— продолжение повести-эссе Олега ОВСЯННИКОВА “Чистилице”;

— роман Александра ПРОХАНОВА “Дворец”, в котором легендарный штурм дворца Амина в Кабуле мистическим образом совмещается с недавним разгромом Российского Дома Советов;

— книгу воспоминаний Александра РУЦКОГО “Обретение веры”. 1993-й год: от Кремля до Лефортово;

— документальную повесть Владимира СОЛОУХИНА “Соленое озеро” о поединке есаула Соловьева и чоновца Аркадия Голикова-Гайдара. В жилах известного детского писателя и деда бывшего премьера тек огонь безумия, заставлявший его убивать, убивать и убивать...;

— очередную статью Вадима КОЖИНОВА “Сталин и Госбезопасность послевоенного периода” из цикла “Загадочные страницы истории XX века”;

— рассказы В. ГУСЕВА, Ю. КУЗНЕЦОВА, В. МАРЧЕНКО, Г. НЕМЧЕНКО и др.;

— материалы “круглого стола” медиков и публицистов под общим названием “Великие мистификации медицины”. Ведущий — академик Л. ХУНДАНОВ.

Все это и многое другое предложит вам в 1994 году журнал “Наш современник”.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Как и было обещано, мы приступаем в марте с. г. к публикации романа старейшего русского писателя Леонида Леонова "Пирамида". Правда, к сожалению, в необычном варианте. Дело в том, что издание этого романа из-за его внушительного объема (до 80 авт. листов) по обычной схеме — из номера в номер — растянулось бы более чем на год. Поэтому редакция приняла решение о его выпуске четырьмя дополнительными приложениями — в формате и объеме журнала. Все четыре приложения планируется выпустить в марте — июне 1994 года.

Распространение издания будет осуществляться в розницу по договорной цене, в том числе в самой редакции.

В случае поступления ваших заявок на новый роман классика русской литературы Л. М. Леонова редакция будет готова заключить соответствующие договоры с местными книготорговыми организациями, МП и кооперативами.

Вниманию книготорговых организаций, малых предприятий и кооперативов!

По вопросам, связанным с закупкой части тиража упомянутого издания нового романа Л. М. Леонова "Пирамида", обращаться в редакцию журнала "Наш современник" по адресу:

103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30

телефоны: (095) 200-24-24, 200-23-54

факс: (095) 200-23-05